

ВАЛЕРИЯ НАРБИКОВА

Избранное

или Шёпот шу ма



ВАЛЕРИЯ НАРБИКОВА





Валерия Спартаковна Нарбикова родилась в 1958 году в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. До 1988 года ее произведения не публиковались из-за эстетического неприятия издателями "другой литературы". В России изданы следующие книги В. Нарбиковой: "План первого лица. И второго" (1989), "Равновесие света дневных и ночных звезд" (1990), "Ад как да — ад как да" (1991), "Около Эколо" (1992). Книги В. Нарбиковой выходили во Франции, Германии, Голландии, Италии, Чехословакии. В последние годы ее произведения публиковались на страницах московских журналов и альманахов, а на Западе в альманахе "Стрелец".

*Библиотека
новой
русской
прозы*



ВАЛЕРИЯ
НАРБИКОВА

Романы
Повесть

ВАЛЕРИЯ
НАРБИКОВА

Избранное

или
Шёпот
шу
ма



Издательство
"Третья волна"
Париж — Москва — Нью-Йорк
1994



На первой странице обложки репродукция картины
Владимира Немухина "Ломберный столик". х/м., 1993.

ISBN 5-239-01851-0

© В.С. Нарбикова, 1994 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

"Около эколо" — так называется один из романов Валерии Нарбиковой, выдвинутый, кстати говоря, в 1993 году на Букеровскую премию по литературе и не получивший ее, видимо, лишь потому, что отрывок из этого романа был не вовремя, точнее, раньше отмечаемого премией отрезка времени, опубликован в журнале "Юность". Впрочем, дело не в премии, тем более что за публикацию отрывка из другого романа "Шепот шума" писательница получила премию имени Владимира Набокова. "А что такое "около-эколо"?" И действительно, что же означает это странно-непонятное название? Оказывается, "эколо" — сокращение от популярного ныне понятия экология. "Планета гибнет" — предупреждают "зеленые". Проводя шумные митинги и манифестации, движение экологов, кажется, захватывает в свои ряды прозаиков и таксистов, ученых и работников торговли, поэтов и полицейских. Как-то в это движение пытались вовлечь и Валерию. Сия, нужно сказать, неудачная попытка и виновна в рождении такого странно-загадочного названия. Нарбикова издевается, Нарбикова играет словами и когда читаешь ее тексты, то почему-то невольно приходит на ум то Владимир Набоков, то Герман Гессе, а то даже Александр Блок. Помните "...бормотаний твоих жемчуга"? Поток сознания, в который бросает своих читателей и почитателей, отрицателей и ругателей Валерия Нарбикова, не что иное, на наш взгляд, как те самые "бормотаний жемчуга". И если вы вслушаетесь в них, нет, услышите их, если проникните в суть сказанного, написанного, набормоченного, то эти тексты вас уже не отпустят, они властно и нежно захватят вас и повлекут, повлекут за собой в ту таинственную и столь желанную известность, которую рождает только подлинная литература.

Бонтоновцы, то есть сухие, как импотенты, блюстители традиций, почему-то забывающие про классика Генри Миллера или недавно умершего, но тут же ставшего классиком Чарльза Буковски, твердят о некоей излишней сексуальности текстов Валерии Нарбиковой. Не задаваясь вопросом, что означает в данном случае понятие "излишне", отметим вслед за

одним из литературных критиков, что на самом деле Валерия Нарбикова секс или, как он написал, эротику превращает, преобразует, привносит в подлинную литературу. Тех, кто с этим не согласен, переубедить не станем, а лишь отошлем к "Николаю Николаевичу" Юза Алешковского. Может быть, прочтение этой замечательной вещи подготовит их к пониманию и прозы В. Нарбиковой или, во всяком случае, желанию понять ее, а не просто задыхаться от негодования, ссылаясь в промежутках на некие традиции русской словесности, к примеру на Тургенева или на Чехова. Кстати говоря, в предисловии то ли к французскому, то ли голландскому, то ли немецкому изданию прозы Нарбиковой наш почти классик Андрей Битов писал о подлинности этой литературы и как бы хотел предупредить ее будущих читателей, дабы они не впали в шоковое состояние. Французы, голландцы и немцы и не впали, то ли благодаря тому самому предисловию, то ли ввиду подготовленности своей к "другой" литературе русской, либо знали они "другую" литературу свою. Многие же русские читатели, когда проза Нарбиковой дошла и до них, оказались в положении шокированных. И хочется надеяться, что эта книга, так же как и это предисловие, поможет выйти им из шокового состояния и погрузиться в поток сознания Валерии Нарбиковой. Честное слово, второе много приятнее первого.

Москва. 1993.

Повесть

План
первого лица
и второго

План первого лица. И второго.

- Это иррационально.
- Но меня зовут Ирра.
- Вас зовут с двумя "р"?
- Меня зовут Ирра.
- "Иррационально" я бы написал с большой буквы в вашу честь.

Для симметрии было десять часов, десять минут. Санки перерезали пьяного, дети похоронили его, орудия лопатками. В соседней квартире давали "Золушку" Россини.

- И вам действительно столько лет? — спросила Ирра. — А фамилия у вас доисторическая Додостоевский.

— Можете звать по имени.

— По какому?

Он сказал.

- По такому лучше не звать.

Гаражи, сооруженные из лифтов, потому что. По трамвайной линии прошел последний трамвай, а потом пошел поезд.

- Там поезд, — показала Ирра в окно.

— Бывает, — ответил Додостоевский.

— Поезд, — повторила она. И пока состав окончательно не исчез, она смотрела на это чудовище.

- Почему-то поезд, — сказала она в третий раз.

Она попросилась спать, он принес ей подушку, и она заняла всю постель. И он занял всю постель.

- У нас ведь дружба, — смутилась она.

За это время наступил новый год. Кошка ругалась плохими словами, и не наступало утро.

- Принеси, пожалуйста, попить, — попросила.

— Ты же с краю.

Она его не убила за это. Она встала, сама попила и заодно сделала наоборот.

Додостоевский тут же заснул, у него изо рта потекла слюна — большая редкость, — которая капнула на открытую книжку Кузмина, тоже большую редкость, на

один из пятисот экземпляров "Леска". Капля посидела-посидела на мелованной бумаге (какой разврат для двадцать второго года!) и впиталась. За стеной закричал грудной ребенок: "Уа-йльд, Уа-йльд".

— Ты слышишь, — сказала она.

Он не откликнулся.

— Ты слышишь, что он кричит? — повторила Ирра.

— Что, поговорить хочется? — сказал он сонно.

— У тебя это было когда-нибудь с мужчиной?

— Нет.

— А кто любил Ганимеда? Зевс?

— Он всех любил.

Может быть у подъезда стояла лошадка-девушка, а может быть такси.

— А этот твой друг Тоестылстой, о котором ты говорил, с ним было?

— Я разве говорил? Даже если он Тоестылстой, это ничего не меняет, может быть, поспим.

Их расстреляли спящих длинной очередью: газами, скопившимися в водопроводной трубе. Они встали одновременно, два милых мертвеца, и расхаживали по комнате до первых петухов, точнее до первых трамваев. Она просто так показала фиг и спросила:

— Фиг — это не международный символ?

— Нет, — ответил он, — голуби — это международный символ.

— Я хотела бы, чтобы ты мне сразу объяснил насчет пластинок, расскажи мне про дорожки и про то, как там воспроизводится музыка. Например, если мы сразу все умрем, например, на войне, и если потом когда-нибудь найдут кусочек пластинки, ведь не поймут, что это такое, скажут, что это такая порода или еще что-нибудь. Я уже кое-что поняла насчет кораблей, почему они не тонут, теперь осталось насчет пластинок.

— А у тебя что было до меня?

— Был один мальчик, а потом оказалось, что он — альфонс.

— Не не Доде?

— Не Доде, и даже не испанский король Альфонс II. И насчет самолета тоже. (В небе, например, показалось.) Это самолет? — спросила Ирра.

— Это не самолет.

— Мне тоже так кажется.

Они рассматривали эту вещь в небе, она, конечно, напоминала самолет, но в то же время и не напоминала.

- Это самолет, — сказал он и отвернулся от неба.
- Почему ты так думаешь?
- Стоит только усомниться в том, что это самолет, и начинаешь сомневаться во всем остальном. Там на горизонте должен светиться дом. Видишь его?
- Но это не дом, — сказала она.
- Правильно. Поэтому то, что мы видим в небе, — это самолет, а на горизонте — дом.
- А в сперме тридцать миллионов сперматозоидов, да?
- Может быть, не помню сколько, это нужно спросить у какого-нибудь малыша. Они роются по разным справочникам и знают, сколько сперматозоидов, сколько яйцеклеток, что такое половой акт.
- И тебя это не удивляет?
- Меня удивляет, почему по реке плывет топор.

Повсюду были скрепки, они блестели и скрепляли все подряд. На стуле стоял мясной компот, на полу лежал медвежонок, она взяла его в постель и обнимала так сильно, что у него оторвалась лапка, и она вздрогнула от омерзения, и медвежонок упал и прилип к полу.

Она спросила, как его дразнили в детстве, он ответил: "Додо". Она спросила, знает ли он, что по-французски это обозначает бай-бай, он ответил, что знает. Она спросила, нравится ли ему с ней бай-бай, он ответил, что нравится. Она спросила, можно ли и ей так называть его, он ответил, что можно. Она выглянула на балкон, а там шли: пешех 50 тысяч, да плясцов 100 человек, да коней простых 300, да обезьян за ними 100, да блядей 100, а все гаурьки, что обозначает девушки.

I

- Можно съесть макароны с сыром, — предложила Ирра, — так они невкусные, а сыром одним все равно не наешься.
- Ты так много говоришь, как будто у тебя есть сыр.
- Если бы он у меня был, я бы не задумываясь съела его вместе с макаронами, если бы они у меня тоже были.,
- Уже можно одеваться.
- Но ты же меня не любишь, — сказала она.
- Не лежать же из-за этого все время в постели.
- Тогда, конечно, можно одеваться.
- Но ты же меня тоже не любишь, — сказал он.
- И куда же ты пойдешь одетый? — спросила Ирра.

— Пойду посмотреть, что вокруг растет.
— А мне что делать?
— Слушай, если ты не знаешь, что тебе делать, делай то же самое, что делаю я. Я одеваюсь — и ты одевайся. Я выхожу на улицу — и ты выходи. Я иду по своим делам — и ты иди по своим делам. Я сплю с другой женщиной — и ты спи с другим мужчиной, поняла?
— Я поняла. Тогда я тоже пойду и посмотрю, что вокруг растет.

Для этого необязательно было выходить на улицу, потому что все было видно из окна. До самого горизонта постройки располагались так, что не мешали друг другу, и можно было смотреть на каждую в отдельности. Неожиданно он сказал про солнце, и ей было приятно, что он его заметил, потому что она его заметила еще раньше. Трамваи шли друг за другом как исключения: сначала стеклянный, потом оловянный, потом деревянный; потом Достоевский сказал:

— У меня сегодня много дел, кроме того — одна деловая встреча, ты можешь пойти со мной, но только ведь ты будешь там шутить.

— Я не буду, — сказала она.

— И пожалуйста, никаких "Додо".

— Что же мне тебя по имени-отчеству называть?

— Да, лучше по имени-отчеству.

— Тогда, может быть, ты меня тоже будешь называть по имени-отчеству?

Он посмотрел на нее издалека, она стояла в его тапочках, в его рубашке, в своих колготках, в его комнате. Видимо, сейчас он ей не нравился, и она хотела, чтобы он называл ее по имени-отчеству. Он подумал, что сейчас что-то должно случиться, но все равно назвал. Она спокойно пропустила это мимо ушей и спросила:

— Ты будешь есть картошку?

Он испугался этого вопроса.

— А ты? — спросил он.

— Я тебя первая спросила.

Тогда он понял, что все хорошо, и сказал, что будет. Картошка была, чай был, кофе (если с молоком, то было, если без молока, то был), но не было ни того, ни другого. Недолго говорили про картошку и про соль. "Соленая?"

— "Нет, недосоленная". — "А мне кажется вполне соленая, но ты можешь посолить, дать тебе соль?" Очень быстро прошел день, и Достоевский стал собираться. Она еле-еле ковырялась, и он насильно натянул на нее

платье. Он совершенно правильно застегнул его, и она догадалась почему.

— Я знаю почему, я все знаю.

— Еще одна минута, и я уйду один.

Наконец, они вышли. Около светофора играла музыка, было очень много народу. Люди стояли все вместе большой толпой, и никто не приглашал друг друга танцевать. Машины разбрызгивали холодную грязь и уезжали.

— И что ты скажешь на деловой встрече? — спросила Ирра.

— Скажу, что мне очень приятно и что я хочу выпить, чтобы сохранить память о ней.

— А потом что ты сделаешь?

— Потом я подам руку, чтобы мне ее пожали, и улыбнусь.

— А я что буду делать?

— Ты будешь стоять с краю и смотреть.

— А если я рассержусь?

Он поторопил ее, и они успели сесть в автобус. Сначала впереди шла трамвайная линия, и он забыл, что едет в автобусе, и думал, что едет в трамвае, поэтому, когда линия кончилась, он от резкого тормоза повалился вместе с другими пассажирами, но вовремя вспомнил, что все хорошо, что это не крушение и что он едет в автобусе. Она же сидела и, может, поэтому сказала:

— Дурацкий трамвай, так болтается.

Он увидел впереди рельсы и подумал, что она права, трамвай был трамваем, автобус — автобусом.

Они уехали на восток города, там уже не было рельсов, автобус долго пробирался сам по себе и остановился в месте не очень красивом. Напротив остановки стоял киоск, в котором продавали. И дом, в котором. Наверху была вывеска, там не горели крайние буквы, но так было тоже понятно: "остиниц".

Там им подарили подарки: ей — маленькую шоколадку, ему — значок.

— Ты довольна? — спросил он.

В комнате было много яичной скорлупы, стены художественно потрескались, чулки художественно поехали, но их не облупили, но их не зашили, в окно была видна остановка, и к ней подъезжал автобус, на который они не успели, и еще один, на который не успели, и последний, на который, слава богу, успели.

— Слава богу, успели, — сказала Ирра, когда они сели и автобус затрясся.

— Ну и как тебе этот человек? — спросил Додостоевский.
— Мне кажется, он хороший, но он не тот твой друг?
— Конечно, не тот. Это же была деловая встреча.
— По-моему, он больше всего обрадовался, когда ты сказал, что хочешь выпить за встречу.

— Тебе так показалось?

— А когда ты сказал, что главное, чтобы остались приятные воспоминания, он сразу все выпил.

— Ты это видела?

— Я же сидела посередине.

— А ты, кстати, очень много курила.

— Он много смотрел в окно.

Они посмотрели в окно и вместо того, чтобы увидеть пейзаж, увидели самих себя в стекле, и это была правда. А когда вышли из автобуса, то увидели пейзаж, и это тоже была правда. Он потрогал ее руку под рукавом, и она сказала, что не надо, что очень холодно, и он спросил: когда же? и она ответила: когда будет тепло, и тогда он сказал: значит, летом? и она тоже подумала про лето, но ничего в ответ не сказала.

— Ничего я сегодня не успел, — под ногами была галька, как будто это был берег моря.

— Конечно, ведь это большая роскошь ехать на автобусе по трамвайной линии.

В подъезде было неловко перед бабкой.

— Ну давай завтра никуда не пойдем.

— Я же сказал, у меня много дел, я сегодня половину не успел.

— Но разве сию секунду ты не хотел сказать то же самое: "Давай завтра никуда не пойдем"?

— Не грусти, — сказал он, — может быть, мы никуда и не ходили.

— Тогда сегодня — это уже завтра.

Стали придумывать, что бы опять съесть. Опять решили картошку, опять соленая, недосоленная. Не так далеко горел костер, на него хотелось смотреть. Все остальное поменяло названия: деревья — на что-то, дом — на что-то, тапочки — на сапоги.

— Уходишь? — спросил Додостоевский.

Ирра сделала несколько шагов и ушла от него далеко, и когда вернулась оттуда, то устала и заплакала.

— Ты плачешь, не понимаю? Ты почему плачешь?

В этом противном костре сгорели палки, кульки, острые ножки. Вокруг него ходил вор, но даже ему было нечего своровать, потому что он был не дурак. Еще работало

метро, и можно было влезть в одно ухо и вылезти из другого.

— Ты зачем надела сапоги?

— Я еще успею, еще работает метро.

— Хочешь уехать?

Она влезла в одно ухо и вылезла из другого, мама как раз спала и не слышала, как она открыла дверь, поэтому не заплакала и не умерла. Она умылась, легла в постель, а дальше уже начиналось шоссе. По нему ползли жуки. И в канавах, и во всей окрестности не было ничего хорошего. Собаки стояли и что-то напоминали. Занавеска, закрывающая окно машины, была прожжена утюгом по трафарету, а может, это был бракованный носовой платок. Все оставалось на своих местах: жуки, собаки и машины. И даже нельзя было узнать время. "Ну, сколько сейчас времени?" — "Часы стоят." — "Они же идут". — "Идут на месте". А дальше уже было то, что напоминало лес. В лесу кто-то курил, и дым поднимался из-за макушек деревьев и уходил в небо. Это был март. Потом наступил апрель, май и все остальное, и наступил следующий год, и все опять было на своих местах, только все уже было не так интересно: ну жуки, ну собаки, ну лес.

Она проснулась у него в комнате, а он проснулся у нее в комнате, поспали еще минуту, и она проснулась у себя в комнате, а он опять не у себя, кажется, опять у нее. Тогда еще поспали минуту и уже проснулись вместе в одной комнате — у него. Она первая сообразила, что она у него, и вставать расхотелось. Следом за ней он сообразил, что она у него, и вставать ему тоже расхотелось. Тогда они сделали усилие над собой и опять заснули. И она проснулась у себя одна, и это было самое приятное. Ему стало обидно, что ей так уж приятно, и он еще глубже заснул. И дальше за шоссе была железнодорожная линия. Вдоль нее снег имел фактуру мрамора, женщина в желтой телогрейке ходила по шпалам и протирала этот мрамор тряпкой. По этой линии не ходили поезда, которым говорят: до свидания, а ходили электрички, которым говорят: пока.

II

Ритмично падал снег. "Съешь хотя бы яйцо". — "Я не хочу". — "Съешь булочку". — "Я не хочу". — "Съешь хотя

бы отражение булочки". Булочка была сухая, отражение было такое, словно она была мягкая. Съела. Оказалось, что она была мягкая.

На быка натравили красную машину. Сначала он ее проколол, а потом она его задавила, и он не знал, что она не красная тряпка.

— Потому что предметы в комнате или на улице обозначают часто совсем не то, что мы о них думаем? От такой громкой музыки, выключи, кстати (кстати, не выключил), должен падать снег с деревьев, а он не падает, а теперь пойд и потряси хотя бы это дерево, и он упадет.

Ему не хотелось выходить и трясти снег с дерева, она вышла сама и потрясла. Снег засыпал пластинку, иголка еле-еле пробиралась между сугробов, сначала расчистили одну дорожку, потом другую, поцарапали пластинку.

— Ну что, доигралась? — сказал Додостоевский. — Я же тебя просил не делать то, в чем ты не уверена.

— Я была уверена.

— Теперь придется выбросить пластинку, а мне ее жалко, я ее любил. Совершенно не знаешь, чем тебе заняться. Я поеду по делам.

— Значит, мне тоже ехать по делам?

— Тебе тоже. И на остановке тебя вчера не было, почему ты не пришла?

— Вчера днем?

— Вчера, когда мы договорились.

— Я думала, что столько-то времени, а оказалось, что столько-то, — Ирра взяла пластинку и стала водить по ней ногтем.

— Что ты делаешь! — крикнул он.

— Все равно ведь испорчена, на ней были сугробы, дорожки расчищали лопатой.

— Оставь ее в покое, она совершенно хорошая.

Он закурил, и в комнате появился дым как раз посередине между потолком и полом. И все, что было ниже дыма, относилось к земле: стол, стулья, пластинки на полу; а все, что было выше: полшкафа, книжные полки — относилось к небу. И он как раз подстриг ногти, и она смяла задники инфузории "туфельки", потому что круглое зарешетчатое окошко, выходящее из туалета в ванную, выходящее из ванной в туалет, было луной всегда. В туалетном полушарии — зрительный зал, рассчитанный на сто двадцать мест. "Лифт на ремонте", "Меню

школьника” — все это висело на стенах и соответствовало зрительному залу, лифту на ремонте, меню школьника, а в ванном полушарии она сидела на борту ванной — ”не бойся, я подстриг ногти” — далеко-далеко от прозрачного мешка с грязным бельем, и по дну ванной шла лунная дорожка, пересеченная одним волосом, и она, может, успела еще спросить про заусенцы, но он не ответил.

Из подъезда они вышли вместе, кое-как простились. Ирра зашла в телефонную будку и посадила там несколько душек. В общем, ей не понравилось то, что ей предложили, но как-то особенно деваться было некуда, и она согласилась. ”Зайдешь и пообедаем здесь, потом заедем к ним, а потом оттуда уже все вместе поедем”. — ”Куда?” — попыталась выяснить она. ”А может, никуда, может, мы тут останемся, тогда они приедут сюда”. Когда она приехала, они уже приехали, а хозяин наоборот уехал, ”сейчас вернется”. О фамилиях не могло быть и речи, но, безусловно, их как-то звали. После такого прекрасного обеда и вина сразу же друг друга очень полюбили и пошли гулять. Но как только вышли на лицу, всем захотелось разное: ей захотелось (”мне велели, мне нужно во что бы то ни стало”) зубную пасту, ему захотелось капустки, а вот ему-то захотелось белую собачку. Его желанию возмутились: ”Какая может быть белая собачка на ночь глядя!” Но осмотрелись и оказалось, что действительно уже ”на ночь глядя”, и капуста и паста закрыты, а белая собачка? ”А белая собачка, — сказал он, — лежит тут рядом на помойке совсем еще хорошая”.

На помойке они подарили друг другу подарки и разошлись совершенно счастливые по домам.

Она расковыряла ключом замочную скважину, но дверь все равно не открыла. Он впустил ее. И тут до нее дошло: что это не он, то есть кто же?

— Тоестылстой, — представился.

Она машинально отдала ему подарок, спохватилась, но было уже поздно. Тогда она сказала:

— Это как раз вам.

— Спасибо, — сказал Тоестылстой, — а что это такое?

Ирра не знала, как это объяснить и сказала:

— Это просто такая вещь.

Он рассмотрел получше и еще раз сказал: ”Спасибо”.

”Додо” не выговаривалось, но он понял ее, когда она спросила: ”Где же он?”

— Он скоро вернется, — сказал Тоестыльстой.

Распределили комнаты, то есть комнату и кухню. Ирра осталась в комнате, Тоестыльстой ушел на кухню. Улеглись. Додостоевский вернулся поздно ночью, все понял, и на кухню не пошел, чтобы не будить, а пошел в комнату, чтобы будить. Будить не пришлось, Ирра не спала.

— Что все это значит? — спросила она.

— Ему негде жить, он будет жить здесь.

— А раньше он где жил, на луне?

— На луне.

Они проснулись утром, когда Тоестыльстого уже не было, он ушел.

— Куда? — спросила Ирра.

— Жалко, что он ушел, я хотел, чтобы мы все вместе поехали в лес.

И Тоестыльстой вернулся с хлебом.

— Хорошо, что ты вернулся, сейчас поедem в лес, — сказал Додостоевский.

— На автобусе? — спросила Ирра.

— Может быть, на автобусе. А почему ты не веришь?

На автобусной остановке стояли, тояли, ояли, яли, ли и замерзли. Автобус промазал мимо них, но сесть удалось. Поехали параллельно горизонту. По этой полосе почти не ходили люди, зато там было много ям и горок. Над этой местностью поднимались пузырьки, как от газированной воды, которые были каплями на солнце. В то же время там рыскали бабушки, и все вместе было, как стихи. Автобус остановился, и все пассажиры стали смотреть в окно, и все до одного обратили внимание, кто выходит у леса. Перешли дорогу и лес тут как тут. Какие-то равнобедренные пригорки, зайчики, была речка, в ней мог купаться, кто хотел, но никто не хотел. Не было слышно ни одного выстрела. По лыжне катались прямо в сапогах, можно было бы еще и петь. Все удовольствия были получены, быстренько отряхнулись от снега, и поехали в гости обедать.

На обед было все самое хорошее.

Вышли из гостей поздно вечером и увидели этот же развратный, но совершенно пустой автобус. Нельзя было в него не сесть. Сели и опять поехали в лес.

— Как красиво, — машинально повторила Ирра ту же самую фразу, что и днем.

Но красиво в лесу не было.

— Не пойдем за той парочкой, — показал машинально Додо рукой на ту парочку, которая была здесь днем.

— Подождите меня, — сказала Ирра, как только они миновали овраг, в который кубарем скатывались дети, как днем, — я сейчас.

Она отошла в сторонку и сделала "сейчас".

Потом познакомились.

Додо сказал, что они с Т.е. познакомились через другого приятеля, не через того, который умер, хотя почему-то считается, что через того.

— Кем считается? — спросила Ирра.

— Ты уже спрашивала об этом, — сказал Додостоевский, — сколько можно спрашивать.

Тоестълстой провалился в сугроб и сидел на кочке без ног одну минуту, пока Ирра с Додостоевским его не вытащили. Звезд было очень много. Они не лезли в глаза, потому что были очень далеко. Внизу блестел город тоже как звезды, и получалось, что они как бы между звезд тех и тех. Ирра встала между Додостоевским и Тоестълстым, они пустили ее в серединку, чтобы она не упала, и пошли обратно, как днем. Она сказала, что больше всех любит маму, потом все-таки папу, потом Додо, потом Т.е. Через некоторое время сказала, что она больше всех любит маму, потом все-таки Додо, потом папу, потом Т.е. В конце она сказала, что любит в той последовательности, как сказала днем, и Тоестълстому было не так обидно.

Нечаянно испортили куст, потому что как только потянули его вверх, он немедленно вытащился. Может быть, он просто был воткнут. Но подобное могло быть и с деревьями, они тоже могли быть просто воткнуты, и поэтому обратно решили идти не как днем, а полем. Был ветер. На всех парусах пришел автобус, на нем приехали домой.

Додо очень много ходил и сильно стучал ботинками. Он достал чистую рубашку, которая была такая мягкая, как будто грязная. Тоестълстой нарезал тот хлеб, что купил утром и налил чаю.

— Можно идти, — позвал он всех.

— Т.е., — позвала его Ирра, — переоденьтесь, вы ведь тоже промокли.

— Вообще-то да, — сказал он и взял лишние штаны Додо.

— Тебе разве налезут мои штаны? — спросил Додо.

Тоестълстой примерил их и остался доволен, они жали, но можно было и не застегивать.

— Я не буду их застегивать, — сказал Т.е.
— Ты завтра куда-нибудь идешь? — спросил его Додо.
— Еще не знаю, — ответил он.
— А ты? — спросил ее Додо.
— А ты? — в свою очередь спросила она его.
— Я-то иду, — ответил Додостоевский.
— Тогда я тоже иду, — сказала Ирра.
— И куда же?
— Я должна буду позвонить, и мне должны будут сказать, привезти или не привезти.
— Что привезти? — не понял Додостоевский.
— А может быть, ничего, — сказала она, — может быть, они сюда позвонят, тогда значит им уже привезли. А вы не хотите туда вернуться? — спросила Ирра Тоестылстого. — Туда, где вы раньше жили?
— Я же там не один жил, — сказал он.
— Но здесь ведь тоже не один, — заметила она.
— Почему, — улыбнулся он, — здесь один.
Они оставили его на кухне, Т.е. сам себе все постелил и даже добавил еще одну подушку.

Среди ночи ей было неудобно пройти в ванную.
— Мне нужно вымыться, — сказала она Додо.
— Иди и вымойся.
— Но он услышит, — недовольно ответила.
— Тогда не ходи.
— Как все несовершенно, — рассердилась.
— Но мы все-таки родились, — у него было хорошее настроение.
— Ну и на фиг? — сказала она.
— У тебя плохое настроение.
— Твой Т.е. перебрался сюда, чтобы быть одному; я перебралась, чтобы быть вдвоем, оказалось, что мы — втроем. Вот это и есть несовершенство.

Он не стал спорить. Неизвестно, сколько времени прошло "с тех пор" и спит ли Тоестылстой. Самолет на долю секунды заглушивший псаломщика.

— Интересно, — сказал Додостоевский, — сколько времени прошло, пока мы занимались любовью. Извини, я зажгу свет. Может быть, немножко похоже на церковную службу в том смысле, что тоже не знаешь, сколько прошло времени.

— И сколько же прошло времени?
— Я тебе, кажется, говорил о церковном хоре? — спросил он. — Ты что, сердишься на меня? — переспросил он. Сказала, что не сердится, и что "далее-то что". Тогда

он сказал, что там их два: тот, что справа, профессиональный хор — и это все равно, что художники, поэты, музыканты, а слева — любительский — и это как бы остальные люди. Что справа поют очень хорошо, а слева просто поют: иногда попадают, иногда нет. Но когда начинают петь все вместе, происходит что-то удивительное: уровень уже становится не важен, уровень как бы для того, чтобы помочь всем остальным, что уровень — это простая помощь, что оказывается "с тех пор" прошло два часа.

На столе стояли увеличенные цветы, на полу чайники, один меньше другого. "В самый большой могут уместиться все поочереды, как матрешки. — Налей-ка лучше отсюда сюда, а потом оттуда туда". Ирра уговорила, и он принес из холодильника стаканчик, чтобы она тут же набрала на палочку мороженое и стала водить ею по губам, играя на гармошке.

— Могу спеть, — сказала она.

— Спой.

— "Дай мне эту штучку. — Просто так не могу, но могу поменяться. — Дай просто так. — А ты мне тоже дай что-нибудь просто так. — Тогда получится не просто так, а просто так на просто так".

— Хорошая песенка, — похвалил он.

— Теперь хочется курить после сладкого, — она выкинула губную гармошку.

Бумажный стаканчик послужил пепельницей. Пепел прилип к бортикам, и они стали пушистыми, потом все размазалось, и стало светать. Некоторые предметы стали походить сами на себя. Стаканчик рухнул, взорвался, в окнах уже зажигали свет, и полумрак в комнате можно было принять и за утро и за вечер, поэтому кое для кого это было утро, а кое для кого вечер.

Ирра открыла глаза, и только потом увидела на подушке три розочки. Но на самом деле сначала на подушке было три розочки, а потом она уже открыла глаза.

— Додо, — позвала она.

Вместо Додостоевского в дверях появился Тоестылстой.

— А Додо? — спросила она.

— Ушел.

— А это, — показала она на цветы.

— Это вам.

Тогда она поняла, что она умерла, что розочки у нее в изголовье, а романчик позади, а розочки впереди, и тогда она встала. Оделась, прочитала плакат: "Утром

откройте на мир глаза, изумительно подкрашенные” и вышла на кухню.

— Чай? — спросил Тоестылстой.

— Чай, — ответила. — А почему цветы?

— Просто так.

— Это вы мне просто так или он?

— Он ушел рано, сказал, что вернется поздно.

— Стало быть — это вы, — рассудила она. — Это потому что вы слышали, как я ночью пела?

— Нет, просто так.

А просто так быть не могло. Значит, она умерла и лежит теперь на смятой постели и рядом валяется в дупель закуренный стаканчик от мороженого; на подушке лежат три розочки, по радио передают похоронный марш с блатным оттенком. Тогда она наспех собрала силы, потому что жить-то хотелось, скатилась к нему с горки прямо на колени, да и поцеловала. Тоестылстой изумился, но понял простой человеческий закон: просто так за просто так, и не рассердился. Она весело застелила свой гроб, розочки поставила в вазочку рядом с увеличенными цветами.

III

Остановилась дымковская дама со свистком под мышкой, кончился праобраз дождя, две параллельные спички пересеклись, стоило им только обуглиться. ”Ты тайно вытираешься моим полотенцем, чтобы не пачкать свое, я тайно вытираюсь твоим, чтобы не пачкать свое, и получается, что твое полотенце — мое, а мое — твое. И я не знаю большей гадости, чем цветущие яблони по-немецки”.

— Т.е., — позвала Ирра, — ты спишь?

Он ответил, что спит.

— Тогда почему же у тебя горит свет? — спросила она.

— А что ты хочешь? — спросил он.

— Можно к тебе зайти?

Она зашла к нему на кухню. Он уже лежал на раскладушке, и в тусклой железяке в изголовье горели два огонька.

— Не бойся, сказал он, — это не звезды.

Тогда она села на край.

— Если тебе низко, — сказала она, — я могу тебе дать еще одну подушку.

— Мне не низко, — сказал он. — Он сегодня не придет. На столе было липко, и пальцы сразу прилипли, и без того на столе было мало места.

— Если тебе холодно, — сказала она, — я могу тебе дать еще одно одеяло.

— Мне не холодно, — сказал он.

Ирра сказала, что ей грустно. Поставили чайник. Скоро он закипел, из носика пошел пар и повалил прямо на стекло. Стало тепло. Додостоевский пришел уже после чая, но до того, как она легла спать.

— Ждешь меня, — сказал он, — не спишь?

— Мы пили чай, Т.е. решил, что ты уже не придешь.

— Вот как, — сказал он.

Ирра забралась под одеяло и отвернулась к стенке.

— Не хочешь? — спросил он.

Она ничего не ответила, и он попросил хотя бы ее руку. Все осталось в руке. Плонув на то, что Тоестылстой слышит из кухни, она пошла в ванную и гремела там, пока мыла руки. Она вернулась и сказала, что ей плохо и у него жить, что ей ничего не нравится, что лучше бы она умерла еще тогда, "когда розочки".

— Замолчи, — сказал он, — я сплю.

Она, конечно, замолчала, и тогда он первый заговорил.

— В общем я предполагал, что это может случиться, но так скоро...

— Сначала скажи, что "это"?

— У вас сегодня все было с Т.е.

— Не сегодня.

— Даже так? — удивился.

— Еще тогда, когда "розочки".

— Ну что же, — сказал Додостоевский, — завтра ты уедешь к матери, что я могу еще сказать.

— Еще что-нибудь скажи.

— Спокойной ночи, — сказал.

И дальше уже начинался забор. Доисторические сосульки свисали с огромных крыш. Под ними стояли бессмертные и герои, и сосульки их не убивали. Но как только наступил март, и все смертные высыпали на улицу и тоже встали под крыши, они всех до одного поубивали. В небе было очень красиво: солнце, набитые облака, самолеты, дети, грузовики. Ирра растолкала Додостоевского, и он повернулся.

— Что тебе? Я не сплю.

— Я завтра никуда не уеду, — сказала.

— Ну и что.

— Что значит "ну и что"? — не поняла она.

И с крыш капали будущие сосульки, и шел дождь — будущий снег.

В просеках дневного света висело барахло. Не так уж хотелось ходить по улицам, запущенным с утра, и никак нельзя было подобрать глагола: они на кухне не сидят, а что? Посредине стола стоял хлеб и бутылка с недопитым пивом. Вместо знакомого аккорда в сороковой симфонии Моцарта раздался гудок автомобиля. Примером развернутой секунды могло служить собрание сочинений маркиза де Сада. Не что иное как предоргазмная секунда со своими исключительными героями: официантами, девочками, писателями разрослась до "120 дней Содома". Все подходило к концу или к другому началу: закипал чайник и заслонял паром окно со знанием всего города: доморощенными автомобилями, газонами-пастбищами не для скота. "Хотя бы вытерла со стола". — "Додо умрет первый, а я останусь с Т.е.; Т.е. умрет первый, а я останусь с Додо; я умру первая, а кто из них умрет первый уже неважно". Намочила тряпку, прошлепала ею мимо сахарницы, бутылки и чашек. "Ну, вытерла, дальше что?" А дальше рассвет в ванной, с луной, побелевшей от приоткрытой двери в коридор, где день уже давно. "Доброе утро". — "День уже давно". — "В таком случае", — Ирра смахнула свои вещи в сумку, надела пальто, поцеловала и того в щечку, и другого в щечку, присела "на дорожку", которая так и не состоялась. На кухне была грязь, скопившаяся за неделю и перешедшая накануне в эстетическую категорию по единственной причине: якобы одухотворенности. Накануне Ирра молилась на грязную миску и просила у нее защиты, это было примерно так: "Сделай же, чтобы кто-нибудь из них отвалил сам по себе, а я уж останусь с тем, кто останется, и буду его". Миска с византийской мозаикой из подгоревших макарон и кусочков мяса все же потом отмывалась и после этого становилась не культовым предметом, а чистой миской. "Я уйду часа на три, хоть приберись тут", — сказал Додостоевский и ушел. "Я сама, — сказала Ирра Тоестълстому, бросившемуся помогать, — уйди куда-нибудь". Он сказал, что над крышей, как больной, летает самолет, и ушел в туалет, чтобы не мешать. Повернулся к плану кинотеатра, рассчитанного на сто двадцать мест, где на сцене три артистки возились с куклами, разыгрывая спектакль про кузнечика. Девушка-кузнечик была самой хорошенькой

и положительной. Она была доброй и ленивой, и в нее влюбился его маленький сын. Ему же больше пришлось по вкусу ворона — подстриженная брюнетка. Она так смачно каркала, словно находилась в борделе. Эта область была сыну еще недоступной, и он балдел от кузнечика. Третья дуреха — зайчик, с припудренными усами и булькатыми глазами, ни на что не годилась. Тоестльстой вышел из туалета и сказал, что недавно был с сыном на кукольном представлении, и их вкусы разошлись. Ирра ответила, что не знала, что у него есть сын. Он сказал, что готов уехать хоть в другой город, и она ответила, что, мол, чем кухня не другой город. Это был маразм. Это было такое, когда все "бо-бо", даже животик бо-бо.

В другом городе "в кухне" было светло, значит, был день, а в другом городе "в комнате" было темно, значит, была ночь. Среди небольшого леса и колес, отражающихся на потолке, после прилива тошноты и материализовавшейся кошки от удара хлопнувшей двери, все стихло и стало пусто. Валяющиеся сапоги с вывороченными носками, выпавшие волосы уже не могли напугать, и только рука в темноте все искала и не находила, что нужно. Она не могла ни на чем остановиться, но она лазила не за часами, не за книжкой, не за стаканом с водой, она не могла вползти. Это было страшно: пальцы кончались ногтями, ногти кончались грязью, грязь кончалась пустотой. В целой комнате предметов для любви было сколько угодно. И был даже человек. Скорее всего нужно было любить человека. Но инертное чувство любви не воплощалось в любовь к человеку и распространялось на брюки, на свитер, трусы, еще кое на что. Но все вместе, может, и было любовью к лежащему человеку. Додостоевский лежал. Он был немертвый. Все было преувеличено: и любовь к брюкам вместо любви к человеку, и ощущение доступности смерти, но, даже если бы это было не преувеличено до желания побольшему, а преуменьшено до приспичивания по-маленькому, все равно одного этого ощущения было слишком много. Оно было непосильно. Оно было слишком большое, что-то вроде самостоятельного земного шара, что "ни взять, ни выпить, ни поцеловать", или слишком маленькое, что-то вроде микроба, что тоже "ни взять, ни выпить, ни поцеловать". Это ощущение было таким страшным, что хотелось его бить по лицу. Лежачего не бьют, "Додо, ты меня любишь?" Он ответил, что да, и

потом ответил, что нет. О, как правы были мальчики тамады-Торквемады, когда тянули Додостоевского за язык, чтобы он хоть разок брякнул "не люблю". Но он, как попугай, твердил люблю да люблю. За такую ересь сожгли, как миленького, спрашивается: для чего? — чтобы теперь в постельке, как у Христа за пазухой, он проболтался, что не любит. А кто тянул за язык? Ну, что за это сделать, убить? Лежачего не бьют.

— Да, это иррационально, — сказал Додостоевский.

— Но меня зовут Ирра.

— Я тебя не спрашиваю, как тебя зовут...

Батарею в комнате припекало солнце, и батарея еще больше припекала, стало быть, это было зимой. "Помнишь, как я к тебе приехала, и как они тоже приехали, и как они уехали, а я осталась". Во дворе было снега "во", по горло, в яблоневоу саду стояла двухместная будка для людей, которой они так и не воспользовались, то есть это был даже сарай. Нарисованные на клочке бумаги канделябры, прислонявленные к стене, развевались, и это было, что надо. Но только как не надо было это". — "А дальше будет еще хуже". И дальше уже за забором был дом. Он был оцеплен следами, среди которых были собачьи, и был даже след автомобиля, и это было хуже всего. "Ну, посиди же, Христа ради". И потом уже завопили все остальные по-соседски. В доме ужинали. На ужин была ни рыба, ни мясо. "Не выхожу не один не на дорогу, не впереди нетуманный путь не блестит, ночь не тиха, душа не внемлет богу, и не звезда с не звездоу не говорит". И в доме уже было то, что напоминало комнату в доме. И там действительно сидели и ужинали. Получалась примерно такая картина, в комнате четко различался первый и второй план. Все, что относилось к первому плану, было любимо, его занимал любимый, который сидел и ел. Первый план включал в себя и косточку, присохшую к губе, и тапочки, и брошенную в двадцати километрах маму. Второй план занимали два других человека, которые сидели и разговаривали. Легче всего было втянуться во второй план, проскочив мимо первого, но любимый встал и сказал: "Как раз луна". Потом Додостоевский за пять минут выгнал второй план, проветрил комнату и позвал. Ирра поднялась, столкнувшись на лестнице со вторым планом, который многозначительно усмехнулся: "Ну так бы и сказал". — "А что ты, кстати, им сказал?" — "А что надо было сказать? Ничего, кажется, не сказал". — "Нужно было что-

нибудь такое сказать, потому что я, кажется, с одним из них знакома". — "Так кажется или знакома?" — "Ну знакома, что ты молчишь?" — "Ну дальше, дальше говори". И дальше начинался рассказ про второй план. Что вот есть любимый человек. "Это я?" — "Это ты", и он как бы первый план, и еще несколько человек, которые как бы второй план, не люди вообще, а именно люди: женщины, мужчины, которые нравятся или даже не нравятся, но имеют отношение к любимому человеку, поэтому занимают место. "И один из них был этот второй план." — "Да, один из них". Иногда этот второй план утягивает из первого, и получается жизнь как бы во втором плане: и природа, и контуры, и еда, и даже мама — все переходит во второй план. Второй план имеет только присущую ему плотность, и тут важно не обмануться и не принять его за первый, потому что иначе первый будет навсегда утрачен.

Шишил-мышил взял и вышел, потом вышел Додостоевский, и потом уже вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. "Ты куда?" — спросила Ирра. "Я туда и обратно. Спи". На улице был промозглый ветер и безмозглый дождь, и сквозь дождь, маячили такси. "А собственно, куда я? Куда "туда и обратно"?" Оно, такси, остановилось. "Куда поедем?" — "Сначала туда (Додостоевский сказал, куда именно), а потом тут же обратно". Приехали. Он зашел в подъезд, поднялся на такой-то этаж, хотел позвонить в такую-сякую квартиру, и не позвонил. Потому что в этой квартире Ирры, естественно, не было, потому что она естественно лежала у него в постели, а он как дурак зря прогонял такси. "Куда ты?" — "Ну, куда я еще могу? Куда, куда, в туалет". Он расплатился с таксистом, поднялся на свой этаж, открыл свою квартиру и, слава богу, застал ее в постели. "У тебя какой-то особенно отрешенный вид, — сказала Ирра, выглядывая из-под одеяла, — с таким видом не ходят в туалет". — "Спи". — "Ты меня любишь?" — встревожилась. — "Люблю. Сколько времени прошло с тех пор, как я сказал туда и обратно?" — "Нисколько не прошло. Ты меня любишь?" — "Люблю. То есть что значит "нисколько". Ты зачем спишь с Тоестылтым?" — "Ну, это же днем". — "Ничего себе ответ". И тут же он вышел из себя, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить...

"Это все равно что ударить, так схватить, будет сияк", — причитала она. "Я не хотел, ну прости, будет

синяк, будет новый год, и будет все то же самое: ты будешь спать с ним в другом городе "на кухне", а со мной в другом городе "в комнате". Рядом с солнцем есть черная дыра". — "Что, рядом с нашим солнцем?" — "Как ты хорошо сказала "с нашим". Спи, рядом с нашим, конечно".

IV

Додостоевского не было, он ушел еще днем, ушел и сказал, что не вернется. Ирра помыкалась без него с полчаса и сказала Тоестылстому, что она мигом "туда и обратно". Раз мигом, Тоестылстой даже не стал спрашивать куда. И вот это "мигом" уже длилось часов семь. Он подходил к телефону, и тупо набирал номер Ириной тогда уж матерри. Сначала телефон не отвечал, это обозначало, что Ирра там и отключила телефон (хотя чего ради ей его отключать) или что телефон включен, но ее нет. Потом появилась ее мать (значит, все-таки не был отключен или был, но уже не важно). Он пару раз помолчал, а больше было уже слишком. Значит, ее там нет, потому что подошла бы сама. А может быть, есть? Позвонил в последний раз, поздоровался, позвал, оказалось, что нет. И тут началась мука: сейчас нет, но вот через пять минут она уже могла туда войти. Звонить так часто неудобно. Все равно позвонил через полчаса, сначала помолчал, потом еще раз через пять минут позвал, оказалось, что все еще нет. Наконец позвонил в последний раз и оставил номер телефона, идиот, если бы она хотела, то позвонила бы по этому номеру сама. Обошел всю квартиру. Сел за стол Додостоевского, зачем-то заглянул в ящики стола, потрогал бумажки, застыдился и задвинул ящики обратно. Сбегал к себе на кухню. Присел на дурацкую раскладушку, прилег. "Она должна быть дома, — рассудил он, — потому что если ее нет, значит, она не ночевала. А что она тогда скажет не мне, я не в счет, а своему Додо".

Была еще одна дама, у которой телефона не было, но "если очень нужно, можно всегда передать через соседей". Передавать было уже поздно, да и что собственно передавать? После последнего разговора с этой дамой передавать ей было уже поздно. "А ты звонишь не мне, когда меня нет?" — спросила она без кокетства. Его ответ был исчерпывающим: "Это когда не тебя нет, я звоню

тебе". Однако когда же Ирра войдет и так вяло спросит: "Т.е., ты уже спишь?"

Повалился еще, встал, решил в последний раз позвонить ее матери: вдруг не передала? Было неловко. Набрался смелости, позвонил, и никто не подошел. Выключила телефон. Набрал еще раз — выключен. Это был то ли подарок, то ли, наоборот, неизвестно. В общем, в темноте с какой-то маниакальной упорностью он тыкался в циферблат, на ощупь набирал номер и слушал долговязый гудок, онанирующий над оврагом, где в кустах апартаменты за трешку и так пахнет черемухой, которую "не рвать"; над прогуливающимися босховскими придурками из Филимонок: гуськом-гуськом на три-четыре все вместе "ур-р-ра"; над полиомиелитной речкой с парнем на плоту, провалившимся в собственные резиновые сапоги, и, наконец, над пенсионерами, беседующими так "искристо и остро".

Уже под утро входная дверь открылась и появилась... появились, оказывается, они вдвоем с Додостоевским — явились не запыхались.

Утро началось уже днем и заняло весь день, а обещенного дня не было, несмотря на то что Додостоевского тоже не было. То есть этого это и разозлило. Он не хотел грубить, но, когда Ирра сказала ему "доброе утро", он завелся. Она не заметила и сказала дальше: "Какое прекрасное утро". — "Дарю", — сказал он. "Не поняла", — ответила она. "Ты его должна была бы потратить на меня", — пояснил он. "Почему должна?" — удивилась. "Ты обещала вчера и проспала, — заводился он все больше, — но неважно, дарю". — "Что ты говоришь", — сказала она. "Да, — повторил он, — дарю". Тогда она сказала "спасибо", прибрала подарок к рукам и стала собираться, чтобы куда-то уйти. "Уходишь?" — сказал он уже в дверях. "Не понимаю, — возмутилась она, — что ты хочешь, ты же сам только что подарил". Он больно сгреб ее и попросил остаться. Он целый час выторговывал свой подарок обратно. "Ладно, — согласилась она, — тогда поедем куда-нибудь". — "А это", — показал он на раскладушку. "Нет, — сказала она, — это я не могу. Пусть же". И он отпустил ее в тыл конюшнеобразной библиотеки, примерно с десятью стойлами, где в каждом по три стола и за столом загадка: два конца, два кольца, а посередине гвоздик. Отгадка — библиотечная крыска уже пару раз выглянула в окно, наблюдая такую картину: битый час сидят двое и глушат прямо из бутылки. За-

хлопнула окно, а между тем ничего не изменилось: бочки, ведра, доски были сбалансированы. Ирра наклоняла бутылку, направляя ее, как телескоп, на солнце, заглядывала в нее, и на поверхности "Ахашени" появлялась сначала черная каляка ее большого пальца, и потом навстречу ей выплывала непонятно откуда взявшаяся двойка. Этикетка отражалась в вине в духе Макса Эрнста. Это было очень красиво. Насмотревшись вдоволь, она говорила Тоестылстому: "На, посмотри", но прежде чем отдать бутылку, делала глоток, взбалтывая всю эту красоту, и потом уже он наводил бутылку на солнце. Он смотрел, как оседает пена, успокаивается поверхность вина, замирает тень большого пальца, и с обратной стороны бутылки, воспользовавшись оптическим обманом, выплывает маленькая двойка. Сегодня он хотел ей сказать, что именно сегодня "съезжает" с кухни, желает им счастья и так далее, и вместо этого сказал, как лучше шевелить бутылкой, чтобы двойка равномерно описывала круг. Потом Ирра предложила немножко накрепнуть плоскость со всеми принадлежностями "СУ" такого-то, с боку припеку Страстного монастыря в честь будущей страстной недели, плохо кончившейся куличом с торчавшей вишневой веткой, которую кто-то потом сжевал, "христосованиями", поединками на яйцах с каким-то большим рызрывом, с похабными анекдотами и бутылкой водки, с совсем уж некрасивым пейзажем внутри "кончай проливать, и так мало", наведенной, как телескоп на электрическую лампочку вместо солнца в честь воспоминания о Страстном монастыре, о плавающей двойке, о пейзаже на "Ахашени" в духе Макса Эрнста.

Часам к шести крыски стали разбегаться по домам, и отсюда Ирра сделала вывод, что стойлообразная библиотека тонет. "Пойдем", — сказала она. Его вопросительный взгляд обозначал "почему?" И она пояснила: "Раз все уже выпили". Ирра торопилась вернуться в комнату, а Тоестылстой не торопился вернуться на кухню, и поэтому как можно безразличнее сказал: "Посидим еще". Ему было трудно понять, чем привлекает Ирру доисторический облик его друга. Когда он слышал через стенку, как его допотопный приятель возится с ней, он невольно думал: "Вот тешатся старый да малый". Она сама повернулась к нему и он, конечно, зря, но все-таки спросил: "Скажи, ты совсем не любишь меня?" — "Почему, немножко люблю", — не задумываясь ответила

она. Ее ответ был таким простым, что он даже улыбнулся и сказал: "Ну, а теперь ты у меня что-нибудь спроси". Ирра проворно соскочила с бревна, стала удаляться, и он вспомнил китайскую таблицу, по которой все животные делятся на три категории. Она не относилась к животным, которые разбивают блюдце с молоком, она относилась к тем, что, удаляясь, превращаются в точку на горизонте. "Погоди!" — крикнул он. Огромного труда стоило ее догнать. "Любишь — не любишь, — сказала Ирра, — дальше-то что?" И дальше начинался ее рассказ про первый и второй план: "Что вот помимо первого плана, о котором я сейчас не буду говорить, существует еще и второй план". — "Это я?" — "Это ты. Ты не обиделся?" Сказал, что не обиделся. "Сегодня такой прекрасный день, — сказала Ирра, — что и на тебя, и на деревья, и на бочки — на все распространяется первый план. Но вот, например, вчера..." И она привела пример про вчерашний день, когда абсолютно точно знала, что не увидится с Додостоевским весь день, и поэтому ездила к матери повидаться с ней "во втором плане". "Ведь это так грустно, — заключила она, — что второй план распространяется даже на нее". На его удивление, что как же так, ведь он туда звонил, и ее там не было, она ответила, что была и что нарочно попросила маму сказать, что ее нет.

Уже темнело, и она с трудом разобрала надпись на заборе:

накойт-
рудица?

"Посмотри, что тут написано", — сказала. Тоестыльстой посмотрел сначала на надпись, потом вокруг и удивился, как все быстро поменяло цвет с белого на зеленый. Там, где раньше свисали доисторические сосульки, стояли зеленые неизвестные деревья: не березы, не сосны, не тополя, но тоже очень распространенные. "Какая неприличная надпись, — сказала Ирра, — что обозначает первая часть я, допустим, поняла. А рудица — это что такое?" Тоестыльстой сказал, что давно так называлась кровь, и потом сказал, что, когда в каком-то одном месте случайно оказываешься зимой, а потом случайно летом, становится особенно понятна условность всякого названия: белое-зеленое, листья-сосульки, "Трава-дрова", — сказала она. "Нет, снег", — сказал он. "А ты бы случайно не согласилась быть моей женой?" — спросил Тоестыльстой. "Хочешь, чтобы я перешла жить из комнаты

на кухню?" — спросила Ирра. "Мы уедем", — сказал он. "Никуда мы не уедем. Просто все, как ты говоришь, поменяет название: комната — на кухню, кровать — на раскладушку, белое — на зеленое". — "Или, как ты говоришь, жизнь перейдет из первого плана во второй".

Тыл, построенный из многочисленных звеньев, погрузился в относительную темноту. По плоскости, напоминающей воду, бегали клопы-водомерки. После каждого клопа, как после капли дождя, оставался на воде круг. А все вместе было как бы дождем. Каждый предмет изменял сам себе, но, пройдя полный круг изменений, возвращал себе свое условное название. Бочка с доской на мгновение становилась только бочкой с доской и ни в коем случае ни "такими ушками", ни "такими качелями". "Так, может, ты как раз бы и согласилась?" — опять об этом же спросил Тоестылстой. "Я бы, может, и согласилась". Но любимый встал и сказал: "Как раз луна". Потом он за пять минут выгнал весь второй план, проветрил комнату и позвал. Когда Ирра вошла, Додостоевский сидел на кровати, и поэтому она села на стул. А когда он встал с кровати, она тут же села на кровать, и тогда он сел на стул. И ни о чем не говорили. И только когда он выключил свет и посмотрел в окно, то сказал: "Как раз луна". На кровати она целовала его так, чтобы он ни в коем случае не подумал, что она его любит, а чтобы он подумал, что это просто так. И всего один раз забылась и сказала: "Даже если это не так, все равно скажи, что ты меня любишь". И он не сразу сказал "люблю". И после этого она смело сказала: "Я ведь тоже тебя не люблю, у нас все просто так". Ее распаляла его холодность, и она попросила несколько раз повторить одну так понравившуюся ей ласку. Он сделал то, что она просила, и ему стало нехорошо. "Тебе что, плохо?" — спросила она. Он не ответил. И тогда ей захотелось, чтобы он сию же минуту узнал, как сильно она его любит. И она сказала ему: "Я тебя люблю, ты слышишь, — сказала она еще и еще раз: — Я тебя люблю". Но это признание не принесло ему почти никакой радости. Он отнес его к простой благодарности за то наслаждение, которое только что доставил ей. Она поняла это и сказала: "Ты мне не веришь. Ты думаешь, что я тебя люблю не просто так, а за это". И когда она это сказала, он немножко поверил в то, что она любит его просто так. И поэтому, когда еще через несколько минут она спросила: "Ты ведь меня тоже любишь?" — и он ответил "нет", и

она загрустила, он еще немножко больше поверил в то, что она любит его не только за это, а просто так. "Я, может, и согласилась бы, — сказала Ирра Тоестыльстому, дожидавшемуся ответа, — но я все-таки не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, когда предлагаешь мне быть твоей женой. То, что мы никуда не уедем, это точно. Остается одно: оставить Додостоевского в комнате и перейти мне жить к тебе на кухню". Он погладил ее по голове и как-то очень поспешно поцеловал в губы. "Нет, есть еще и другое, — сказал он, — я скажу ему, что теперь ты моя жена, и, я думаю, он уступит нам комнату и свою кровать, а сам перейдет жить на кухню".

Еще через некоторое время клопы-водомерки совпали с настоящими каплями дождя и тот "как бы дождь" превратился в самый настоящий дождь. "Тем более пора идти", — сказала Ирра. И пройдя по безлюдному коридору с хорошей живописью на стенах благодаря плохому освещению, которая на самом деле была плохой живописью при хорошем освещении, очутились перед закрытой дверью в комнату. "Неслыханное дело, он закрыл дверь". Тогда прошли на кухню. Ванная и туалет тоже были открыты. Приложившись к подушке, Ирра сразу же сказала, что устала и хочет только спать. Тоестыльстой ответил, что совсем не хочет спать. Но когда постелили, он мгновенно заснул, а она нет. Она не то слово рыдала. Огромный ватник заслонял стекло, хрупкая гипсовая Венера подпирала кухонную дверь (действительно ли находчивый скульптор сделал ее без рук, а если с руками, то как они должны располагаться, чтобы не быть лишними. Можно их примерить так и сяк, но они явно мешают), за Венерой был стул, оседланный брюками, а вот за ними уже было то, что могло бы быть комнатой. "Я же тебе сказала, что приеду сегодня одна, только останься". — "А Тоестыльстого куда денешь?" — "Это уж мое дело. Твое дело остаться, а мое дело приехать". И никто своего дела не сделал. Ирра приехала с Тоестыльстым, а Додостоевский остался, но не здесь... Поэтому за ватником была Венера, за Венерой стул, а за стулом было то, что ни при какой погоде не могло быть сейчас комнатой. "Ну я же просила сегодня!" — "В другой раз будет сегодня". — "Всегда сегодня будет завтра, а завтра будет в другой раз, и то, что должно быть комнатой, всегда будет кухней".

До трех часов ночи Додостоевского не было, а потом уже его не было и в помине. Она подумала, что это так

ужасно, что его нет, что это даже прекрасно, потому что так прекрасно, когда он есть, что это даже ужасно. Она подумала, что с Тоестылстым все наоборот: то есть так ужасно, когда он есть, что это даже прекрасно. "Я не сплю", — ответила Ирра, когда Тоестылстой спросил: "Что?" Она сказала ему, что не имеет ничего против этой кухни, но не хочет жить в принципе на кухне и в принципе спать на раскладушке. Она договорилась до того, что сказала, что никогда не перейдет жить с ним в комнату, потому что это значит перейти с ним жить в первый план.

Тоестылстой сказал, что он понял и сожалеет только о том, что планы не совпадают, потому что она-то для него — первый план, а он для нее — нет, и значит счастья нет. Ирра успокоила его, сказав, что Додостоевский для нее — первый план, и она вроде для него — первый, а счастья тоже нет. Она пригласилась рядом с Тоестылстым, и дальше уже вместо потолка была местность, которая, как луна, хорошо была знакома издалека и совсем не знакома вблизи. На отшлифованной поверхности как бы луны было окно, и через него виднелось серое вещество, которое, может быть, было потолком. И после того, как любимый встал и сказал: "Как раз луна", Ирра тоже выглянула в окно, но никакой луны там не было. Вместо нее был самолет, который тормозил в небе. Она увидела луну немного подальше за макушками деревьев, которые издалека были, как кустарники. "А это что за кустарники?" — "Это дикая малина. Будет нескоро". — "А это что за цветы?" — "Это не цветы, это земляника. Также будет нескоро". — "А это?" — "А это можно есть сейчас". И как только она увидела луну, то сказала: "Вижу, что луна", и Додостоевский увидел, что она сердится, раз она сказала "вижу, что луна".

V

Они сидели на кухне и ели то, что было. Когда Тоестылстой сказал Додостоевскому, что они с Иррой поженились, Додостоевский сказал: "Поздравляю". Когда Тоестылстой спросил Додостоевского, не может ли он перейти жить на кухню, Додостоевский ответил, что не может. Когда Тоестылстой сказал ему: "Нас же двое", Додостоевский сказал ему: "Нас тоже двое". Тоестылстой сказал Додостоевскому: "Что ты хочешь?", Додостоев-

кий сказал Тоестьлстому: "А ты что хочешь?", Тоестьлстой сказал Ирре: "Что ты хочешь?", Ирра сказала Тоестьлстому: "А что ты хочешь?", Ирра сказала Додостоевскому: "Ну что ты хочешь?", Додостоевский сказал Ирре: "Ну а ты что хочешь?"

На кухне появились "Ахашени", розы и абрикосы. В комнате, как из другой оперы, появилась бутылка водки. Было лето, но абрикосы и розы были такой редкостью для кухни даже летом, что поэтому скорее была зима. Бутылка водки не была редкостью для комнаты, и мысль о времени года в комнате вообще не приходила. Значит, в общем была зима. Они разделились на пары: Ирра с Додостоевским были в комнате, но Ирра с Тоестьлстым была и на кухне, значит, получалось, что их все-таки четверо. Но зато, когда они объединялись в кухне, их опять становилось трое. Из окна комнаты было видно почти небо, освещенное почти солнцем. И как же все было неграмотно оформлено. Ирра, пристающая к Додостоевскому со своими дурацкими вопросами: "Ну, почему ты на мне не женился?" — "А ты этого хотела?" — "А ты этого хотел?" — "А ты что не видишь?", — была неграмотно оформлена. Вываленный в снегу, если это была зима, в пуху, если это было лето, пьяный был неграмотно оформлен. Лужа с поднимающимися алкогольными испарениями была неграмотно оформлена. Ирра сказала Додостоевскому, что все это ужас какой-то, что он допотопный, что такие, как он, давно вымерли, он доисторический. Додостоевский сказал ей: "Иди к нему, ну правда, он уже давно ждет".

И чтобы это было скорее, она не пошла пешком, а села в поезд. Поезд проехал по корридору с грязными ботинками в углах, проскочил мимо дверей сначала в ванную, потом в туалет и направился прямо на кухню. "Ты что так долго?" — спросил Тоестьлстой. Там была застеленная, такая жалкая раскладушка. "Я не долго, — сказала Ирра, — с ним ведь тоже надо побыть". — "Пусть идет сюда", — сказал Тоестьлстой. "Тогда я пойду его позову", — сказала она. И чтобы не идти пешком, и чтобы туда было еще быстрее, чем сюда, она села в поезд, который мчался с такой скоростью, что все осталось внизу. Внизу были малюсенькие-премалюсенькие ботинки, размазанные от огромной скорости вешалки и двери, конечно, это был не поезд, а самолет. И когда Ирра приземлилась точь-в-точь у кресла, где сидел Додостоевский, он даже вздрогнул. "Пойдем туда", — ска-

зала она. "Сейчас приду, иди пока". — "Нет, я с тобой". — "Что ты со мной, что ты со мной", — крикнул он. И она стала удаляться от него, но на каком-то таком транспорте, что опять оказалась рядом с ним и даже за его спиной. "Ты же меня не любишь", — сказал он. "А ты меня?" — спросила она. "А ты меня?" — спросил он. Почти небо стало просто небом, потому что почти солнце зашло. За горизонтом была точно такая же местность, за которой был горизонт, за которым была точно такая же местность. "Я-то тебя люблю", — сказала она. И по этой местности ходили животные, про которых были даже стихи: про слоненка, про жирафа, про крысу и про кенгуру. "Жалко, что ты меня не любишь", — сказала она.

Все предметы в комнате захотелось сразу же поцеловать и потом сразу же после этого убить. Самые прекрасные предметы были пластмассовые. Пластмасса, эта "дрянь какая-то", все же была творением человека, а не е г о. Какая же она была противная, ничего себе, какая же она была несеребряная и незолотая, она была искусственная, она была исключением, она была не оловянной, не деревянной, она была именно стеклянной, потому что стекло было тоже творением не е г о. В общем, она разбила стекло. "А ну-ка пойдی сюда, — сказал Додостоевский, — сейчас у меня поедешь обратно". Он выставил ее из комнаты, и на этот раз она не села в поезд, а пошла пешком, чтобы это было не скорее, а наоборот.

Все остальное было грамотно оформлено: блевотина с рассыпанными по ней осколками стекла была наутро вырезана Додостоевским вместе с пластинкой линолеума и грамотно оформлена; покойник был грамотно оформлен в гробу; побитые машины были грамотно оформлены французским скульптором Арманом. Это и козе понятно. Аминь.

Немного покачивало. Проводница выдала условное белье за рубль. Постелили и легли. Додостоевский, чтобы спать, Тоестьлстой, чтобы не спать. Сразу же появились комары, чтобы кусать. "Ну, кого кусают комары, когда людей нет? То есть когда они не кусают, тогда они что?" Ирра вышла из ванной и вошла в комнату. "Ты что, — спросил Додостоевский, — ко мне спать?" — "Нет, не спать". — "Если не спать, то иди на кухню, я-то буду спать". То есть если даже для простейших (для комаров) существует прерывность во времени (не кусают, а что?),

то для более сложных (для людей) тоже, может, существует эта прерывность (не живут, а что?)

— Можно я с тобой посижу? — спросила она и села.

— Ты уже села, что же ты спрашиваешь.

— Додо, — сказала Ирра.

— Слушай, — сказал он, — нехорошо, ты вышла замуж. Теперь будешь обманывать.

— А раньше что было, хорошо?

Она легла рядом с ним. Он нашел глазами окно и стал смотреть на меняющийся все время пейзаж. Проводница стала разносить условный чай, постучала и к ним, но они не открыли.

За окном был целлофан, который был вместо тумана, который был вместо целлофана, а за ним в натуральную величину сидела птичка и пела. Она пела "пи-пи", и это было непонятно, кто она такая, а за ней летала чайка, из которой потом получилось пять чаек, из которых потом получилось десять чаек, из которых потом получилась одна чайка, и действие этого механизма было тоже непонятно, а за ними (перед ними) плыл теплоход, который не тонул, а на нем вместо ста человек, которых не было, были два человека, которые как раз не разговаривали, а что?

Ночью целлофан стал активизироваться, он натянулся и из него пошел дождь.

— Я сейчас приду, — сказала Ирра Додостоевскому.

Она вошла в кухню, Тоестълстой не спал, он сидел на раскладушке, читал какую-то книжку и ел яйцо.

— Рассказ профессионально сделан, — сказал он, — и яйцо профессионально сделано, но яйцо сделано профессиональнее.

— Ты сегодня обойдешься без меня? — спросила Ирра.

— А ты что хочешь опять к нему?

— Я еще немного побуду с ним, ладно?

— Иди, — сказал Тоестълстой, — тогда я буду спать.

У Додостоевского был выключен свет, Ирра вошла и включила свет.

— Ты зачем включила свет?

— Я хочу при свете.

— Что ты хочешь при свете, — крикнул он, — что значит при свете!

Он сплюнул на пол. Ирра выключила свет и села.

— Что ты молчишь, — сказал он, — так тоже нельзя.

— Я не молчу, — сказала она.

— Ну, ложись тогда, раз пришла, я не знаю, что делать.

— Я завтра у тебя уберусь, — сказала она.

— Давно пора, — сказал он.

Она легла на его место, а он лег на ее место. Потом они поменялись местами, и она легла на свое место, и он лег на свое место. Потом они легли на одно место — на его, потом они легли оба на одно место — на ее. Потом само понятие "твое место", "мое место" исчезло, а как только исчезло, "места" перестало хватать. И тогда местом стало все более или менее подходящее. Он включил свет, и она сказала: "Зачем ты включил свет, выключи". — "Я хочу на тебя смотреть", — ответил он. Она спросила: "Тебе приятно на меня смотреть?" — "Очень приятно", — сказал он, — а тебе что, тоже приятно?" — "Очень приятно, — ответила она. "Что тут может быть приятного, никак не могу поверить, что ты меня любишь". Она указала туда, где была красота.

— Да, — сказал Додостоевский, — красиво, то есть уровень есть. — Там было еще метров сто пятьдесят красоты над уровнем моря, и там в тумане, как в тумане, передвигались люди. — Ты отвлекаешься, — сказал он, — и забываешь, что надо делать.

Отвлекал шум, который доносился снизу: катеров, если внизу было море, машин, если внизу было шоссе. Наконец, если катера, то встали на якорь, если машины, то — на прикол. Их заменили самолеты, и шум перешел вверх, на потолок, который мог быть небом, которое могло быть потолком. "Сколько звезд, — сказала Ирра, — так красиво, что у меня ничего не получается". — "Я говорил, что в красоте жить нельзя, что ничего не получится". И Додостоевский укрыл ее с головой одеялом, которое было теперь потолком, который был небом, которое было одеялом. "Так хорошо?" — спросил он. За несколько часов уровень воды снизился, а уровень красоты не поднялся, а тоже снизился. Стало светать. Все стало белесым: катера — машины — самолеты. "А может, я пойду кататься на лыжах". — "На лыжах ты кататься не пойдешь". Стали видны лыжни, если на воде, то от водных лыж, если на снегу, то от простых. "Еще пять минут", — сказала она. "Ну, давай же", — сказал он. И наконец стало пусто: улетели все самолеты, разъехались машины, лыжники и катера, красота стала ниже всякого уровня. "Ты меня любишь?" — спросил он. "Что?" — сказала она. "Скажи, что ты меня любишь". — "Какой ты разговорчивый", — сказала она. Он сжал ей шею, и ей стало больно. "Ты хочешь меня задушить?" —

спросила Ирра. "А ты этого хочешь?" — "Не сейчас", — сказала она.

— Оденься, — попросил Додостоевский.

— Но почему?

— Оденешься ты или нет!

Она оделась. "Ты хочешь, чтобы я ушла?" Он подал ей сумочку. "Но я тебя люблю, — сказала, — я тебя люблю методом исключения: то есть ты мне не нравишься, ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю. Остается только одно, потому что, если не люблю, то что? Понимаешь?" — "Понимаю, но метод неправилен. Иди". Она вышла. И дальше уже за дверью был фон: холодильник, посудные ящики, спящий на горизонте Тоестълстой. Она села на стул и стала частью фона.

Утром было солнце. При чем тут солнце. Можно сходить в магазин или у нас все есть? У нас все есть, кроме всего.

— Т.е., — сказала Ирра, — давай больше не попадаться Додостоевскому на глаза.

— Ты что с ним поссорилась? — спросил он.

— Можно оставить здесь все наши вещи, как будто мы здесь живем, а самим потихоньку уехать.

— А можно взять вещи, как будто мы уехали, а самим потихоньку здесь жить.

— Я сегодня уеду к маме, — сказала Ирра, — хорошо бы и ты тоже куда-нибудь уехал, а завтра мы уже встретимся, и уже долго-долго никуда не уедем.

"Ну, и что же ты наврала Тоестълстому?" — спросил Додостоевский. — "Сказала, что поехала к матери". — "А матери что наврала?" — "Сказала, что поехала к Тоестълстому". — "Ну а теперь мне что-нибудь наври". И наврала ему про первый и второй план. Что все-таки первый план порождает второй, а не наоборот. "Тоестълстой появился только потому, что я тебя так сильно люблю", — соврала она. Первый план — это не норма. Его нормальное состояние именно в его ненормальности. Она врала, что в первом плане не сидят, не говорят, не едят (может быть, очень сидят или очень говорят), не спят, а что? Получалось, что все, связанное с первым планом, — это не жизнь, а что? И дальше она стала врать, что иногда просто нужно нормально жить, и тогда возникает второй план, то есть кухня. То есть лстой. "Я его люблю, — врала она, — то есть с ним все нормально, но если я его люблю, то тогда тебя я не люблю, а что?" Она совсем завралась, сказав, что во втором плане возможны

замены, а в первом — нет. Во втором плане одного человека легко заменить другим, несмотря на то, что Тоестыльстой не Пушкин, а другой, а Пушкин не Байрон, а другой. Во втором плане на вопрос: "Это кто такой?" — ответить можно. "Это кто такой?" — "Это Пушкин". — "А это кто такой?" — "Это Байрон". — "А это кто такой?" — "А это Тоестыльстой". Перед вами гора Орел, вы видите гору, похожую на орла. Перед вами картина "Портрет неизвестного молодого человека", на картине вы видите неизвестного молодого человека. Перед вами экскурсовод, вы видите дебильного экскурсовода. В первом плане, задав вопрос: "Это кто такой?", можно ответить: "А это Ирра не знает кто такой".

В том месте, где все было для красоты, красоты не было. "Зачем здесь кипарис?" — "Для красоты". — "А гора зачем?" — "Для красоты". Стол, диван, блочный дом были более натуральными, чем "кусок" моря и кипарис. Словно кипарис был искусственно сделан, а стол вырос сам по себе. Небо и гора были некрасивыми, когда были специально для красоты, но были красивыми, когда входили в интерьер жилого места. Ветер был красивым, если он был, и если он тоже входил в интерьер. Пальмы и сосны были некрасивыми, как на открытках. Южная природа именно для красоты и как бы знала, что она нравится, и поэтому не нравилась. Природа средней полосы — "средненькая", как бы не знала, что нравится, и, может поэтому нравилась.

— Все, — сказал Додостоевский, — все. Хватит сходить с ума. Завтра вернется Тоестыльстой и начнем нормальную жизнь.

— Но я же тебе нравлюсь? — спросила Ирра.

— А ты хочешь мне нравиться?

— Но ты же меня любишь, — сказала она.

— Нет, — сказал он.

Тогда она не заплакала, а что? "И потом что нам делать вместе, спать?" — сказал он. Сквозь "не рыдания", а что? она услышала, как он рассказывал о каком-то лабиринте. Что он попал в него, и лабиринт был как бы древним, и единственное, что смущало — это свет внутри. Что он дошел до первого тупика и наткнулся там на кучи с дерьмом, и кучи были совсем не древними, а наоборот, и он захотел поскорее выйти. Пошел обратно, запутался. Ему было не страшно, а просто не по себе. Ему попадались окурки и пачки из-под сигарет. Потом он увидел надписи на стенках и картинки, и это была как

бы наскальная живопись, но по уровню как бы туалетная, и тут он догадался, что это современный лабиринт с верхним подсветом. "Что я несу", — сказал он. Ирра никак не могла успокоиться. "Перестань, — сказал он, — думаешь мне не тяжело, а если я тебя люблю, то это вообще ужасно". — "Я знаю, — сказала Ирра, — зачем люди женятся и выходят замуж. Чтобы было не так страшно делать это, делать то, что мы делаем. Они женятся, чтобы опять найти себе папу и маму. Но мне все-таки кажется, что ты меня любишь". — "Мне тоже так кажется, — сказал Додостоевский, — я-то тебя, конечно, люблю, ты меня, скорее всего, не любишь". Ирра сказала, что теперь хочет попить, и Додостоевский сказал, что можно шампанского. Решили, что лучше из стаканов. Получилось по два стакана, но во втором было меньше пузырьков. "Нужно пить, пока есть пузырьки, а потом уже невкусно", — сказала она. "Мне и так вкусно". — "Тогда отдай мне свой с пузырьками, а себе возьми мой". — "У тебя столько же пузырьков". — "У тебя больше пузырьков". — "Дай-ка мне лучше другой стакан, этот грязный", — сказал он. "Давай его мне, он чистый". Когда Тоестылстой был дома и мыл посуду, вся посуда была грязной. "Вымой тарелку, она грязная". — "Я хорошо ее вымыл". — "Все равно она какая-то грязная". Когда Тоестылстого не было дома, вся посуда была чистой. "Вымой тарелку". — "Зачем, она чистая". — "Надо вымыть сковородку". — "Не надо, она и так чистая". Кругом тоже было чисто, потому что не было никакой квартиры, а была видимость квартиры. "Пойди спустись с горы на кухню. — Поднимись в гору в комнату". Подстилка на земле была условным полом. "Не ходи босиком по полу, он грязный". — "Он чистый, у нас здесь все чистое". Вот это у нас как бы комната, хотя ее ассиметричность, наклон пола и канавка посередине для стоков дождевой воды создают некоторое неудобство. А отсюда открывается вид на красоту, и это как бы балкон. "Видишь птицу?" — "Вижу". — "Красивая?" — "Красивая". — "А сама птица знает, что она красивая?" — "Как она может это знать, если она часть красоты". В расщелине туалет, "спусти воду в туалете". Волна сама регулярно оmyвает камень, устраняя запах. При сильных волнах может затопить туалет. С катеров доносится ругань. Ругань входит в данную эстетическую систему и не кажется инородной. Ругань воспринимается как шум в канализации или в водопроводе. Дождь, гром,

солнце, ветер непосредственно участвуют в этом условном интерьере. Дождь создает крышу. "Натягивай крышу. Натяни получше, крыша сборит". Ветер раздувает стены, видимость стен: деревья и кусты. Солнце — единственный источник света: нельзя включить свет, выключить свет.

Стало светать, и стали выползать люди. Пошел дождь, люди стали расползаться, и стало капать. "Ложись сюда, здесь не капает". — "Нет, здесь, кажется, капает, а вот здесь, кажется, не капает". — "Ну что, не капает?" — "Пока не капает". — "Зато смотри, как красиво, кругом капает, а здесь не капает". — "А вот сейчас закапало". — "И у меня закапало". — "Что, красиво, когда капает?" — "Только бы здесь не капало". — "С самого начала нужно было сюда лечь, здесь и не должно было капать". — "Но ведь капает". — "Разве капает?" — "Мне на голову только что капнуло". — "Значит, везде капает". — "А ты поэт?" — "Поэт". — "И отец у тебя поэт?" — "Поэт". — "Поэт-отец, поэт-сын, поэт-святой дух".

Ирра делала вид, что не любит Достоевского, Достоевский делал вид, что не любит Ирру, Ирра делала вид, что любит Тоестыlstого, Тоестыlstой делал вид, что ему плохо, Ирра делала вид, что ей хорошо, Достоевский делал вид, что ему плохо, даже когда ему было хорошо, и дальше открывался вид, который не менялся независимо от того, было вокруг хорошо или было вокруг плохо. На этот вид нельзя было ничем подействовать, потому что он был неодушевленным. Достоевский был одушевленным и менял свой вид, Ирра была одушевленной и меняла свой вид. Открывался вид на одушевленные и неодушевленные предметы: на неодушевленные дома и неодушевленные деревья, на неодушевленное небо и солнце. Неодушевленные предметы старались прикинуться одушевленными: ветка — птицей, камень — зверьком. Одушевленные предметы старались прикинуться неодушевленными: Достоевский был дома, но делал вид, что его нет дома. В дверь звонил Тоестыlstой, если ему откроют, а если не откроют, то это не он звонил в дверь. "Это он, — сказала Ирра, — больше некому". — "У него есть ключи?" — спросил Достоевский. "Нет, они у меня". — "Не будем открывать, — сказал Достоевский. — Он сразу догадается. А завтра я ему скажу, что уходил, а ты скажешь, что была у матери". — "А он скажет, что не приезжал и сразу догадается". — "Тогда мы ему первые ничего не скажем, пока

он первый что-нибудь не скажет. Оденься на всякий случай". Она оделась. "Тихо ты, там же слышно". — "Что ж мне теперь, летать?" — "В конце концов, ты прячешься или я прячусь?" Она сказала, что это еще неизвестно, кто обманутый муж, что может быть не То-естьлстой обманутый муж, а Додостоевский, потому что она считает Додостоевского своим мужем, а То-естьлстого нет.

— Да, неизвестно, — сказал Додостоевский. — Но уже известно, что я умру раньше То-естьлстого, а он умрет раньше тебя, хотя бы потому, что я родился раньше его, а он раньше тебя.

— Значит, все остальное неизвестно, а это уже сейчас известно?

— Пойди на всякий случай в кухню и посиди там.

— Зачем, если я все равно у мамы.

Ирра спросила, жалко ли ему ее, Додостоевский ответил, что жалко. Она спросила, жалко ли ему было убивать ежа, он ответил, что жалко. Она спросила, когда было больше всего жалко, он сказал, что утром, когда увидел, что ежик спит в сетке, в которую он посадил его с вечера, чтобы тот не убежал. Она спросила, убил ли он его сонного, он ответил, что нет, что еж проснулся, как только он взял сетку. Она показала на тропинку, ведущую к балкону, откуда была видна красота, и он тоже увидел ежа. У того был переполнен мочевой пузырь и желудок, и когда он его взял, тот стал ругаться, и стал похож на шпану. Еж съел у них икру не потому, что ему нечего было есть, они съели ежа не потому, что им нечего было есть.

— Все равно все неправильно, — сказала Ирра Додостоевскому. — Может быть, я хочу быть с мамой и папой.

— Будь, — сказал он.

— Опять неправильно, потому что это изначально не тот папа с не той мамой. А раз я вышла замуж за То-естьлстого, я сама могу быть для кого-то не той мамой с не тем папой.

— Но ты же говорила, что у вас все хорошо.

— Я говорила, что могу заниматься с ним разными глупостями и мне не страшно, потому что все равно это происходит не со мной и не с ним.

— А со мной?

— А с тобой это происходит, с тобой и со мной, поэтому это очень страшно.

Додостоевский показал ей на мозаику в Равенне, и

она сказала, что ей не нравится сама императрица Теодора, но нравится одна дама из ее окружения, которая стоит не рядом с императрицей, а еще через одну даму. Она сказала, что ей так нравится эта дама, что она хотела бы ее взять себе. Ирра сказала Додостоевскому, что хотела бы, чтобы он был ее папой, чтобы было не так страшно э т о делать. И он сказал: "Как я буду твоим папой?"

Ночью Додостоевский зажег лампу дневного света, и можно было представить, что это дневной свет. Уровень воды поднялся, и затопил площадку, которая служила кухней, и можно было представить, что вода затопила кухню. Додостоевский был рядом, и не было необходимости представлять, что он рядом. Он совпал сам с собой. Воображаемый палец Додостоевского совпал с настоящим пальцем Додостоевского, и это было лучше всего, пока искусственный дневной свет не совпал с настоящим дневным светом, что было хуже всего.

VI

На кухне была плохая погода, Тоестылстой решил за погоду (а что ты за нее решаешь, что у нее языка нет? — У нее языка нет), что она плохая, и остался сидеть на кухне. Додостоевский глянул туда, где была погода, и решил, что нормальная погода, но тоже остался сидеть в комнате. Ирра была в ванной и стирала белье, она не имела никакого представления о погоде, хорошая она или плохая, поэтому сама была как бы погодой. Тоестылстой предложил Ирре помочь, и это была его манера поведения, это не значило, что он такой хороший, Додостоевский не предложил помочь, и это была его манера поведения, это не значило, что он такой плохой, и дальше из окна, выходявшего на первый план, и из окна, выходявшего на второй план, открывается вид на природу, которая не обладала манерой поведения, а была естественна. В этом смысле Додостоевский в первом плане — в комнате, Тоестылстой во втором плане — на кухне — не были частью природы, потому что вели себя. Они вели себя то прилично, то неприлично. Деревья не вели себя прилично, когда распускались, и не вели себя неприлично, когда осыпались. Напротив было дерево, которое не ело с дерева познания и не знало, что

оно дерево, допустим, дуб. Оно естественноросло и естественно бы упало, если бы его, естественно, не срубили. Оно не могло застрелиться. Дереву было ни плохо, ни хорошо, ему было, как всегда. Тоестыльстому было сегодня не как вчера. Все-таки он не знал, не открыли ему потому ли, что не были дома, или наоборот, потому что были. В то же время ему не хотелось выдавать себя, ситуация была для него неестественной, ему не хотелось, чтобы они узнали, что он приезжал, если они еще этого не знают. Были они здесь или не были, могло выясниться только случайно, потому что если прямо спросить, то прямо наврут. Тоестыльстой заварил чай, и позвал пить чай. Они пришли пить чай.

— А если бы вода стала врать, — сказал Тоестыльстой. Ирра с Додостоевским переглянулись, и Тоестыльстому показалось, что они здесь были ночью.

— Здорово все-таки, что природа не врет, — сказал Додостоевский, — что морковка с картошкой честные. "Не было их, — подумал Тоестыльстой, — так естественно держатся; а может, так естественно врут?" — усомнился он опять.

— Природа-то честная... — сказала Ирра. "Неужели были", — испугался Тоестыльстой.

— Мы же не для себя врем, — сказал Додостоевский, — для других, чтобы им было хорошо.

— А природе, по-твоему, наплевать на нас, — сказал Тоестыльстой, — ей нас не жалко, и она нам не врет.

— Как она может врать, если сразу будет видно, — сказала Ирра. — Дождь же не наврет, что он что-нибудь еще, видно же, что не что-нибудь еще, а дождь.

— Почему видно, — сказал Тоестыльстой, — например, набираешь из крана воду, видно, что вода, а выпьешь, окажется отрава.

— Такого не бывает, — сказала Ирра.

— Я и говорю, — сказал Тоестыльстой, — хорошо, что вода не врет.

— Все-таки иногда природа врет, — сказала Ирра, — возьмешь яблоко, с виду честное, а откусишь — вранье. И она совершенно спокойно посмотрела на Тоестыльстого.

"Точно, были", — подумал он.

— По крайней мере яблоко не знает, что врет, и не ловит кайф от того, что ему удалось соврать, — сказал Тоестыльстой.

— А природа вообще не ловит кайф, — сказал Додос-

товский. — Ей всегда ни плохо, ни хорошо, ей всегда как всегда.

Додостоевский поймал кайф от чая и ушел к себе в комнату. Ирра тоже зашла в комнату, она подошла к окну. "Как же мне все нравится", — сказала она. "Что тебе нравится?" — спросил Додостоевский. "Мне все-все нравится". Додостоевский подошел к окну и сказал: "Да не может это нравиться". Там были гаражи, деревья и дома. "А мне нравится, — сказала Ирра. — Мне так это нравится". "Это мне нравится, — сказал Додостоевский, — никак не могу поверить, что тебе это тоже нравится". Она вернулась в кухню и закрыла дверь в первый план, и первый план разрушился. И то, что было видно из окна, выходявшего на второй план, не нравилось. Ну как это могло нравиться: гаражи, деревья и дома. Ирра сказала Тоестыльстому, что есть еще планы, независимые от первого и второго. Она сказала, что люди, которые имеют хоть косвенное отношение к первому плану, автоматически становятся вторым планом, а люди, которые вообще не имеют отношения к первому плану, просто не входят в план. Она сказала, что во втором плане очень много для понта, а в первом все необходимо. И она привела пример, который, по ее мнению, объяснял, что значит для понта. Она сказала, что если у человека убрать сердце, то он умрет, а если убрать легкое, то он не умрет, потому что второе легкое как бы для понта. Получалось, что один глаз нужен, а второй для понта, одна рука нужна, а вторая для понта, и что бог понтил, создавая человека.

Тоестыльстой слушал да ел: "Эта конфета вкусная, потому что все невкусное я в ней уже съел", а когда съел сказал: "Что же мы сегодня будем делать?" — и сам же ответил: "Можно пойти на улицу". Ирра сказала: "Нельзя".

— Можно?

— Нельзя.

— Ну можно?

— Нельзя. Я тебе уже ответила, — сказала она.

— Но тебе приятно, что ты ответила?

— Что тут может быть приятного, если я уже три раза ответила.

— Тогда ты что-нибудь предложи, — сказал Тоестыльстой.

Она предложила ему одному пойти на улицу, а чтобы ему было не обидно, сказала, что ей еще нужно постирать.

— Ты хочешь побыть одна? — спросил он. — Но ты же говорила, что даже когда мы вместе, ты все равно одна, значит, ты можешь побыть одна вместе со мной.

Ирра ответила, что сейчас ей лучше побыть просто одной, чем вместе с ним одной. Тогда Тоестылстой сказал, что когда он один, то он все равно с ней, а когда она с ним, то она все равно одна. Ирра села к нему на колени и сказала: "Правда же я хорошенький зайчик?" — "Отдайся мне на дорожку", — попросил он. Она попыталась отмотаться, но он сказал: "Тогда я буду заниматься с твоей ножкой". И он сделал то, что сказал. Пока он занимался с ее ножкой, она занималась с "Ивернями", из-за которых он рассорился с одним картавым мальчиком, который назвал автора "Иверней" "коктебельским дудаком", когда ему было четырнадцать лет, когда ее еще не было на свете, когда он пришел в гости к "коктебельскому дудаку", которого уже не было на свете, но зато была его жена, и он ей сказал: "Я очень люблю его стихи. Я читал "Ивэрни", и жена поправила: "Иверни". "Да, — сказал он, — "Иверни" я читал, мне очень понравилось". И жена дала ему биографию "коктебельского дудака", и он стал читать, но на нем были мокрые плавки и от них чесались ноги, и он отложил биографию. Не пошла. "Иди же теперь". — И Тоестылстой довольный ушел, а Ирра, недовольная, осталась.

Она взяла читать эти несчастные "Иверни", и они полетели в сумку, потом в сумку полетели "Эмали и камеи" в переводе Гумилева, "Будем как солнце", "Книга масок", "Сонеты солнца, меда и луны", "Белые зарницы", она повертела в руках "Фарфоровый павильон" и кинула его туда же, и для смеха кинула "Громокипящий кубок". Она закрыла сумку и сказала Додостоевскому: "Я скоро".

— Куда ты? — спросил он.

— Я скоро вернусь, — сказала она.

Она растасовала эти книжки по трем буквам: "Эти две мы у вас возьмём, а эту не возьмем, эту мы сами не можем продать. Эту мы возьмем, а эта в плохом состоянии". — "Поставьте за нее меньше". — "Меньше мы не имеем права".

— Где ты была? — спросил Додостоевский, когда она вернулась.

— Сдавала книги, — ответила Ирра.

— Какие книги?

— Не бойся, не твои.

— Ты с ума сошла, — сказал Додостоевский, — он же с ума сойдет.

— Зато с ним все будет кончено, — сказала она.

Ирра сказала, что в принципе не имеет ничего против этих книг, а "Фарфоровый павильон" любит, "но, — сказала она, — второй план распространяется не только на погоду, гаражи, деревья и дома, но даже на книги". Она сказала, что второй план все сводит к норме, и все самое прекрасное кажется нормальным, и все самое ужасное кажется нормальным. Что все самые хорошие поэты кажутся средними поэтами, и все самые плохие поэты кажутся средними поэтами.

— Все равно я на тебе не женюсь, — сказал он.

— Но я уже это сделала.

— Не надо было это делать.

И тут пришел Тоестълстой.

— Что вы тут ссоритесь? — сказал он.

— Не знаю, что на меня нашло, — сказал Додостоевский, — я сдал твои книги, я их выкуплю завтра, честное слово.

— Какие книги? — опешил Тоестълстой.

— Ну, твои, — он запнулся, потому что не знал, какие именно Ирра сдала.

И тут Ирра сказала: "Он сдал..." (и она перечислила книги).

— Ты что, — сказал Тоестълстой, — сдурел!

— Как-то так вышло, — сказал Додостоевский.

— Какое же ты дерьмо, — сказал Тоестълстой.

— Ну прости, — сказал Додостоевский, — их не купят, не бойся, я завтра же их куплю.

— Я сегодня же их куплю, скажи где? — сказал Тоестълстой.

Додостоевский посмотрел на Ирру, но она ничего не сказала.

— Сейчас уже поздно, — Додостоевский тянул время.

— Не поздно. Говори, куда отнес.

Додостоевский опять посмотрел на Ирру, но она отвернулась.

— Не скажу, — сказал Додостоевский.

— Какое же ты дерьмо. — Тоестълстой выбежал из дома, но тут вспомнил, что у него нет столько денег. Он вернулся и сказал Додостоевскому:

— Давай деньги.

— Не дам, — сказал Додостоевский.

Тогда Тоестълстой схватил одну большую книжку, чтобы на эту большую выкупить все свои маленькие. Он побежал по магазинам, которые можно было пересчитать по пальцам. В первом же он сдал свою большую книжку и побежал по остальным. Но ничего похожего там не было. Он купил одного Бальмонта, да и то не своего. И вдруг в последнем он нашел не то, что искал, а то, о чем сто лет мечтал. Это была "Книга маркизы", правда, это был не "Двойной венок", но все равно это было то, что надо. Он пересчитал деньги, и не хватило пятидесяти рублей. Тогда он отложил книжку на час и помчался домой. Он влетел и сказал Додостоевскому: "Дай хоть пятьдесят рублей". — "У меня нет денег", — ответил Додостоевский. "Что значит нет?" — возмутился Тоестълстой. Тут вышла Ирра и спокойно сказала: "Я тебе дам пятьдесят рублей". И он с ума сошел от радости. Тоестълстой вернулся с книжкой домой уже без всякой обиды. Он сел на раскладушку и стал рассматривать картинки. Он показал Ирре черно-белую гравюру и сказал: "Правда, очень красивая?" — "Правда", — согласилась Ирра. Гравюра и правда была красивая. "Вот это он с косичкой, а это она, — объяснял Тоестълстой, — а когда я раньше видел ее мельком, я думал наоборот, что это она с косичкой, а это он". И маркизки раскачали Ирру. "Грудь у женщины должна быть такой, чтобы уместаться в ладони порядочного мужчины". — "Давай проверим". Проверили. Грудь у Ирры была как раз такой, что уместалась в ладони Тоестълстого, следовательно он был порядочным мужчиной. Они закрыли дверь в кухню, хотя дверь в комнату и так была закрыта. Сегодня она все хотела не тяп-ляп, а как следует. Маркизка показывает попку, маркизка сидит с открытыми грудками, а парикмахер ее причесывает, маркизка дрожит себя на миниатюрном диванчике. Не обошлось и без истории. "Расскажи-ка мне историю про то..." Рассказал. "Теперь вот тут". — "Хорошо тут". — "А здесь не надо". — "Разве это у тебя не эрогенная зона?" И дальше начиналась зона. "Скорее же!" — сказала она. "Почему скорей?" Ну скорей, так скорей. Маркизки были глупенькими с грязными попками и ножками. "А здесь что?" — "А сюда не надо, это опасная зона". — "А здесь?" — "А эта зона отдыха, сюда всем можно". — "А это?" — "Газон". — "А это?" — "Забор". — "А это?" — "Коза". Газон, забор, коза, Сигизмунд, зоомагазин, сзади. "Ты хочешь сзади?" Он хотел, но уже не смог сдержаться. И

дальше за занавеской, за забором, за газоном, за зоо-магазином была зона, зона отдыха? опасная зона? эрогенная зона? где давно уже была зима. Вид на зимний пейзаж. На деревьях снег. На земле снег. На шубах мошь. На земле костер. "Он не разгорится, ветра нет". — "А ты подуй". — "Я-то подую". — "Вот и разгорелся". — "А теперь и ветер". — "Ты был вместо ветра, а теперь ветер вместо тебя". Ирра прошла по коридору с засаленными стенами, с замызганным полом. Она зашла в ванную, которая была вдрызг, и потом зашла в комнату. "Он был вместо маркиза, а я вместо маркизы, — сказал Додостоевский. На полу лежала книжка. Ирра спросила:

— Ты сейчас читал?

— Все-таки, — сказал Додостоевский, — Ветхий Завет больше про человека, то есть там говорится про то, как у нас; а Новый — больше про бога, там говорится про то, как у них, у подобных нашему богу.

Додостоевский сказал, что наш бог не единственный в своем роде, просто он один из тех, кому до нас есть дело. "И в Ветхом Завете, — сказал он, — нам дали понять, что мы не должны делать, а в Новом нам дали понять, чего они (такие же, как наш бог) не должны делать. Подумай сама, — сказал он, — ведь эта заповедь из Нового Завета совершенно из другой системы. Те старые заповеди, если человек постарается, то может соблюсти. Все-таки, если постараться, то можно и не украсть, и не убить, и любить родителей, и не трахаться с кем попало. Но даже если очень постараться, то все равно невозможно любить ближнего, как самого себя. Это недоступно. Это им, таким, как наш бог, не языческим, а именно таким, как наш, это им просто, а нам это невозможно. И через эту заповедь приоткрывается нам то, как все у них устроено". Ирра улыбнулась и сказала, что у Тоестыльстого вообще единственная заповедь: "Грудь женщины должна уместаться в ладони порядочного мужчины". И дальше уже за горизонтом была эрогенная зона, где все любили друг друга, как самого себя, и трахались через святой дух, не з н а я друг друга. Где росло дерево, с которого не есть и под которым, как кот ученый, сидел ящер, который подзуживал: "Съешь, съешь"; у которого были большие глаза. "А зачем тебе такие большие глаза?" — "Чтобы лучше видеть". — "А зачем тебе такие большие уши?" — "Чтобы лучше слышать". — "А зачем тебе такие большие зубы?" — "Чтобы съесть". И в этой зоне не ходили трамваи, автобусы и троллейбусы, там

не было длины и ширины, там не было веса и объема, там не было времени. "Ну давай сегодня будем вместе". — "У меня времени нет". — "У тебя времени нет, потому что время в принципе есть, а у меня время есть, потому что времени в принципе нет". Там был порядок и беспорядок, и это было число, там была трусость и храбрость, и это была мощь, там была сила и слабость, и это была форма. Там был месяц со своей звездой, там был Хронос со своей Лизой, и я там был, мед-пиво пил...

VII

Все зверюшки собрались в парке и попросили есть. Белочки любят орехи, синички любят сало, собачки любят кости. А может, они любят мясо, а людям проще думать, что они любят кости. Парк переходил в "Лесок" Кузмина. "А где, кстати, "Лесок", что-то я его давно не видела?" "Лесок" был большой редкостью, там в обнимочку ходили отроки и целовались в губы, там все время был апрель, и можно было ходить без шапки и без пальто, и можно было целоваться не только дома или в гостях, но даже на улице, даже в троллейбусе, можно было говорить без конца "я тебя люблю", и это принималось на веру. В том леске белочки прыгали на пальто, сверкали лужи, пересыхали губы. "Зачем ты кусаешь губы, у тебя же теперь кровь". — "Потому что я тебя люблю. Я никогда не целовался с тем, кто мне не нравится". — "А зачем? Ведь так много тех, которые нравятся". — "Почему ты так сказала?" — "Потому что я тебя люблю". В том леске было сколько хочешь солнца и сколько хочешь луны. Там все до одного были гуляки и подготовишки. Речки были разные, и одна из них была Черная речка. В катере, который не плыл, потому что стоял на берегу, было три человека. Они сидели под дождем и пили пиво. "Может, я люблю тебя, а тебе проще думать, что я люблю его". — "А может, я тоже тебя люблю, но мне проще думать, что я тебя не люблю". — "А я-то вообще знаю, что ты любишь его, но мне проще думать, что ты любишь меня". Речка двигалась на полной скорости, а катер стоял. Но проще было думать, что катер движется на полной скорости, а речка стоит.

— Лучше бы мы сели в поезд, который стоит, по крайней мере, там бы не было дождя.

Сели в поезд, который ехал. Лежишь и одновременно

едешь, пьешь и одновременно едешь. Ходишь и одновременно едешь.

— Какого черта пить пиво под дождем?

— Не пей.

— А речка-то и правда черная.

— Ночью все речки черные.

На другом берегу была телебашня, которой когда-то не было, гаражи, которых когда-то не было, и доходные дома, которые и тогда уже были.

— Не понимаю, зачем мы сюда приехали?

— А чтобы проверить: действительно ли на берегу пустынных волн? — Действительно. — Действительно ли деревья, мелкий снег и Замок Инженерный? — Действительно. — Действительно ли в романтическом Летнем саду? — Действительно. Действительно было только это, а все остальное было недействительно: мент с микрофончиком: "Нечего тут распивать", летний туалет в Летнем саду — и зимний — в Зимнем дворце, "Вертер" Массне вместо четвертого действия "Риголетто".

— Подсунули Массне. При чем тут Массне?

— А при чем тут гаражи с телебашней?

— А что, луны тут у вас не бывает?

— Бывает. А при чем тут луна?

Тоестылстой остался сидеть в катере, который стоял на месте, Ирра с Додостоевским сели в поезд, который стоял на месте, и тем не менее приехали на нем домой. Додостоевский вошел в кухню, и кухня тоже стала первым планом. И луна была видна не только из комнаты, как всегда, но даже из кухни. Дождь поменялся на снег (снег видно, а дождь слышно), снег припорошил раскладушку, и белье стало как бы не грязным, а чистым. "Нехорошо, что мы удрали от Т.е.". — "Хорошо". Первый план включал в себя и грязную посуду: "Я могу помыть посуду". — "Некогда, некогда", и барахло и виски, которые еще утром входили во второй план: "Налить тебе виски?" — "Спасибо, меня и так вырвет". Все было любимо, все входило в первый план. "Как же мы раньше жили! Ты мне ранил сердце". — "А как же люди живут: вино и домино". — "Вино и до минор".

— Теперь и кухня будет первым планом, и мы будем жить вдвоем и в комнате и в кухне?

— Нет.

— Значит, когда вернется Тоестылстой, я буду жить с ним во втором плане — в кухне, а с тобой в первом плане — в комнате?

- Да.
- И луна будет только в комнате?
- Да.
- А потом мы все по очереди умрем.
- Да.

Додостоевский убедился, что под платьем у Ирры то-то и то-то, под сапогами то-то и то-то, под чулками то-то и то-то. Она убедилась в том, что у него под рубашкой то-то и то-то.

— Ты меня любишь? — спросила Ирра.

— Тебе лучше это не знать.

— А я тебя люблю?

— Мне лучше это не знать.

Он дотронулся до нее рукой, и как-то глупо зачирикали воробьи, и глупее всех зачирикала Елизавета Воробей. Додостоевский обмакнул.

— Все-таки он мне муж, — сказала Ирра, — я пойду к нему.

— Иди, — сказал он.

— А я что говорю, покойницу звали Лизавета, а тут написано: Абмакни.

Местность у Страстного монастыря действительно наклонили, и все бочки, ведра, доски скатились в угол к забору, остальное пространство оказалось расчищенным. Ирра с Тоестылстым расположилась не на расчищенном пространстве, а в углу забора на досках. Ирра сказала, что когда они здесь были в прошлый раз, она подумала о том, что если эту местность наклонить, уцелеет монастырь и забор, а остальное все покатится и застрянет в углу у забора. "Теперь посмотри, — сказала она, — так и есть". Тоестылстой сказал, что в этом нет ничего удивительного, что материализуются и герои и пейзажи, что бывает попадаетеся на улице или в обществе герой какого-нибудь писателя, который к тому же занимается творчеством своего писателя, и тогда думаешь: "Ничего себе, материализовался". Ирра отправляла в рот один за другим бананы и запивала их вином. "Кстати, — сказала она, — когда я зашла по дороге в туалет, там девицы, видимо проститутки самого низкого пошиба, вот только не знаю, как они называются на арго, но точно как-то называются, продавали бананы. Ты знаешь, что такое бананы на арго?" — "И что же это такое?" Она со знанием дела сказала, что это заколка для волос, а он со знанием дела сказал, что это год-мише.

Выпили за то, что Тоестылстой сказал. А сказал он,

что прошел почти год, стало быть, круг, и потихоньку надо закругляться. Ирра спросила, как он понимает эту фразу: "...сначала земля была безвидной и пустой". Тоестыльстой ответил, что никак не понимает. Она сказала: "Есть такое выражение: видный мужчина и полная женщина. А если наоборот, то занюханный мужчина, а женщина — кожа да кости. Значит, земля была занюханная и как бы кожа да кости. И вообще, — сказала Ирра, — ничего хорошего на земле не было, пока бог сам не трахнул девушку".

— Но он же не сам ее трахнул, — сказал Тоестыльстой, — это же через дух.

— Это уж как он умел.

— А знаешь, почему Адам с Евой не знали, что они голые? — спросила опять Ирра.

— Ну, почему?

— Потому что они тоже трахались через святой дух, как потом бог с Марией, то есть не з н а я друг друга. А этот пресловутый плод с древа познания дал им возможность п о з н а т ь друг друга в буквальном смысле, и им стало стыдно. И потом уже бог дал людям возможность з н а т ь (то есть иметь) друг друга. И только еще раз он это сделал с Марией сам, как тогда, так, как раньше это делали все.

— Да кто это тебе сказал? — улыбнулся Тоестыльстой.

— И еще одну вещь я тебе хотела сказать.

— Какую вещь? — насторожился он.

— Дело в том, что я с тобой ни разу не спала.

— Как это? — опешил он.

— Но, может быть, разочек, — поправилась она.

— Не понял?

— Дело в том, что когда мы с тобой э т о делаем, это происходит не со мной и с тобой. У меня перед глазами мелькают какие-то странные картинки, театр, кино, совершенно другие люди, и все это происходит с ними, а со мной ни разу. И это бывает так весело, что от этого бывает так грустно.

Тоестыльстой отшвырнул допитую бутылку.

— Пошли, — сказал он.

Они пошли и пришли. Ирра сварила кофе.

— Хороший? — спросила.

— У тебя получается то более крепкий, то менее крепкий.

— А сейчас?

— А сейчас более или менее.

Она села на раскладушку и совершенно не давала себя трогать. "Тут не трогай, это не надо, это я сама". Это

напоминало ему историю из ее детства, которую она как-то рассказывала. Что она выходила во двор с игрушками и звала всех ребят играть вместе с ней, и когда все собирались, то начиналось: "Это не трогай, это не надо, это я сама". Тоестылстой отпустил Ирру: "Тогда зачем я тебе, если ты все равно это делаешь сама". Она торопилась, потому что Додостоевский должен был прийти вот-вот, но пока получалось не вот-не вот.

Тоестылстой надулся кофе и стал качать права. Ирра рассердилась и сказала: "Ты мне никто и я тебе никто, а тот, кто мне "кто", тому я никто, а тому, кому я "кто", тот мне никто". И тут пришел тот, кто был ей "кто". Додостоевский поставил на стол бутылку и сказал, что в магазине связался с одним хроником. Тот лез без очереди и объяснял, почему ему надо без очереди, что, мол, пока он троил, его очередь прошла, а теперь ему надо. Вокруг сказали, что всем надо, но он сказал, что ему нужнее. Додостоевский пустил его без очереди, и хроник так сильно его полюбил, что покосился на бутылку Додостоевского и предложил на пару, но Додостоевский дал ему понять, что в этой бутылке его части нет.

В этой бутылке как раз было три части. Ирра от своей очень быстро опьянела и сказала, что Тоестылстой вор. Она сказала, что Тоестылстой ей сознался, что украл в магазине книжки и считает, что это хорошо. Он украл Георгия Иванова и Гумилева и считает, что это хорошо, потому что раз он ценитель, то они должны быть у него, а не у какого-нибудь спекулянта. Она сказала, что Додостоевский убил ежа и считает, что это хорошо, потому что ежиный бульон деликатес. Она сказала, что она живет с убийцей и с вором. Она сказала Тоестылстой: "Зачем ты украл этот "Костер", раз все равно в нем нет про жирафа", и Тоестылстой сказал, что про жирафа в "Романтических цветах", и она сказала: "Раз все равно там нет про крысу", и он сказал, что это тоже в "Романтических цветах", и в следующий раз он украдет "Романтические цветы". Он сказал, что будет красть, и ему все равно, даже если его посадят в тюрьму, потому что она его все равно не любит. Ирра сказала, что он растратил все их деньги, и за триста рублей купил "Книгу маркизы", а ей не дает двести рублей на Библию. И Тоестылстой сказал: "Да дрянь твоя Библия, а это подлинные гравюры Сомова". Ирра сказала, что в этих гравюрах одна пошлость, но охудожествленная, она сказала, что в начале века пошлость умели охудожест-

вовлечь (на этом слове запнулась), а в конце века не умеют. Додостоевский сказал Тоестыльстому: "Неужели ты правда считаешь, что Библия дрянь?" — "Дрянь, конечно", — сказал Тоестыльстой. "Но ты про Иова читал?" — спросил Додостоевский. "А ты про волшебную лампу Алладдина в переводе доктора Мардрюса читал?" — спросил его Тоестыльстой. "Нет, не читал". — "Ну и я не читал". — "Ну расскажи в двух словах про своего Алладдина", — сказал Додостоевский. И Тоестыльстой рассказал. "Ну а теперь ты расскажи про своего Иова". "Пожалуйста, — сказал Додостоевский, — если в двух словах, то жил он сначала отлично и бога очень любил. Но ведь знаешь, бог дал и бог взял. И бог у него взял. И стал этот Иов качать права и стал его посылать, и хотел с богом тет-а-тет поговорить. А к нему пришли три мужика и говорят ему: "Да брось ты, Иов, есть люди и хуже тебя живут". Но он все качал и качал, и бог к нему снизошел и так по-хорошему сказал: "Куда ты лезешь, мне так некогда". Ну, правда, ведь тут и солнце, и дождь, и звери, а он со своими болячками. Тогда он понял и заткнулся. Ведь человек, чуть что ему не так, он сразу права качать. И знаешь, кто только прав не качал?" — "Ну кто?" — "Сыночек его. Он только, как дети говорят "ой, мамочка, или ой, папочка", сказал: "Ой, папочка, боже мой". Вот, ты Кузмина украл — это тебе нужнее, я ежа убил — это мне нужнее, а он сына своего нам отдал — это ему нужнее". "Ну и что, — сказал Тоестыльстой, — все равно я ни одну гравюру Сомова не променяю на твою Библию. И одно стихотворение Георгия Иванова про Библию я люблю больше, чем Библию". Он раскрыл книжку, которую украл, и прочитал.

— Так, это же не про Библию, — сказал Додостоевский.
— Так, это и хорошо, — сказал Тоестыльстой.

Наступила ночь, и сила притяжения земли стала сильнее и захотелось поспать, но сначала захотелось чего-нибудь погрызть. "У нас есть что-нибудь погрызть?" — "Ничего нет". — "И яблочка нет?" — "Нет". — "И морковки нет?" — "Нет". Ирра пожелала Тоестыльстому спокойной ночи, и он ей пожелал: "Ты каждый вечер надеваешь свой б... поясочек и идешь к нему спать. Спокойной ночи". Ирра не легла с Тоестыльстым, а легла с Додостоевским, а Додостоевский с кем лег? "Ты меня любишь?" — спросила Ирра. "Я никогда этого не говорил", — ответил он. Она сказала, что ей страшно делать э т о с ним. Она взяла зажигалку и стала щелкать,

но бензин кончился, фитилек вспыхивал, но огня не было. Она, как первобытная женщина, добывала огонь, но это было ей слабо. "Дай сюда", — сказал он.

Он стал делать э т о сам с собой на ее глазах, а она стала делать э т о сама с собой на его глазах, и опять сказала, что ей страшно. И он взвился: "А почему э т о должно быть не страшно, если все остальное страшно!" И тогда она стала просить, чтобы он сказал ей, что-нибудь страшное, и он сказал ей: "Ласточка моя".

Видимость в комнате становилась все хуже и хуже, и то, что не шевелилось, перестало быть видимым. "Знаешь, почему море видно даже в темноте? Потому что оно шевелится". Ирра шевелилась и была видна, Додостоевский не шевелился и не был виден. Все равно было прекрасно. Доносились гудки поездов и машин, эти звуки не были простым шумом, они были организованы, и хотя они не напоминали никакие музыкальные инструменты, они были больше, чем музыка, потому что эти звуки не старались напомнить инструменты, но инструменты старались напомнить их. И луна тут как тут. Она была одна, а двух других лун не было, потому что они еще раньше упали и разбились, потому что эти были для понта, а эта луна была для порядка. Но Додостоевский не сказал "как раз луна", потому что спал. Он щелкал и свистел во сне и человека не напоминал. Он мешал спать. Ирра встала и пошла на кухню. "Ты что?" — спросил Тоестыльстой. "Ничего", — ответила она и села на стул. Она допила то, что было в чашке. "Ложись, — сказал он, — не мерзни". Она легла к нему под одеяло и стала греть руки у него на груди. "Тебе неприятно?" — спросила она. "Почему неприятно?" — "Они же холодные". — "Но это же ты обнимаешь", — ответил он. Ей было совершенно нечего делать, и она стала засыпать. "Погоди", — сказал он. "Что?" — "Может быть один раз?" — "Нет", — сказала она, — сейчас не надо". — "А если я тебе за это дам бананов?" — "Откуда у тебя бананы? — удивилась Ирра. — Мы же их все съели". — "У меня еще остались в сумке". — "Покажи". Тоестыльстой встал и принес ей связку бананов. "Хорошо, — сказала она, — только быстро". — "Быстрее не бывает". Она съела все бананы. "Ты знаешь, кто я?" — спросила Ирра. Он подумал, что она скажет что-нибудь страшное и не откликнулся. Страшнее не бывает. Она сказала, что когда она с ним, то она любая женщина, то есть в принципе женщина, а он любой мужчина, то есть

в принципе мужчина, а с Додостоевским она — именно она, а он — именно он. Тоестыльстой сел на раскладушку и включил свет. "Ты что?" — спросила Ирра. "Ничего", — ответил он. Он оделся и ушел из дома. Она выключила свет и легла на раскладушку. Но через несколько минут Тоестыльстой вернулся. Ирра включила свет и привстала. Она увидела, что он в разных ботинках. "Вот, — сказал он, — просто люди бы подумали: бедный-бедный молодой человек, такой молодой..."

— Т.ешечка, — сказала Ирра, — как же я тебя люблю, как же я тебя люблю!

Додостоевский услышал шум и пришел в кухню.

— Что с ней? — спросил он Тоестыльстого. — Почему она плачет?

— Какие же мы все бедненькие, — сказала Ирра. — Какие же мы все бедненькие.

Она на самом деле плакала, и было трудно разобрать, что она хочет и что она не хочет. Кажется, она хотела быть маленькой и не хотела быть большой.

— Что ты с ней сделал? — спросил Додостоевский Тоестыльстого.

— То же самое, что и ты, — ответил он.

Ирра успокоилась, когда уже стало светать.

— Хорошо, что сейчас лето, — сказала она, — потому что если бы была зима, то была бы еще ночь.

Она оделась и вышла на улицу.

Улица была самым отвлеченным понятием, потому что сама себя не напоминала. Улица была построена по принципу: правое-левое, белое-черное, хорошо-плохо. Сначала Ирра пошла по стороне правое-белое-хорошо. На этой стороне все было хорошо, это была солнечная сторона, люди отбрасывали тени. Потом она перешла на другую сторону улицы: левое-черное-плохо. Там и правда было плохо, люди не отбрасывали тени, конечно, это были черти. Но все вместе было красивым. Машины двигались, как частицы положительно и отрицательно заряженные. Среди этих частиц появлялись и очаровательные частицы, которые были на самом деле невидимы, но раздражали все остальные. Всем этим правым-левым управлял мент. Он был для порядка, он был как бы луной или солнцем, "светилом", но созданным не богом, а людьми. Если бог на третий /второй?/ день создал солнце и луну для порядка, то люди на день грядущий создали мента для порядка. Мент был человеческим производением. Он был в стеклянной будке, и это

было красиво. Можно было посмотреть с луны на будку, и наверняка она была бы похожа на луну. Можно было бы из будки посмотреть на луну, и наверняка она была бы похожа на будку. По красоте будка и луна не уступали друг другу. Вокруг луны, как вокруг мента, двигались светящиеся и несветящиеся частицы: положительно и отрицательно заряженные автомобили. Наш мент был в форменной куртке и штанах, у него была палочка и он не двигался, божий мент двигался без палочки и без форменной одежды и останавливался иногда напротив нашего мента. Вот это было самым красивым. Светящаяся ментовая будка и луна были красотой напротив красоты.

Ирра, однако, приехала не куда-нибудь, а к маме. Она легла на диван и позвонила Додостоевскому. Телефон не ответил. Она решила, что Додостоевский ушел, а Тоестльстой тем более ушел. И тут она стала думать только о том, о чем минуту назад и не думала: "Только бы приехал". Додостоевский как нарочно не приезжал. Она набрала его номер сто раз подряд. Наконец он подошел к телефону, и она положила трубку: "Ну приехал, дальше что?" И дальше был лес, в который они так и не поехали. Вместо дорожного знака "переход" была свастика, которая вблизи все же оказалась дорожным знаком, просто под "свастику" были расположены ручки и ножки. Номер автомобиля был с грузинским акцентом "мнэ". Дорогу перешла кошка с желтым листиком на хвосте — и это была осень, у забора мужики распивали подешевевшую водку, и это была ретро-водка. Два молодых человека сидели за столом в компании трех "девушек". На столе среди письменных принадлежностей затерялся сахар. Девушки никак не могли найти сахар: "Где же сахар, я вижу один дырокол, но я не вижу сахара". На столе было два дырокола. И один молодой человек сказал: "А я вижу двух дыроколов". Это не было орфографической ошибкой, и это даже не было тактической ошибкой, потому что шутка девушкам понравилась. Все-таки Ирра позвонила. Она у него спросила, и он ей ответил. Он у нее ничего не спрашивал, и ей нечего было отвечать, поэтому она замолчала. "Не понимаю, что молчать", — сказал Додостоевский. Тогда она в двух словах рассказала ему книжку одного писателя, и он ей сказал, что это не того писателя, и она сказала: "Ну и наплевать мне на этого писателя"; и он сказал, что она его перепутала с другим писателем, и она

сказала, что ей наплевать и на того, с кем она его перепутала. "Ну я не знаю, — сказал он, — приезжай, если хочешь". Она хотела приехать так, чтобы он не подумал, что она хотела приехать, а если бы и подумал, то чтобы не догадался, что она его любит, а если бы и догадался, то чтобы не поверил в это, а если бы поверил, то чтобы не испугался. Но он подумал, догадался, поверил и испугался. Ирра сказала, что когда он говорит ей "я тебя боюсь", она не понимает, что это обозначает и думает, что это все равно, что "я тебя люблю". "Нет, — сказал Додостоевский, — это не так". Он сказал, что действительно существует как бы "перефраз". "Например, я говорю тебе: "Ни в коем случае не приезжай", а это обозначает "я хочу тебя видеть, но это ничего не значит". Ирра спросила: "Что же обозначает "я не знаю, приезжай, если хочешь"?" И он сказал, что фраза полностью себе соответствует и ничего такого не обозначает. И ей стало ясно, что она обозначает именно такое. "Такое" началось тут же, как она приехала. Он пил кофе и водку. Она отдала водку в его пользу и взяла кофе в свою пользу. Но и того и другого было мало. Зато "ее" было ему много, и "его" было ей много. "Ну что ты приехала, что тебе нейдет?" Что она могла на это сказать? День, вечер, ночь, утро прокрутили по-быстрому, всего часа за три. Скорей лечь, скорей встать, скорей прийти, скорей уйти. Кровать стояла на небольшом возвышении. Остальная мебель располагалась немного ниже. И к кровати надо было идти как бы в гору. Ирра помогала идти Додостоевскому, она поддерживала его под руку. Но все равно ему было тяжело идти. Как бы стены, то есть на самом деле, конечно, кусты не могли ничего скрыть. Народу на улице собралось много. Додостоевский лег, Ирра встала рядом. "Дай воды", — сказал он. Она сходила на кухню и вернулась, она поднесла ему к губам соленый огурец. "Убери, — сказал он, — я тебе не Христос". Она сказала: "Это закусить". Он отвернулся. Ирра наколола огурец на вилку и поднесла опять к его губам. Он опять отвернулся и сказал: "Дай воды". Она не убирала огурец, она сказала: "Это водку закусить". Он закусил.

- Мне не хорошо, — сказал он.
- Почему нехорошо? — беспокоилась Ирра.
- Не знаю, нехорошо, и все.
- Я принесу тебе воды, — сказала она.
- Сядь, раньше надо было воды.

Ирра села, но сидела беспокойно и все время вертелась.
— Поезжай-ка лучше, — сказал он, — а я побуду один.
— Нет, — сказала она, — я буду за тобой ухаживать.
— Поезжай ты, ради бога, — прикрикнул он, — сейчас придет Тоестыльстой, он будет ухаживать.

— Тогда я пойду за бананами, — сказала она.
И она пошла за бананами. Она встала в очередь. Очередь была разговорчивая: "Нет, мне не этих, мне надо, чтобы до четверга долежали, а эти до четверга сгниют". — "Те тоже до четверга сгниют". — "А мне, наоборот, этих, мне не надо до четверга, мне сейчас съесть". Она съела их уже в кино, в которое попала случайно, потому что слышала, что "во" фильм, но оказалось дрянй фильм.

Тоестыльстой пришел очень скоро. Он прошел прямо на кухню. Он спросил из кухни: "А что, она здесь была?" — "Она здесь была, а что?" — сказал Додостоевский. Тоестыльстой вышел из кухни и направился в туалет. Додостоевский увидел его и перекрыл ему путь. Тоестыльстой двигался медленно, у него был переполнен мочевой пузырь и желудок. Когда они столкнулись, Додостоевский хотел взять его за горло, но Тоестыльстой мгновенно свернулся в клубок. У него был очень сильный спинной мускул, и Додостоевский никак не мог его разжать. Тогда он покати́л клубок к ванной, и пока набирал воду, держал Тоестыльстого ногой. Когда ванна наполнилась, он кинул в нее Тоестыльстого, и тот мгновенно развернулся в воде. Додостоевский опасался, что вот-вот придет Ирра, и хотел поскорее закончить. Тоестыльстой не мог свернуться в клубок в воде, и Додостоевскому было уже легче справиться с ним. Когда он сжал ему горло, Тоестыльстой сказал: "Дурак". Додостоевский не отпускал его, и Тоестыльстой сказал: "Пусти, дурак" — и Додостоевский сказал: "Сам дурак!" — и Тоестыльстой ничего не ответил, и Додостоевский увидел, что уже удушил его. Он разделял его очень осторожно, потому что боялся задеть мочевой пузырь. Ему не хотелось, чтобы по внутренностям разлилась моча, он как раз успел до Ирриного прихода все убрать и завернуть в целлофановый пакет. Он поставил кастрюлю на огонь, когда Ирра позвонила в дверь. Она прошла в кухню, сняла крышку с кастрюли и спросила: "А это кто такой?" Сначала ей показалось, что это цыпленок, но когда она взгляделась получше, то поняла, кто это такой. "Зачем ты ежа-то убил?" — сказала она. "Съедем", — ответил он. "Что, разве есть нечего, макаронов полно". — "Это де-

ликатес", — сказал Додостоевский. Они съели бульон, он был очень вкусный, но Додостоевскому казалось, что он все-таки отдает мочей, хотя этого быть, конечно, не могло.

Додостоевский открыл книжку и стал смотреть, что же он все-таки натворил. Он нашел то место, которое нужно.

— Читай вслух, — сказала Ирра.

— Значит, так, — сказал он. — "Всякий скот, у которого раздвоенные копыта и на копытах глубокий разрез и который жует жвачку, ешьте." Были у него раздвоенные копыта?

— Откуда я знаю.

— Вроде были, — сказал он, — а жвачку он разве жевал? — опять усомнился Додостоевский.

— Дальше читай, — сказала Ирра.

— Дальше: "только тех не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас".

— При чем тут верблюд? — сказала она.

— Я уже подряд читаю, — ответил он, — а теперь что-то про тушканчика.

Тушканчика, оказывается, тоже не есть, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, ничего себе, и зайца не есть. Ты ела когда-нибудь зайца?

— Кажется, ела с брусникой в детстве.

— Так, значит и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и свиньи, ну про свинью я, допустим, знал, так ее же все едят, так и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, не чиста она для вас.

— Погоди, — сказала Ирра, — это же и есть про ежа: копыта раздвоены, ты сказал, наверное, и разрез глубокий, а жвачку не жует, так это ничего, это все равно, что ты убил свинью, — Ирра взяла у него книжку и закрыла, — правда, он был такой хорошенький.

— Я тебе сказал, что убил ежа? — спросил Додостоевский. И тут же ответил: — Но я убил не одного ежа. Я убил двух ежей. Я убил того, который спал в сетке и которого я разбудил, чтобы убить, и еще одного, который шел в туалет и у которого был переполнен мочевой пузырь. Я убил его, и когда разделявал, то беспокоился только о

том, чтобы не проткнуть пузырь и не разлить по внутренностям мочу, потому что тогда бы бульон отдавал мочей. Если меня где-нибудь когда-нибудь будут убивать, то я попросил бы только об одном, чтобы не убивали меня с полным мочевым пузырем, чтобы дали сначала отлить, а потом бы убили.

— Додо, — сказала Ирра, — а где Т.е.?

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Просто его уже долго нет.

— Откуда я знаю, — сказал он.

Ирра с Додостоевским выскочили из метро и побежали, потому что боялись опоздать. И вдруг люди, выходившие следом, побежали за ними. К ним стали присоединяться другие люди из переходов, подворотен и соседских улиц. Рассуждать было некогда и они побежали от толпы со всех ног. Свернули в переулок, но увидели, что навстречу им тоже бежит толпа. "Окружены", — подумал Додостоевский. Тогда они остановились. Он крепко взял Ирру за руку. Люди с обеих сторон стали приближаться к ним, а слева и справа были дома. "В подъезд", — сначала мелькнуло у него. Толпа надвигалась. "Бесполезно", — рассудил он. Из окон уже выглядывали любопытные. Сначала лица их были равнодушны, но когда они увидели, с какой ненавистью смотрит вся толпа на стоящих рядом мужчину и женщину, они тоже стали смотреть на них зло, и кто-то даже плюнул в них из окна. "Сейчас нас убьют", — подумала Ирра. Из толпы их послали матом, кто-то сделал неприличный жест, рядом загоготали. И вот в тот миг, когда один дотронулся до нее, Додостоевский подкинул ее вверх, и они вместе взлетели. Это было так просто, и это была единственная возможность спастись от толпы — улететь. В последний раз она кого-то лягнула из толпы ногой, и у нее соскочила туфелька. "Ну ты, ей-богу, как Золушка", — рассердился он. Из окон к ним потянулись руки, и он в сердцах вытащил одного долговязого из окна и бросил его вниз. Тот рухнул, как мешок, и тогда люди в окнах присмирели. "За что они нас выгнали с земли?" — сказала Ирра. "За все, — ответил Додостоевский, — не разговаривай". Она притихла и сильнее прижалась к нему. Становилось холодно, как будто наступила зима, и они случайно оказались на улице. И наступила усталость. Хотелось посидеть и попить чайку, но некуда было прислониться и негде было вскипятить воду. "Хотя бы покурить". Было сыро, и сигареты плохо курились,

и было много дыма. Они выдыхали свои маленькие облака, которые присоединялись к ничьим, к большим. Потом стало темно, и внизу засветились окна, и стали как бы звезды, а сверху засветились звезды, и стали как бы окна, и сигаретные огоньки тоже стали как бы звезды между звезд тех и тех. Люди стали маленькими и хорошенькими. "Мы наказаны?" — спросила Ирра. "Старый да малый", — ответил он. "А дальше куда?" — "Сюда". И дальше уже было то, что напоминало детский сад: грибки, песочницы, лестницы, горки. По территории ходили дети, которые остались на ночь. "За территорию не выходить". И когда как снег на голову они рухнули в песочницу, детишки прибежали и сделали, что нужно: два кулича.

Романы

Равновесие света
дневных и ночных
звезд

Шёпот шума

Равновесие света дневных и ночных звезд

I

Ей хотелось известно что, известно с кем. Но "известно кто" не звонил, зато звонил неизвестно кто. На улице тоже было неизвестно что. Вчера обещали, и шло то, что обещали. Снега не было ни в одном глазу, зато был разбойник в Аравии, был разбойник Варавии, был разбойник Вараввии, был разбойник Варавва. И остальные люди убивали приспособленных, чтобы самим как-то приспособиться (птицы и звери с самого начала приспособлены, люди с самого начала не приспособлены). Звери рождаются в шапке и в пальто, в домике с ванной и туалетом, а человек всю жизнь добывает себе шапку и пальто и домик с ванной и туалетом.

Для любви нужно было соблюсти триединство: единство места, времени и действия — так рекомендовал Буало в своей ложноклассицистической поэтике. И он был не прав. Времени все равно никогда нет. Места тоже нет ("Моя квартира для этого дела не приспособлена", ветка приспособлена! но мы не птицы). Остается единство действия ("Если ты сегодня сможешь, то я, может быть, смогу". — "Может быть или точно?" — "Может быть, точно". — "Если может быть, тогда лучше завтра". — "А завтра я, может быть, не смогу"). Пренебречь единством места, пренебречь единством времени, соблюсти хотя бы одно единство действия, так по крайней мере учил Аристотель в своей "Поэтике". И он был прав. Ну, соблюли. Ну, вышло. "А теперь мне уже пора". — "И мне уже пора". — "Как же грустно". — "А ты своими словами помолись". — "Отче наш... дорогой папа, будь здоров как на небе, так и на земле. Дай хлебушка поесть и прости, если что не так. И не ломай кайф, а все остальное лажа. Аминь".

Подъехала скорая помощь и, оказав помощь, уехала. Она набралась духу и набрала номер... кончилась пластинка. Поставила сначала и добрала номер. Нужно было

сказать как ни в чем не бывало. А что, интересно, обозначает "ни в чем не бывало"? На стене висела табличка — перечеркнутая сигарета, что обозначало "не курить". Все равно курили. Упадок эмблематических картин: квадратный лабиринтик в круте — алфаветический символ Четырех Святынь, выходящий из рта Создателя; обрубок на двух ножках — мужской туалет. Она сказала: "Привет". Он сказал: "Ну, привет". Она сказала: "как дела?" Он сказал: "Ничего, а твой?" — И после того, как тетка в метро обложила: "Это антисанитарно носить собачью шапку, это нарушение закона, вы поощряете спекулянтов, собака агонизировала сорок минут!" — "Что же мне теперь отпустить ее на волю, беги, шапка, тья-тья, знаю, шапка по кличке Дружок", — она сказала: "Тоже ничего".

Орфографически он был армянином, его фамилия была Отматфеян. "Неужели земля вертится вокруг солнца?" — "Со страшной силой!" Земля вертелась вокруг солнца, а люди на этот счет изобрели романтизм, реализм, сентиментализм, хотя это был совсем другой "изм" — механизм. А что в этом плохого? Любовь — тоже своего рода "изм", но она же и любовь, потому что можно сравнить: с тобой вот так! А с другим так себе. А может, у солнца с землей тоже любовь, тоже не простой механизм, не пригрело ведь оно Юпитер или какую-нибудь там Венеру. И ощутили движение в буквальном смысле. Двигалась луна вокруг земли, земля вокруг солнца, солнце двигалось само по себе. Ничего не получалось. У моря тоже ничего не получалось, волн не было, потому что полнолуния тоже не было — полнолуние стимул. "Ты меня любишь?" — "Жутко!" Он заревел, она заревела, хлопнувшись рядом с ним. Мамочка! Не выгоняй из дома Сану, если она порвет пальтишко и колготки и получит двойку. Не плачь сама и не вытирай лицо полотенцем для ног, потому что у тебя рано умерла своя мамочка, Саночкина бабушка. Это хорошо, что всех Саночек не могут выгнать из дома, что бы они ни натворили, потому что они маленькие, как звездочки, детки. А взрослые чем хуже? Но их могут. И взрослых Александр выставляют из дома с книжками, картинками, драконами, фаянсами. Мамочка! А если взрослая Александра такая же Саночка и не виновата, что выросла? И ночные гулянки — это двойки и рваное пальтишко.

"Ну что же ты со мной делаешь? То, что ты со мной делаешь, об этом мама знает?" — "Знает, знает". — "И

царь Николай знает? и царица Александра знает?" — "Все, все знают". — "И с ними ты это же делаешь? — "Садись на меня и айда!". Она скакала на нем так весело, как "мороз и солнце день чудесный". Они ускакали далеко, там даже не было одежды, зато додумывалась заветная мысль Карлейля об одежде: что если сапоги и пальтишко — это человечья одежда, человек это сам придумал, на это способен, то моря, небо и горы — это божья одежда, это бог сам придумал, он на это способен. Отматфеян надел на себя куст. Сана надела чулки для разврата. Божьи чулки были прозрачные — ручейки. Пересохли божьи, порвались человечьи. Прикрыл чресла листиком, листик — первые трупы.

Рядом валялась околевавшая пальма, но ее некому было воспеть, потому что ее поэт умер. А так бы поэт написал, вот, мол, пальма, ты оторвалась от своих родных сестер, и тебя занесло в далекий холодный край, и теперь ты одна лежишь на чужбине. Вместо того умершего поэта был другой, живой, но он был хуже. За его текстом чувствовался подтекст того. Нет, не какой-нибудь там второй смысл, а в буквальном смысле под текст, то есть то, что находится под текстом, а под этим новым текстом находился совершенно определенный текст того умершего поэта. Он заплакал. Хотел выпить сразу, но пропустил, но потом все-таки пропустил. Больше всего было жалко пальму, потом поэта, который ее больше никогда не опишет, потом голую Сану, не прикрытую березкой. — "Дай я повешусь", — сказал. — "Погоди, еще вот это, а потом вместе повесимся". Всплывали афоризмы: для того чтобы тебе жить с ней вместе, тебе нужно жить от нее отдельно; встретить новый год с новой женой, а старый новый год со старой женой. Она уже два часа тряслась на нем, и никуда не уехали: та же пальма, тот же шкаф... Она свалилась. Сначала ему показалось, что она убилась насмерть, потому что ведь она свалилась с него, стало быть, туда, где ничего не было. Он посмотрел вниз: она шевелилась, была жива. У нее были руки в крови. Она поплевала на пальцы и отерла. Он поцеловал ее ручку. "Глупый", — сказала, — это не опасно". Когда "это не опасно", то не опасно, скоро будет "не опасно", не надо, когда "опасно". Теперь ей хотелось играть. Сказала, что это похоже на пушку: вот ствол, вот колесики. Ему не хотелось играть, он попал прямо в лицо и умер. Он точно знал, что умер, и точно знал, что слышит ее голос: "Прямо в лицо, ну ты даешь!"

На стенках висели фотографии поэтов и их возлюбленных. Возлюбленным было хорошо: их глаза, рот, имя не столько принадлежали им самим, сколько были предметом любви их поэтов. Ясно, что Юрочка Юркун не простое имя, а золотое, то есть поэтическое, и принадлежит своему поэту, так же как пальма принадлежит своему. И получалось, что у каждого творца есть свой ребенок, которого творец сильнее всего любит. И только последнего творца никто не любит как своего ребенка. Саночкина мама любит Саночку как своего ребенка, Саночкина бабушка, которая умерла, любит Саночкину маму как своего ребенка, бог любит своего сына как своего ребенка, а кто же любит бога как своего ребенка? И получалось, что бога больше всего жалко, потому что его никто не любит как своего ребенка; не то, что у него умерли папа с мамой, а то что у него их в принципе не было. А устроено все было очень красиво: если это небо, так на нем обязательно луна со звездами, если море, то волны с птицами, если лес, то там своё, горы — там своё, река — своё. Как же это бог всё красиво придумал и деткам отдал. А детки все растащили: гора — моя, море — мое, лес — мой. Только небо и было общим — луна со звездами, потому что слабо было захватить луну-то со звездами, но уже были перспективы: возить на грузовиках железо с луны. И то, что было создано им, ну тем, кого никто не может любить как своего ребенка, было несомненно. Это было красиво и надежно: горы не падают, моря не выливаются, реки — тоже. А все, созданное человеком, тоже было, конечно, занятно: машинки: пароходики, самолеты, но ясно, что человек ободрал творца. "Ну, кончай капать!" — с этими словами Отматфеян проснулся и понял, что обратился со сне к капели. И капель ему не ответила.

Соблюдались пропорции, подмеченные еще Обри Бердслеем: чем меньше, тем больше. Чем на земле хуже, тем на том свете лучше. Тише едешь — дальше будешь.

Сана спала так, как ее научили в детском саду: положив руки под щеку. Потом чистить зубы (тоже научили), потом завтракать. Довольно бессмысленная процедура: чистить зубы, когда нечем позавтракать.

Солнце скрылось за тучку. Тучкой Отматфеяна было одеяло, и он под ним скрылся. Сразу потемнело. И может, кто-нибудь сказал: "Давай позвоним Отматфеяну", а кто-нибудь сказал: "Да ну его". Сана проснулась внезапно. Тоже накрылась тучкой. Совсем стемнело. И он

спросил: "Будем вставать или ты хочешь?" — "Уж было два раза". — "Что за арифметика, и почему два? — "Один раз в уме".

Большая Медведица была сейчас скрыта, и многим чуть-чуть, Тютчеву в том числе, было жалко, что на дневном небе не видны звезды. А если бы были видны, то грусть от созерцания этих звезд была бы равна грусти *post coitum*. Трудно было убедить Сану, что именно такое сочетание звезд называется Большой Медведицей. "Почему это их нужно считать Большой Медведицей, а в том углу разве не такие же? Я тебе эту Большую Медведицу найду в любом месте". Не было под рукой и водопада, модели, воплощающей Святую Троицу. Вот водопад целиком, и он знаменует бога, да и есть бог-отец; вот сила падения воды, она знаменует бога-сына, да и есть бог-сын; вот сама вода и знаменует святой дух, да и есть она святой дух. Была другая модель — человек. Не такая наглядная, поэтому не такая совершенная. Отматфеян обнял модель, которая была сутью бога и знаменовала его. Сана ответила ему на объятие, которое само по себе было сладким. Он положил ей руку на грудь, под ней билось сердце, которое было сутью бога-сына и знаменовало его. Сердце посылало во все уголки тела кровь, которая была сутью святого духа и знаменовала его.

— Ты правда меня любишь? — спросил он.

— Я тебя правда сильно люблю.

— Скажи тогда, что это значит?

— Я хочу, чтобы ты был девочкой, а я была лисенком, или чтобы я была девочкой, а ты был лисенком. Но только так, чтобы кто-то из нас обязательно был девочкой, а кто-то лисенком. Но больше всего я хочу, чтобы я была сначала лисенком, а ты был девочкой.

— Я плохой любовник, я слаб для этого дела. Сердце не выдержит. Его хватит, чтобы обслужить ноги, руки, голову, а на этот орган его не хватит... поцелуй меня, — попросил он, — а лучше, знаешь что, поцелуй.

Она приподнялась, у него было личико сморщенное и дряблое, она прикоснулась и поцеловала так, как целуют в щеку.

— Господи, — сказал он, — ну поцелуй же!

Тогда она расправила личико и присосалась к "потусторонней" не в смысле "неземной". Она до половины всунула язык в его салиттер и возила им, может, час, времени хватило, чтобы изъездить у всей дягилевской

труппы. Это было не игольное ушко, через которое сто раз пролезал и верблюд, и ублюдок, благо они одного корня — "блуд". Он стал с ней делать то же самое. И никак не могли наговориться про то-то и то-то, про то, как здесь и как здесь, про то, что здесь больше, чем там, а там совсем другое и не такое, как тогда, потому что в тот раз было немножко больно, что люблю сто раз, только пусть будет сию же минуту, тогда пусть наоборот, потому что так не получится.

Природа распространялась выше, ниже и дальше, как и в тот раз, как и в следующий раз, не лучше, не зеленее, с птичками точно такими же, как воробьи, но только крашеными ("Кто это, интересно, красит воробьев?"), с облаками, с новыми ветками метро, с самой новой, построенной по канонам ортодоксального православия: от Нагорной до Чертаново. "Ты встаешь?" — "Да. А ты что, хочешь есть?" — "Да". — "Если сметаны нет, то можно салат с разбавителем" — "Ты пишешь на полсолнечном масле? В магазинах разбавителя нет?" — "Да".

На земле все было устроено так грустно из-за повреждения плоти: на земле была природа, каламбур, то что присутствовало при родах, в отличие от небесного салиттера земля была, как бы немножко "того", как бы "тронута". Небесные деревья, моря и горы, состоявшие из света и тени, были с самого начала здоровые, а земные с самого начала были бедненькие. Они были красивые и замечательные, но они были грустные. "Земное поле" было повреждено, это и был Люцифер. И в том месте (когда он свалил с престола) образовалась земля, не самосветлый шар, грязь, которая переходила в эстетическую категорию, когда была возлюблена кем-нибудь с такой силой, так сладко и яростно была любима, что больше не могла оставаться грязью, а становилась самой золотой и красивой чистотой. Когда Сана засовывала язык в салиттер Отматфеяна, Сана и Отматфеян становились частью небесного салиттера, и в этом месте земная поврежденная плоть, прекрасная и ужасная, была прекрасней салиттера, который имеет только одно качество — прекрасное. Это получалось за счет ужасного качества, которое тоже становилось прекрасным, когда имело силы преодолеть ужасное. "Тронутая" земная плоть становилась вдвойне прекрасной.

Получалось, что люди с самого утра занимаются "глупостями". А чем же им еще заниматься, если у них

только один орган, которым они могут поймать кайф. С помощью "совершенного" зрения даже не видно звезд на дневном небе, с помощью совершенного слухового аппарата слышны, конечно, слышны... Но зато с помощью другого аппарата, заменяющего в определенный момент и уши, и глаза, и язык, слышно даже то, что не слышно, видно даже то, что не видно. Стоило бы человеку пораньше и получше развить зрение и слух, и тогда бы он видел глазами и не только звезды на дневном небе, и слышал бы ушами. А так он слышит и видит "глупостями", изучает литературу "глупостей", так называемую светскую, а Якоб Бёме якобы и не Бёме.

Виолетта пела про то, как она жутко любит Альфреда. Потом запел Альфред тоже про то, как он ее любит. — Выключи, — попросила Сана.

— Немного осталось, сейчас она уже умрет.

Из-за дождевых туч не видно было ни рая, ни ада, "Не рассчитывай на справедливость", — сказала. — "В смысле?" — "В смысле, что будешь в аду". — "Я и не рассчитываю вроде бы, там всё будет то же самое, только не непосредственно". — В смысле?" — "Ну вот, например, если представить, что человек живет и ведет дневник, в который подробно записывает все, что с ним происходит, то вот ту вечную жизнь можно сравнить не с самой жизнью, а с чтением этого дневника, ну, ты поняла?" — "У тебя получается, что литература нам дана как намек на загробную жизнь". — "А на земле вообще полно намеков на нее". — "Ну дождик-то будет идти снизу вверх".

Раз написано у античных писателей, что были боги, герои и люди, значит, так и было. Они были голые и красивые. Человек мог поправить свою жизнь, переспав с героем или с богиней. Потом ему сказали, что не надо так делать, что боги сами по себе, а люди сами по себе, и герои вымерли (как и змей-горынычи вымерли, один такой змей-горыныч искушал-искушал, а из-за него всех остальных превратили просто в змей). Потом человеку сказали, что "вааще-то" бог один и с ним нельзя глупостями заниматься, как с теми, с языческими. Человеку дали доспехи и мантии, чтобы он хорошенько прикрылся. А вот потом уже ему сказали, что бога "вааще" нет, и опять человека раздели. Ему стало холодно и стыдно. А ему стали говорить "ты". Кто же голому станет говорить "вы"? "Эй ты, подвинься, эй ты, поди сюда". Тогда он стал до потери сознания приставать к своему

соседу: "Ты кто такой?" — "А ты кто такой?" — "А кто ты такой, чтобы я тебе сказал, кто я такой?" — "Ну, я, допустим, кто надо!" Только кому надо? Виолетта кашляла и не умирала. Она на самом деле кашляла. Из-за нее не слышно было, как поют птицы за окном, только видно было, что они разевают рты.

— Когда же она, наконец, умрет! — не выдержала Сана. Проигрыватель отключился, птицы прорезались, умерла.

Пора разбежаться. Утро.

— Девушка, вам не пора?

— А поди ты к черту!

— Больше никогда не будем.

— Это почему же?

— Рисунок очень меняется.

— Ты меня не любишь?

— Нет. Как можно утром кого-нибудь любить.

— А ночью?

— А ночью надо спать.

— Ты меня ненавидишь?

— Себя.

— Что же будем делать?

— Возвращайся к мужу, а я еще посплю.

Оделась.

— Может мне переспать с твоим дружкой и прекратим все это?

— Перестань, мне правда нехорошо.

— Пить меньше надо.

Кошка убежала с заезжим офицером и понесла от него, котят утопил, конечно, офицер.

— Телефон, — сказала, — не будешь подходить?

Междугородный.

— Телефон! Да, мам, да, еще сплю. Как ты себя чувствуешь? Я? Хорошо. Нет, не скучаю. Все, мам, нормально. Здоров. Хорошо. Тепло. Получил. Напишу. Неделю назад получил. Конечно, напишу. Ладно, мам, схожу. Ты тоже. Я тебя тоже.

— Дай мне трусы!

— Где?

— В шкафу.

— В шкафу грязные.

— Дай грязные.

Муравьев-Апостол. Муравьев был Муравьевым, апостол — апостолом. В натуральную величину человек был всегда только относительно самого себя. Во всех

остальных случаях он был в масштабе: вот тако-о-й или вот такусенький. Сана отваливала на такси, и Отматфея относительно нее был сейчас вот такусенький.

Дома был Аввакум. Открыл дверь. Он был в свитере и трусах. "Тебе что, холодно?" — "Жарко". — "Ты почему без штанов, тебе что, жарко?" — "Холодно". — "Дай что-нибудь поесть". "Может, тебе еще и выпить дать!"

До каких же пор будет грустно! до каких пор будет торчать из кустов алюминиевая ж... — с изнанки планетарий! Сколько еще болтаться между домом и домом, между гостями и гостями, между папой и мамой, между папой и папой, между непапой и непапой!

Было, когда меня не было, сколько раз, подолгу было, и когда это было, было хорошо или было все равно, но могло быть и чаще, или больше не хотелось, больше не было возможности, где же это было, с кем было, это было по-другому или было похоже, это было хуже, это было не так, а потом, когда уже это было у нас, тогда у вас это было, значит, это было параллельно, это было, потому что у нас что-то было не так, это было, потому что было, и это было чаще, чем у нас, это было столько же, это было так же, это было там же, а туда было, а когда было, было больно, ничего не было! Врешь, что ничего не было, и до этого и после было, значит, это было всегда.

Вползла кошка. Тоже встречать. Она пахла, как детская шубка. Облизала палец и удрала.

— Что ты злишься, может, я на вокзале была.

— А может и нет.

— Я билеты покупала.

— Купила?

— Нет, но вот нужно будет сегодня туда подъехать, для того чтобы завтра уже уехать, нужно купить заранее...

— Я не спал всю ночь.

— Я тоже.

— И с кем же ты не спала?

— Я же говорю, что была на вокзале.

— Это ты мне говоришь?

Этот город, из-за которого она ездила как бы на вокзал, хотелось послать, начиная с вокзала, а нет, так с тамбура: "СПИЧКИ И ОКУРКИ ... ПУ...КАТЬ В ПЕПЕЛЬНИЦУ". Человека, его заложившего, наложившего на болоте, хотелось пришить. Мало ли что тебе хотелось бы, он наложил, а ты живи. Ну, запечатлели его профиль под хвостом у лошади на мосту, мало! Он его, видите ли, заложил. Жить в болоте с искусственным

отоплением, с электричеством, с мраморными кочками, с гранитной трясинкой. Дворцы, речки, кваканье лягушек в памятнике девятнадцатого века, охраняется государством, и в каждом доме кто-то жил, кто-то сосал. Неделями город был серым, может, раз в месяц и высывалась луна со звездами, мол, все нормально, я тут. Разливухи были понатыканы на проспектах, параллельных главному проспекту, туалеты соответственно на улицах, перпендикулярных этим проспектам, упражнялся в геометрии кумир на косточках. А что ты злишься? выпей лучше сто грамм коньяку. Ах, как красив летом Летний сад, но красив он так же и зимой, когда играет в ящик, а не прекрасен ли он осенью! Сейчас меня вырвет. "Засунь два пальца, не можешь? Дай я тебе засуну". — "Тебе лишь бы засунуть".

Поезд для мистики отправляется в полночь. Как жалко, что мы не живем в рыцарские времена: весь состав перебили бы рыцари, предпочитающие соколиную охоту собачьей, а так трястись восемь часов. "Трясись шесть". — "Шесть дороже".

Но ведь есть и Лисий нос в отличие от современного болота. С заложенным носом двигаться по заливу среди капустных листьев. Почему так много? так это же со всего залива. Прибывает. И оставлять под кустиком пустую пивную бутылку. Можно сесть на табуретку, брошенную кем-то для чего-то. Можно набросить поверх пальто подстилку, которую не употребили. Можно смотреть на складки, лежащие на полотнах шестнадцатого века, лежащие в двадцатом веке сами по себе. Нельзя. Немного холодно. Невольно напрашиваются параллели. Было два короля: один Солнце, другой просто Петр. Оба заложили на болоте. Первый — дворец, второй — тоже красивый. Все, что заложил первый, провалилось в болото вместе с реальной головой его внука. А на болоте второго был произведен некий косметический ремонт, включая вымахавшие блочные и кирпичные, в кирпичном лучше, в блочном дальше; конечно же, и вывески "блюдаизияц", и трамваи, и моторы. Катера горят, вода в речках стоит. Не надо сидеть так долго на табуретке, можно простудиться. А вот и закат. Какой же он молодец, этот закат. Ходит ненужный паровозик-кукушка. Ку-ку — поднимет бетонную плиту и оттащит ее на десять метров. Постоит. Опять ку-ку — и отъезжает на прежнее место. Работает.

Но ведь приятно сойти с поезда, заехать к подружке,

лечь на чистое белье и спать день, два, три, неделю, через неделю уже на грязном. "И все это будет на самое деле?" — "Все было, есть и будет на самом-самом деле".

Ехать не хотелось. В середине дня напал туман. Вещи собирали в буквальном смысле в тумане. "Это мы возьмем, а это мы уже взяли, а это наденем на себя". — "Так мы поедем дневным или ночным?"

По сидячему вагону можно было судить, что еще день. Орало радио. Сзади сидели тетка и работяга.

— Можно сделать немного потише?

— И так тихо.

Тетка была жесткой и вареной. Работяга под радио тут же заснул. Это были тоже люди, их было жалко, но легче было удавиться, чем любить их как самого себя. Они были нормальные. "Я тоже нормальная". — "Но ты же не слушаешь радио". — "Слушаю, когда выключаю". — "А они слушают, когда включают". Это, кажется, Попов изобрел радио? Теперь мы имеем возможность через каждые десять минут слушать, какая погода в столице. Звучит легкая музыка, от которой не легче. Радио, конечно, изобрели в мирных целях.

— Слушайте, уменьшите звук!

— Дома будете командовать, весь вагон слушает.

— Нет, молодой человек прав (реплика вымершей гувернантки), нам тоже мешает.

— А остальным не мешает, не хотите — не слушайте (канцелярский работник).

— А я вырублю его, старая сука!

Давай к оружию! Чемоданы на баррикады. Заходим с тыла (со стороны трех богатырей, репродукция картины Васнецова). Тетку убрали первой, теперь она была жесткой, вареной и дохлой. Вооружайся кто чем может, все в ход: бутылки и перочинные ножи. "Вскрой мужика!" — "Чем, приятель?" — "Консервным ножом". — "Режь провод!" — "Нечем мне". — "Облей спиртом из фляги (которую делают за поллитра спирта). Поджигай!" Горим. Готово. Трупы в сортир. Сколько их? Пять рыл. У кого есть живые цветы, возложите их на могилу погибших. Туалет в вагоне закрыт, пользуйтесь туалетом в вагоне-ресторане.

Смеркается. Человек все уменьшается в размерах и живет соответственно своему весу. Бог его создал подобным себе и дал ему бессмертие. Человек не понял. Он уменьшил его и дал ему жизни шестьсот лет и росту десять метров, человек не понял. Он дал ему жизни

семьдесят лет в среднем и росту метр семьдесят в среднем. Можно уменьшить и до сантиметра и жизнь сократить соответственно. Сравнять с землей. Мерзость в святых местах и запустение. Едем в сидячке в вечную жизнь. Скорей бы приехать, а кто нас там ждет, интересно знать? По крайней мере, когда мы родились, нас ждали мама и папа. А там кто? Чего мы так торопимся? Полночь. Не перейти ли в СВ, то есть С + Аввакумом + Вакуумом.

Вагон наполовину пустой, переполнен тамбур, где окурки "пукать". Два нижних места. За окном много огней. Только что выиграла войну. Любить как самого себя и употреблять как самого себя. Положим, жизнь произошла из семени. Она была сосредоточена в канавах, просто разлита по земле и кустам. Это были люди и звери в жидком виде. Они развивались. "Куда их выкинуть?" — "Выкини за окно, пусть погибнут". Жизнь сосредоточилась на дне. Ее было слишком много, ее было не жалко выкинуть за окно. — "Не хочешь от меня ребеночка?" — "Пойди проветрись".

Рыжий гнусавый проводник, исповедовавший иудаизм, тоже хотел. Он не верил в Христа. Он верил только в то, что поезд отправится во столько-то и прибудет во столько-то и на этом можно подзаработать сколько-то, Харон. Он жил соответственно своему вкусу. Он скоро умрет. У него дохлый член, им можно только подтирать сопли.

Ночь как ночь, и очевидно, что все было светом и тенью, и все будет светом и тенью, и только временно находится в фальшивых отношениях: деревья к железу, поезда к грузовику, мужчины к женщине. Аввакум постоял-постоял у окошка, да и забрел не в то купе. Он расположился как у себя дома. Под простыней кто-то спал. Он приоткрыл простынь и не узнал Сану, потому что это была не Сана. Это была тоже красавица, но она спала; разумеется, это была спящая красавица. Она не спала, как у Пушкина, в хрустальном гробу, она спала на нижней полке, но это дела не меняло. Аввакум отогнал стаи туч. Разбудить поцелуем? Не поцеловал, потому что все равно бы не разбудил, потому что был не тем. А того не было уже целую вечность. Подстрижена под мальчика, лежит на штампованном белье. Черти ходят в туалет, на некоторых военная форма. Имя им — легион. Спящая красавица была сделана из сна и красоты в отличие от человека, который был сделан из жиз-

ни и смерти: она не говорит глупости, потому что в принципе не говорит, следовательно, и голос ее не может быть неприятным; у нее закрыты глаза, и взгляд ее не может быть неприятным; гримаски ее тоже не могут быть неприятными, потому что лицо ее не шелохнется. Все, что от человека, не может испортить ее.

Вокзал, как и договорились, в тумане. Ничего такого дешовое еще не ходит — раннее утро. Вот и приехали. Есть хлеб и два яйца. Можно съесть. На горизонте маячат финны, напоминают финскую колбасу. Колбасы нет.

— Пойдем прямо?

— Можно и прямо.

Пробуждаются пьяные, стряхивают последние обороты, идут прямо. Конфисковали поместья, предоставив любому возможность поработать на овощной базе. Лев Толстой был бы первым энтузиастом. Ни прямо ничего хорошего, ни налево ничего хорошего, ни направо ничего хорошего, уже пришли. На одном яйце и хлебе дождались, когда что-нибудь зашевелится. Самой ранней пташкой оказался троллейбус. Там мощно толкались, видимо, были с утра не на одном хлебе и яйце. Предстояло снять квартиру: лучше всего отдельную и в центре, тихую и чистую, удобную и недорогую, короче, лучше всего, чтобы она была здоровой и богатой, чем бедной и больной. Сана осталась с вещами на скамейке, Аввакум пошел рыскать. В зоне ходили мужики и подбирали по двадцать копеек: "Сколько я уже здесь живу и ни разу не видел, как разводят мосты". — "Сегодня увидишь, только сначала пойдем в магазин". Мужики пошли в магазин посмотреть, как разводят мосты. Аввакум подошел сзади, обвешанный пивными бутылками.

— Ты что, во-о-о!

— Это же чешское.

— Да куда мы его денем?

— Да выпьем.

Место было вполне комфортабельное: напротив туалета, много воробьев "чирик-чирик", они все о червонцах, стаканы были с собой, правда, приходилось делать поправку, учитывая уровень горнизонта — в одном все время было чуть меньше.

Аввакум культивировал щетину третьего дня, что ему, впрочем, шло. После третьей бутылки он стал наглядно объяснять на бутылках их новое местожительство. "Вот так идет улица, — он ровно выстроил

пустые бутылки, — потом поворот, там я как раз купил на улице, потом сквер (его он обозначил ногой), потом опять поворот и там дом” (на его плане он был выражен еще полной сеткой с бутылками).

— Отдельная? — спросила Сана.

— Двухкомнатная. Во второй комнате старик со старушкой. А когда они будут жить у дочери, мы будем жить одни.

— А когда они будут жить у дочери?

Подошедшему мужику они сказали, что времени час, что бутылки можно взять, что нет, не нужны.

Было грустно, как в сарае, в котором было грустно у моря, где на берегу материализовалось счастье в виде камушков с дырочкой насквозь. Камушков было так много, потому что людей было мало: люди зимой работают, а летом отдыхают, а те, кто не работают, отдыхают и зимой, и летом то есть те, кто воруют и не сидят в тюрьме, называются работают, а те, кто сидят, просто воруют). Море было захлавлено холмами.

В сарай их привел парнишка-повар, с которым они не знали как расплатиться, но он уладил этот вопрос сам, украв у них банку шпрот. Содержимое холмов составляли средневековые кости и античные обломки, можно и наоборот: средневековые обломки и античные кости.

Мраморная колонна, просматривающийся отовсюду общественный туалет, средневековый храм; ночью у храма горел фонарь, ветер гонял лампочку, скрипели доски забора. Нужно было затаиться в сарае и переждать, пока менты сделают обход. Повар сказал, что свет в сарае зажигать нельзя, потому что засекут. С собой был кипятильник, в сарае была розетка, можно было вскипятить чай. Вода не торопилась вскипать, а они торопились выпить, выпили просто горячую воду. От холода и горячей воды тут же захотелось писать. Вышли, пописали, замерзли, легли каждый на свою скамейку. Было жутко холодно. Прижались друг к другу шубами — холодно. Сделали из одной шубы матрас, из другой одеяло, на минуту стало красиво: тени деревьев закрывались в тени оконных рам, получались серии гравюр в духе Милиоти, а не просто каляки-маляки. Потом опять стало холодно, холод отбил всякий интерес к Милиоти. Хотелось без конца пить горячую воду, а потом писать.

Сетка опустела, залупил дождь. Тетка с пальцем в гипсе, бабки у подъезда, отличающиеся от проституток

у подъезда только галошами и платками. Император, обвешанный рулонами туалетной бумаги вместо лавровых венков. Маша со своим мужем Иосифом Иаковичем и с новорожденным ребенком, над которым стоит новорожденная звезда, берут такси и оформляют визу, чтобы ехать в Египет. В ясельках избивают детишек. Все одни и те же люди, которые не могут разрешить одну и ту же пропорцию, потому что все хотят одного и того же: чтобы на одного человека приходилось как можно больше квадратных метров, а на один квадратный метр как можно меньше людей.

— Пошли, — сказал Аввакум.

— Пошли.

Какая мерзость. Общественные туалеты на улице и в подъезде, помойки на улице и в подъезде, которые грамотно оформлены, конечно, гением, составившим подробное описание мусора: объедки и открытки, газеты и очистки, окурки и девочкины трусы.

— Ты сам у меня своровал трусы!

— Какие?

— Какие купил. А потом спрятал в книжном шкафу, я видела.

— Глупости.

Чистенькой, подаренной подшивке "Описание мусора" Аввакум придал завершенность, убив ею несколько мух и оставив на обложке отпечатки их внутренностей, и для окончательной завершенности перепачкав в побелке. "Это же подарок концептуалиста!" — возмутилась она тогда. — "Так я только для большей концептуальности".

Погода называлась "из Петербурга в Москву": снежинки, групповушки облаков, сногшибательный ветер. Слияние стихов и прозы, как слияние города и деревни. "Но этого не должно быть!" Свое непосредственное возмущение Аввакум подкрепил сложным рассуждением и даже цитатами из Поля Валери, касающимися поэзии и прозы. Правда, он никак не мог дословно вспомнить одно его изречение, именно о разделении поэзии и прозы; разгорячившись, он передал смысл этого изречения английской поговоркой: "Мухи отдельно, котлеты отдельно".

Скульптурообразно сидит мужик. Если его раздеть, он будет в точности роденовский Бальзак.

— Неприятно за того Бальзака: стоит там голый и мокнет.

— А из чего он там мокнет?

— Из бронзы.

Девочки обсуждают, кто в чем будет:

— Ты в чем будешь?

— А ты в чем будешь?

— А что будешь-то?

— Водку пить.

— Так бы и спрашивала, в чем будешь водку пить.

Чья-то красивая жена вышла на улицу, чтобы унизиться, а потом послать. Вот и допер смысл песенки про шарик, что мышка бежала, яичко хвостиком смахнула, оно упало и разбилось. Старик плачет-плачет, старуха плачет-плачет, девочка плачет, замужняя женщина плачет, а шарик вернулся, а он голубой, гомосек, теперь летает в садике у Большого театра или в Катькином садике. Но молитва — это факт литературы или нет? Нет, только да или нет!

Их "дом" состоял из Дома культуры и просто дома. Дом культуры занимал два нижних этажа, остальные четыре занимал дом.

Комната была похуже тамбура, где окурки "пукать". Вместо огнетушителя фотографии на стенах, грязненькие занавесочки, какие-то половички, розовые обои. Старуха сразу же сказала все, что нельзя делать за неслыханную цену. Проводник берет за место на полу столько же, сколько за СВ. "Почему так дорого?" — "За спальный вагон". — "Но место так дорого?" — "За спальный вагон". — "Но место ведь на полу". — "На полу в спальном вагоне". Харон. А это — сводня, баба Яга. "Паспорта мне ваши не нужны, я и не спрашиваю их". Из ванной вышел старик. Он подошел к Яге, он стучал протезом прямо по мозгам. "Вот, просюся пустить, — доложила Яга. — не знаю, кто они". — "Это моя жена, — разнервничался вдруг Аввакумов, — я же вам показывал паспорт". — "Паспорта мне ваши не нужны, хотите живите, если нравится. За неделю вперед уплотите и живите себе". Аввакум отдал старухе полтинник, и они остались с Саной в комнате. "Влипли мы", — сказала она.

"Старик со старушкой" урыли их за час, потому что получалось, что можно ходить только в туалет, да и то нельзя спускать, а надо сливать из ковшичка. "Что это, удобрение, что ли?"

— Ну чай-то можно? — робко спросила Сана Аввакума.

— На кухне нельзя, но ведь у нас есть кипяtilьник, и мы будем чай потихоньку.

Они сидели на кровати и грызли по очереди яблоко. "Ты его обслюнявил, я его не буду". Вокруг были фотографии каких-то солдат, старух в платках, теток и детей. Инвалид стучал в коридоре протезом, несло кислятиной.

— Давай уйдем, — сказала Сана.

— Уже скоро ночь.

— Ну и что.

— Куда?

— Все равно, только не здесь.

— Ложись, мы же здесь будем только ночевать, а так будем уходить.

— Ну давай уйдем!

— У нас денег нет.

— А мы отнимем наши деньги и убежим.

— Будет то же самое.

— Но ведь правда это ужасно?

— Правда.

— Ты спишь?

— Сплю.

— Зачем мы сюда приехали?

— Ты захотела.

— А зачем я захотела?

— Не знаю. Ты ушла ночью и поехала на вокзал, чтобы купить билеты, чтобы уехать...

Харон, Яга, инвалид — имя им легион — такси, пиво — это и есть растянувшаяся до безобразия минута прощания с Отматфеяном. Вся безобразная сторона разлуки: "Девушка, вам не пора?" — "А поди ты к черту!" — материализовалась, воплотившись в сидячий вагон, в орущее радио, в сортир с покойниками. Можно ли так жутко друг друга обожать? Значит, нужно обожать и все, что материализовалось в виде разлуки, как-то: старика со старушкой, клопов, "ты спишь? кажется, здесь клопы". — "... — "что значит какие? меня укусил!", фотографии на стенах, Лисий нос или, как его, Носий лис, запах в туалете, все-все это дерьмо...

Между кроватями был проход, как в поезде, но не было тряски. Тряска была в поезде, на котором удирал Отматфеян под предлогом обмена опытом среди самодеятельных театров. Купе было на двоих, хотя лучше бы на троих, втроем было бы легче и со спектаклем и вообще. Сели друг против друга. "Другом" Отматфеяна был Чящяжышын. Он подсуетился: достал колбасу, хлеб,

бутылку вина и водку. Чяццяжышын резал, Отматфеян наливал. Они выпили, и Чяццяжышин сказал:

— Слушай, не хочешь заработать две с половиной тыщи?

— Не хочу, — Отматфеян вытащил изо рта прозрачную полиэтиленовую ленточку, — колбасу не почистили...

— Почему не хочешь?

— Сил нет.

— А ничего от тебя такого и не требуется. Ты только должен заплатить в сберегательную кассу десять рублей, послать их по тому адресу, который я тебе скажу, отдать мне квитанцию и найти еще двух человек, которые тоже заплатят по десять рублей и уже тебе отдадут квитанции.

— Я что-то про это слышал. Наливай.

— И все! — Чяццяжышын поднял свой стакан и бутылку.

— дальше ты запасаешься терпением и ждешь. А через полтора месяца получаешь две с половиной тыщи.

— Здорово придумано! — Отматфеян взял у него бутылку и сам налил. — На меня будут работать двести пятьдесят человек, скидываться по червонцу, только тогда две с половиной тыщи.

— Совершенно верно, сначала ты обеспечиваешь цепочку, потом цепочка обеспечивает тебя. Все честно!

— Погоди ты, где играют, в городе, в стране?

— Какая тебе разница, в городе, в стране, — Чяццяжышын даже перестал пить.

— Разница есть. Если в городе, детишек, старушек не считаем, играет, допустим, три миллиона, — Отматфеян отставил стакан, взял карандаш и кусок бумаги, — из трех миллионов выигрывает только каждый двухсот пятидесятый...

— Ну что за математика, все построено на честности.

— Здесь честность построена на математике: из двухсот пятидесяти честных выигрывает только один честный, а из трех миллионов честных выигрывает "Х" честных,

— Отматфеян увлеченно считал, — "Х" равен двенадцати тысячам счастливых.

— Ты посчитал?

— Вот, посмотри, — Отматфеян показал бумажку.

— Так это потрясающе, — просто затрясся Чяццяжышын, — двенадцать тысяч счастливых!

— И два миллиона с остальными тыщами несчастных дураков, — Отматфеян очистил и съел кусок колбасы. Чяццяжышын совсем не ел.

— Так ты не хочешь быть счастливецом или не хочешь остаться в дураках?

— Ты что, серьезно?

— Отвечай, я тебя спрашиваю! Ты почему ограничился городом? Игра должна охватить страну, земной шар!

— Да хоть вселенную, процент выигрыша постоянный — 0,4. — Отматфеян пододвинул Чящяжышыну бумажку, но тот и не смотрел.

— Отвечай, ты почему считаешь, что я вру? — он налил себе вина и хлопнул один.

— А тут еще теория относительности, — спокойно допивал свое Отматфеян, — кто-то заболел и не оплатил, кто-то родил и не оплатил.

— Это исключено! Твоя теория относительности возможна только при демократии, понял, а при диктатуре никакой относительности быть не может!

— Ты что орешь? — Отматфеян, наконец, посмотрел на него в упор: прозрачные волосики прилипли к щекам, щеки разрумянились, с усов капало красное вино.

— Ты понял, — орал Чящяжышын, — сказано, значит, надо заплатить и передать следующим двум, и они должны заплатить и предъявить квитанции!

— Да пошел ты, — ему стало то ли противно, то ли он писать захотел.

Сортир был заперт. Он подождал, никто не выходил. Он подергал, никто не ответил.

— Есть кто-нибудь?

Ему никто не ответил. Он дернул сильно. Открыл — там писали трупы. То есть там были трупы. Они торчали во все стороны, как цветы из ночного горшка. Отматфеян поднапрягся и пошел вон оттуда в другой конец коридора. По пути он завернул в купе. Чящяжышын спал уже под простыней. Бутылки были убраны. Он поправил ему простынь на лице, но под простыней был не он, там была девушка, она спала. Он закрыл дверь в купе и сел на койку. Девушка была подстрижена под мальчика, она ровно дышала. Он погладил по лицу. Не шелохнулась. Он стащил с нее простынь. На ней были трусы и лифчик телесного цвета. Это его смутило. Как купальник. Как-то было тесно на полке. Он уперся коленкой о полку. Отматфеян протрезвел. Ему больше не хотелось, никакого кайфа. Красавица спала! Чящяжышын распространяет индульгенции в один червонец, миллионы орут с квитанциями в руках, счастливики проматывают две с половиной тыщи, поезд трясется за

тыщи км от дома, Сана где-то с кем-то (с мужем?).

Он вернулся к себе в купе. Чяцзяжышын не спал. Он допивал.

— Послушай, — сказал Отматфеян, — что бы ты сделал, если бы очутился вдвоем со спящей красавицей? — Мимо промазал.

Утром без туалета, без чая вымелись из вагона, отдав проводнику на чай. На улице было хорошо, и Чяцзяжышын ласково поинтересовался:

— Куда пойдем?

— Устраиваться.

— Ты договорился?

— Звонил.

— И договорился?

— Дозвонился.

— Понятно, на банкетке будем спать.

Обоим хотелось одного и того же — поправить здоровье. Самым доступным был кефир. Зашли в молочный магазин, но и доступного не было. Было все равно, что про них плохо думают, что им для поправки здоровья. Зато во втором магазине, когда покупали кефир, они сами про всех плохо думали, что им тоже для поправки здоровья. Чтобы окончательно поправить здоровье, поехали к морю. Станцию свою, от которой ближе всего, проехали, вышли на следующей и поэтому пришлось через лес.

Море было в кустах. Немного выпуклое по сравнению с землей, но по сравнению с небом, конечно, нет. Оно было под градусом (?), над ним поднимался пар, значит, оно было теплее воздуха и пустое, недоступное в том смысле, что по нему нельзя было пройти. И кромка воды, собственно, там, где море начиналось, граница притягивала жутко, по непреодолимости она была выше Китайской стены. Конечно, можно было перешагнуть и окунуться, но в том-то и дело, что окунуться было нельзя. Плавали щепки и резинки, плавали листья и матрасы, губернаторы и фрейлины, Пушкин, Тютчев и прочая, и прочая. Последняя четверть была на исходе, близилось новолуние со своими кустами, дохлыми следами на снегу, со всем гардеробом. А черт хорошо владеет стихосложением, сечет в силлаботонике, стишки любит писать. Читать не любит. А черт, он кто такой? Военный, что ли, или таксист?

— Погуляли? — спросил Чяцзяжышын.

— Давай до мыса.

Воздух кусался. Вода, поднимающаяся в виде пара, запросто преодолевала Китайскую стену, но до кустов не доходила, нечего ей там было делать, там были свои батареи воздуха. Шла дожде?- снего?- пролитная война между берегом и воздухом с одной стороны, между паром и морем с другой. Отматфеян и Чяцзяжышын не были целью противников, их нельзя было ни убить, ни ранить, в этом смысле они были бессмертны. До трофеев противников — дождя или снега — было еще далеко. Сражение для людей называлось "хорошей погодкой".

— Пошли обратно.

— А сколько сейчас? — спросил Отматфеян.

— Пора уже.

Птицы совсем не пели. И почти не летали. Точки в небе, конечно, можно было принять за птиц, но птиц нельзя было принять за точки. А ветер был. Он раскачивал деревья, воздух и воду. Он был силой, остальное было цветом. Серое на сером, черное на черном, белое на белом. Кое-какие лужи были под стеклом; в беспорядочном порядке там лежали: крестик, лист, бумажка, палка; лист, бумажка, крестик, палка. Хотя две-три витрины все-таки были разрушены, и вот там-то капустный лист с презервативом. Ни в кустах, ни на берегу совсем не было признаков неба, которое было тенью моря, кроме тени, которая была морем неба, так теней не было. Чяцзяжышын и Отматфеян не отбрасывали тени, и тени не отбрасывали Чяцзяжышына и Отматфеяна. Ни деревья, ни кусты тоже не. Хотя было светло. Но свет — это не признак света, а тень — это признак света. И было холодно. А холод — это признак того, что пора.

— Ехать пора, — сказал Чяцзяжышын.

— А сколько сейчас?

— А столько, что будем не на банкетке спать, как ты говоришь, а на улице, я думаю.

— Светло еще.

— Тебе светло, а мне холодно.

— Сейчас поедem.

Ветер, он же сила, шевелил кусты, и это был свой звук; ветер шевелил воду, и это был свой звук. Ветер шевелил воздух, и это был свой звук. Общий ветер состоял из всех этих слагаемых, к которым прибавлялся еще искусственный ветер, он же механическая сила или механический ветер, гораздо меньший по силе, в основном в двигателях электричек, реже — самолетов и машин.

- Море осталось в кустах. Дальше было неинтересно.
- мандарин хочешь?
 - Давай, — Отматфеян взял и положил в карман.
 - Почему не ешь?
 - Какой-то он несъедобный, зеленый.
 - Зачем тогда взял?
 - Потом съем.

Море переходило в: свеженасаженный лесок, заасфальтированную трясину. Чяцяжышын и Отматфеян стояли на кочке и ждали электричку. На каком-то пролете ее засосало. Долго не было. Другие курили, инвалид тыкал вокруг себя тростью, проверяя, не засосет ли рядом. Подошла — не засосало. Люди попрыгали с кочки в вагон. В тамбуре было грязно, лягушки тоже ехали. Выпрыгивали. Выпрыгивали на своих кочках, каждый под свой листик, под свой кустик — домой. Сосало под ложечкой. А чтобы совсем не засосало, оставалось пойти в столовую. На конечной кочке все вышли. В первой попавшейся столовой, как в стойле, ели стоя. Щи или солянку? картошку или макароны? Чяцяжышын явно брезговал (стоит по горло в трясине и брезгует есть жирной ложкой). Брезговал, но ел. Отматфеян не брезговал, но ел как-то плохо. Сначала солянка была слишком горячей, и он поэтому не ел, пропустил момент, она остыла, и он поэтому не ел. Чяцяжышын следом за солянкой навернул и картошку с котлетой.

— Солянку тоже в карман положишь? — спросил он Отматфеяна.

— Сейчас съем.

Отматфеян заел мандарином то, что съел, и, с трудом перескакивая с кочки на кочку, они добрались до Дома культуры.

Улица была искусно приподнята над уровнем моря. Расфасованная клюква росла в целлофановых пакетах, на веревках росли сушеные грибы, березки, полянки с табачными киосками — все это было. Под каждый кустик, под елку были проведены водопровод, канализация, телефон, свет. Все в подном порядке — жить можно.

В Доме культуры были кружки, в кружках были дети. Когда дети пойдут домой спать, Чяцяжышын и Отматфеян будут в кружке спать. Они нашли театральный кружок; там не было детей, была баба Яга, она же, если надо, уборщица, она же, если надо, сторож. Чяцяжышыну было больше всех надо. "А лучше, чем на банкетке в вестибюле". Кресло под голову. Если стулья сдвинуть,

то будет кровать, если в два ряда сдвинуть, двухпальная кровать, а если стулья со столом сдвинуть, двухэтажная кровать, а если столы сдвинуть... "А раскладушки нет?" На раскладушке она сама. Яга отдала им ключ, убралась кое-как и убралась. Все остальное они должны были сами. Отматфеян нашел под кустом электрический чайник, воткнул его и сел ждать.

На болоте темно. На освещенных кочках стояли люди и ждали автобус. Одноместные, двухместные, трехместные кусты, трехэтажные деревья, десятиэтажные деревья с лифтом — везде люди. Смотрят телевизор, готовят обед.

- Ну ты и дозвонился! Укрываться чем будем?
- Что? — переспросил Отматфеян.
- Надо было у старухи чего-нибудь попросить.
- Как ты думаешь, почему здесь так плотно?
- Что плотно? — не понял Чящяжышын.
- На одну кочку по двести человек.
- А, так место хорошее, все хотят.
- Чего хорошего? Климат отвратительный, море холодное, ветер, лягушки. Вот ты будешь на столе спать. А если бы мы куда-нибудь еще поехали, нам бы дали двухместный номер, ты бы на кровати спал.
- Чего там делать, где-нибудь еще? — обиделся Чящяжышын.

— Правильно, самые естественные для жизни места бросить и не жить там, а жить в самых неестественных, на болоте, например. Откуда чего убудет, там это же и прибудет. Сколько на место потрачено энергии, столько оно энергии и будет излучать. То есть оно становится не просто дырой, а энергетической дырой.

- Да, мы с тобой сюда заправиться приехали.
- Чящяжышын со знанием дела принялся устраивать себе постель: "Если ты себе второе кресло не возьмешь, то я себе его под ноги. А стулья тебе не нужны? Ты на одном сидишь". Он подбирал ветки, листья, все, что посуше, помягче.

- А сам на чем будешь, на голом столе спать?
- Что ты хочешь? — спросил Отматфеян.
- На чем ты спать будешь?
- Устраивайся, как тебе нравится, — ответил Отматфеян.

Чящяжышын полез в шкаф. Фартуки и юбки, мундир — на пуговицах плохо спать. От кота в сапогах — сапоги ("Тебе дать сапог под голову?"), снегурочкина шубка.

Костюмы были хорошие и плохие: то есть мягкие и теплые; жесткие и холодные.

— Там еще такое барахло есть? — спросил Отматфеян.

— Марля, — ответил Чящяжышын.

Всходила луна. Поблескивал гранит и мрамор, и асфальт — да, а побелка — нет.

— Чего там? — спросил Чящяжышын из "постели".

— Просто смотрю.

— И чего видишь?

Заасфальтированные каналы блестели, как на самом деле каналы. По ним катили на тачках, у кого были, а у кого не было — на автобусах. Шел дождь. Он был длиной по пять, по десять метров в каждой струе, а под фонарями меньше.

— Там луна, — сказал Отматфеян.

— Сокровище.

— А между прочим, она — сокровище.

— Что, луна? — сказал Чящяжышын.

— Давай, расширай свою кровать и спать ляжем.

Они укрылись с головой чем надо, чтобы сокровище не било в глаза.

— Все равно отношения возможны только половые. Из двух всегда кто-то мужчина, а кто-то женщина.

— Я, конечно, женщина, — пошутил Чящяжышын.

— Кроме шуток.

— Ну а если мужчина и женщина?

— Женщина не обязательно в своем качестве, она вполне может быть в качестве мужчины, а мужчина в качестве женщины. Руку убери!

— Куда я ее, тебе в штаны уберу?

За окном была бесполоая луна, и кончал бесполой дождь. Он мог кончить в любую секунду, но ему было приятно "не". Это Отматфеяну было приятно, что дождь "не", потому что он не спал, а Чящяжышынну было все равно, потому что он уже. Потом дождь кончил, звезды стали уже, а может, это уже из них шел дождь. Одновременно. Дождь был "он" для удобства людей, и звезда была "она" для их удобства, не своего, и солнце "оно" для ..., а там у них были свои отношения. Дождь менял свой пол на другой в другом языке, и солнце меняло свой пол в другом языке; луна, она же месяц, меняла пол в одном и том же языке. Переход пола. Язык являлся как бы материализацией перехода пола. Человеческие отношения выявляли пол, переход пола, и это проявлялось в языке. Но когда сам язык указывал на пол стихий, сил,

светил, их отношения вытекали из языка. Ветер гонял стаи туч. Звезда говорила со звездой. Русское гермафродитное солнце надолго засело за русским андрогинным морем.

- Было темно. Вставать не хотелось, но хотелось есть.
- Мы сегодня есть пойдем? — спросила Сана Аввакума.
 - А ты хочешь?
 - Мне хочется.

Они вышли от "старика со старушкой". Мимо сквера, мимо остановки, мимо магазина, мимо. Они шли в... "В" — было тепло и даже чисто. Столики стояли без. Официанта долго не было.

- Ты что будешь? — спросил Аввакум.

Они заказали себе обед и на десерт заказали ужин. Видимо, был рыбный день, и в проигрывателе гоняли "рыбу", на которую никто еще не написал стихов. Когда напишут, это что будет — мясо? Ни рыба, ни мясо. Надоело. Они вышли с животами, полными чем?

- Пошли к морю.
- Туда? — спросила Сана.
- Вниз, — сказал Аввакум.

Вышли не с той стороны моря, а с обратной. Они шли на шум. Но это был не шум моря. Речка впадала в море, море на линии горизонта впадало в небо, или небо на линии горизонта впадало в море, можно и так. На речке построили Гидру. Гидроэлектростанция шумела. Не построили ведь на линии горизонта гидру. Сколько бы тогда энергии вырабатывалось от впадения неба в море или моря в небо; эта гидра, может, и подавала бы электрический свет на звезды, на луну, еще куда? на солнце? Гидра на речке подавала электрический свет в табачные ларьки, под елки, под кусты — то есть в дома. Искусственный водопад был ужасно красивым. Он был по образу и подобию: как бассейн — озеро, как водохранилище — море, как трамплин — гора, как зоопарк — звери, как зеленые насаждения — лес, как человек — Он. Все языческие боги, ясно, что не боги, а люди с гипертрофированными человеческими качествами метались вокруг. Не запросто, но можно развить какое-нибудь одно человеческое качество до аномалии, и это будет языческий бог. Это будет бог силы, или бог ума, или бог хитрости, или бог мудрости, или... Они все вместе были вокруг, и все вместе они не составляли бога, потому что бог был не только человек. Обозначим его местоимением Он. Он включал в себя прочая и прочая: "оно" было

почти без волн и без птиц, но по "нему" шла лунная дорожка, по "ней" плыло несколько кораблей, над "ним" было "оно" все в звездах и с двумя хвостами от самолетов и без облаков, с луной, которая передвигалась по "нему", отбрасывая тень на "него", а "его" не было, "оно" уже зашло, "оно" будет завтра, хотя зимой "оно" встает поздно.

Петр, материализовавшийся в виде модернизированного болота-города, стоял. Он грозил шведам и финнам, головастикам и пиявкам, морю и речкам. Бог явил святую троицу в образе водопада, человек ободрал творца. Он с-копировал, с-онанировал водопад. Он построил гидру. Гидра-электростанция была моделью человека и знаменовала его. Вот гидра целиком, и знаменует она человека, да и есть она человек. Вот падающая вода, и знаменует она человеческую плоть, да и есть она плоть. Вот исходящий от силы падающей воды свет, и знаменует он человеческий дух, да и есть он дух — электрический свет.

Людей почти не было, потому что не было ни солнца, ни пива. Выполз один мужик, он шел навстречу и раскачивался, но не от ветра, а от пива, которое было, когда было солнце. Он поравнялся с Саной и Аввакумом и негромко сказал "Твою мать". Это не относилось ни к матери Саны, ни к матери Аввакума, ни к какой-нибудь будущей мамаше, это относилось только к той девушке, которую отметил бог, несмотря на то, что у нее был муж Иосиф Иакович. Мужик сказал это про божью мать, и его не поразило громом, потому что, может, сначала и было слово, и слово было все, но потом слово стало не все. Сначала было слово "море", и оно материализовалось в море, и слово "гора", и оно — в гору, и "дерево", и оно — в дерево, и "солнце", и оно — в солнце. Не предмет порождал слово, а слово порождало предмет. И предмет оказался больше слова. Море больше "моря", дерево больше "дерева". Словом можно было трахнуть, оно было духом, от него можно было зачать, а сейчас кто может зачать по телефону?

В деревянные формы заливали жидкий цемент, выращивали кубы и пирамиды. Все ново-и-новоиспеченные, они лежали на берегу. Это был искусственный рельеф вместо природных скал и камней. Некоторые кубы, может, прошлогодние, может, позапрошло- уже обросли мхом и имели естественный вид. Линия берега была аккуратно разложена на кубики неким кубистом,

но не Браком и не Пикассо, потому что это было не на картинке. Стая птиц летела так, что в перспективе казалась одной птицей. "Не споткнись", — сказал Аввакум. Сана споткнулась о тень. Ветер шевелил пустые пюпитры, похожие на пюпитры, они же тенты летом, ветер — это что такое? И даже то, что у человека называется сердцем и распространяет по всему телу дух, или силу, этот дух, или сила, называется ветром над морем, над асфальтом, домами, например, над парком, похожий на человеческий дух внутри. Но как называется сердце, которое его делает, неизвестно.

Ветер гнал домой. "Полегче нельзя?" — сказал Аввакум ветру, но кто же его послушал. Ветер дул в спину сильно. Попалась деревяшка и еще одна деревяшка — сиденье от стула. На ней нельзя было сидеть, но можно было написать картину. Сана подобрала. "Зачем?" — "Напишу". — "Куда денешь?" — "Повешу". — "Брось".

В комнате алкаша пусто. Нет ничего, что можно разбить, что разбить жалко. Все небоьющееся. Каждый предмет выдерживает падение, значит, находится в состоянии невесомости. Алкаш отталкивается от земли с той же силой, с какой земля отталкивается от него, невесомость — способ. Каждый предмет способен тут же заменить другой предмет — падаешь на стол, тогда стол — диван, ешь на диване, диван — стол, выходишь через окно, окно — дверь.

В антикварной комнате каждый предмет бьющийся, все жалко, негде ходить. Стул восемнадцатого века, на нем плохо сидеть, на нем в восемнадцатом веке хорошо было сидеть. Но он и не для сиденья. Из чайника нельзя пить, он тоже восемнадцатого века, треснул; люстра прошлого века, она плохо светит и совсем не греет; часы тоже прошлого, они не ходят, но других нет. Стул не для того, чтобы на нем сидеть, чайник не для того, чтобы из него пить, часы не для того, чтобы показывать время. И от предметов отходит душа, еще не отошла. Скорее, отходит сам предмет, и остается только название предмета, то есть слово, то есть дух. Стоит слово "стул", слово "чайник". Так же отойдет и море, как предмет, как стул, на котором сидят, и останется слово "море", и гора отойдет, как чайник, треснет; в конце будет слово, как и в начале было слово, и слово было все.

Бабкина комната не то что была бедная и грязная. Грязь, конечно, не переходила в эстетическую катего-

рию. Бедность была пороком. Ее так же не получалось любить, как не получалось любить ближнего как самого себя.

Ветер продувал насквозь. Сквозь человека, как сквозь куст; он был внутри и снаружи, был везде. Но в объеме своем куст и состоял из ветра и веток: ветки замыкали определенный объем ветра, и по природе своей ветер естественно входил в природу куста. Ветер неестественно входил в природу человека, там для него не было места, он там был лишним, там был свой ветер, который гонял кровь. А уличный ветер накладывался на внутренний ветер, и это не нравилось, было холодно.

Они дошли до Яги, была уже ночь. Зачем? Потому что они там жили. Позвонили — никого. Зачем кто-то на ночь глядя прется через весь город? А затем, что он там живет. Инвалид должен быть дома. Хочется спать. Почему не открывает? Никого. Аввакум ударил в дверь ногой. Никого нет. Он должен быть дома. "А может, он думал, что мы внутри, ушел, а мы снаружи. А может, он думал, что мы снаружи, нарочно ушел. А может, он внутри?" Аввакум еще раз ударил. Никого. На этот стук приоткрыла дверь соседка, которая хорошая, которая водит в баню чью-то девочку, когда ее мама болеет, а не наоборот плохая, которая водит в баню чью-то маму, когда ее девочка болеет. Соседка не стала орать. "Вам кого?" — "Извините нас, у нас нет ключа, а мы здесь снимаем". Сказала, что старик, наверное, к дочери поехал, а старуха внизу сторожит: "Это как спуститесь, так обойти с этой стороны дом, и вход как раз под этим подъездом".

Они спустились, обошли и нашли вход. Позвонили — никого. Стукнули — нет никого. "Дура, — сказал Аввакум, — сводня". — "Ты постучи", — сказала Сана. Он по башке стукнул дверь, и еще раз.

— Слышишь, стучат, — сказал Чяцяжышын.

— Не сюда.

— К нам стучат, во входную дверь.

Аввакум зачем-то позвонил условным звонком. Потом надавил на кнопку и держал так больше минуты, а потом еще больше.

— Слышишь?

— Теперь слышу, — сказал Отматфеян, — звонят.

— Пойти посмотреть, что ли?

— А куда старуха-то делась?

Чяцяжышын встал и пошел посмотреть. Как раз

Аввакум еще раз стукнул. Чяцяжышын открыл. Сана с Аввакумом увидели вместо старухи Чяцяжышына.

Он сказал им, что он не сторож, а старухи-сторожа нет; они сказали, что снимают у старухи, а ее дома нет. — Пойдите здесь, — сказал Чяцяжышын, — я сейчас приду.

Он вернулся в комнату к Отматфеяну.

— Там какая-то девица со своим приятелем, чего-то я ничего не понял, какой-то ключ им надо у старухи взять, старухи нет.

— Так гони их, — сказал Отматфеян.

— Нет, они вроде у нее снимают, а ее дома нет.

— Ну и что?

— Откуда я знаю, пойди сам и посмотри.

Отматфеян вышел. То, что он увидел, было не то, что он вышел. И то, что он вышел, было не то, что он увидел. Это было сразу то, что он вышел и увидел. Впотьмах. Он сразу узнал, ну и что, впотьмах.

— Здравсьте, — сказала Сана.

— Кого вам? — спросил Отматфеян.

— Вы сторож? — спросил Аввакум.

— Сторожа нет, что еще? — сказал Отматфеян.

— Больше ничего, — сказала Сана.

— Ничего, так ничего, — ответил Отматфеян.

— Пойдем, — сказала Сана Аввакуму, — "два педераста, не видишь", — "а что же ты, блядь, по ночам ходишь!" — сказал Отматфеян.

Он сказал это громко, но на самом деле он это сказал про себя, потому что про педерастов Сана тоже сказала про себя, но он это слышал, но она это слышала.

— Извините тогда, — сказал Аввакум.

— Да ничего, — сказал Отматфеян, — вы же не знали. Ушли.

— Опять к морю! — сказала Сана.

— Мы же к морю приехали.

Они пришли туда, куда приехали. "И зачем мы сюда приехали?" — "Смотреть". — "Сам смотри". Аввакум смотрел. То, на что он смотрел, было больше слышно, чем видно. Море было для ушей, невыносимое для глаз. Зима — это когда солнце дальше. Тогда и люди дальше от того места, от которого солнце дальше. Тогда в метро все время лето, в час пик — разгар.

Никто не купался. В воде не было социальных различий. Даже по плавкам определить было нельзя, потому что они тоже в воде, их не было в воде. Полное

социальное равенство. Республики смешались на пляже. Ссорились, кто лучше: грузины или армяне, Москва или Ленинград, мясо или капуста, душа или тело: "А я считаю, что Ленинград ближе к Москве, чем Москва к Ленинграду". — "А я считаю, Москва ближе к Ленинграду. От Москвы до Ленинграда ближе, чем от Ленинграда до Москвы, и лучше". — "В смысле "лучше"?" — "А от Ленинграда до Москвы — хуже". Хуже в смысле дальше, лучше в смысле дешевле, интеллигентнее в смысле чище. Без смысла.

Над морем не было "ни та-та, ни печали", была пушкинская прозрачность, барковская энергичность, хотя и прозрачность тоже была барковская, "та-та" в данном случае не плохое слово, а только синоним веселья: над морем было ни весело, ни грустно. Посредине черного юмора маркиза и светлого юмора Баркова была пословица, в которой каждый зверь после этого дела печален. Но над морем не было и пословицы. Орудия труда с первобытно-общинного строя (а был ли такой? это когда все были родственники, когда милиционер был всем родственником?) совершенствовались, и главное орудие, которым делают то-то и то-то и деток, тоже модернизировалось: электрифицировалось, радиофицировалось.

- Мне надо, — сказала Сана.
- Садись здесь.
- Неудобно, могут увидеть.

Она отошла подальше в сторону, чтобы сделать то, что ей надо — смыться. Море смыло. "У тараканов есть крылышки". — "Зачем они им, они же бегают", — "А когда на земле нечего будет есть, они улетят". — "К звездам, что ли?" Вскочила из кустов. Смылась. "Ну почему Екатерина любила, когда ее в этот момент обзывали?" — "Ты ведь тоже любишь?" Аввакум, как котят, утопил Екатерину и Александру. "Я хочу, чтобы ты переспал с проституткой, я хочу, чтобы рассказал мне грязную историю". — "Не надо, у тебя потом будет сердце болеть". — "Рассказывай сию же минуту, а то я тебя убью!" Убила — смылась. "А это правда, что всегда, когда месяц, то всегда рядом с ним звезда? А потом она откалывается от него".

Она была перед дверью как раз тогда...

- Опять звонят, — сказал Чящяжышын.
- Лежи, я открою.

Отматфеян открыл. Он ничего не спросил. Она ни-

чего не спросила. Он ответил: "Я не один". — "Я тоже не одна". Он сам себе ответил: "Слушай, это не гостиница. Куда я тебя, на стол положу?" — "На подоконник!"

Они разговаривали отвратительно. Но "отвратительно" — это обстоятельство образа действия, это зависело от обстоятельства. Само по себе действие было сладким, значит, оно было качественным прилагательным, потому что могло быть еще слаще. Они действовали точно по грамматике Ломоносова: имя, глагол, междометие; имя для названия вещей, глагол для названия деяний, междометие для краткого изъяснения движения духа. Спали стоя, как некоторые животные, как многие, в стойле; стояли в раздевалке: вешалки для пальто, ящики для сапог. Мокрая дубленка на крючке. "Сапоги тоже снять?" Половая тряпка и ведро, банкетка. "Во что ты превращаешь любовь!" Динозавры тряслись, когда земля тоже тряслась, извергались вместе с вулканами, которые извергались, — эпически трахались.

— Ты зачем за мной приехала?

— Наоборот я от тебя уехала, я еще вчера сюда приехала.

— Уехала от меня именно туда, куда я от тебя уехал.

— А ты тоже от меня уехал?

Почему это у символистов если солнце, то стеклянное, а небо огненное: а у реалистов солнце протухшее, а моря как будто вообще в природе нет; а у романтиков одно море, над которым все время ветер свищет?

Выбирать не приходилось: железные сучки, полянка за решеткой. Вытирайте ноги, вчера мыли в лесу. Батарея заменяет и горячую ванную и одеяло, у сентименталистов все должно бы происходить у батареи.

— А что это еще за история с ключами? Где ты остановилась?

— Правда наверху. Мы приехали вчера и сняли там комнату.

Ветер раскачивал железные крючки на вешалках в роще, электрическое солнце "стеклянное" и грело, и светило. В батареях текли ручейки, полянка, выложенная кафелем, была сухой и чистой; небо было в облаках, из одного желтого облака капало, под ним стояло ведро. Сана наследила, и тропинка вела к окну.

— Как ты ко мне удрала?

— Пошла в туалет и смылась.

— Врешь все!

Потом на горизонте появилась светлая полоска от восходящего, надо полагать, как солнце, Чящяжышына,

но тут же исчезла, Чяцяжышин только выглянул, даже не сделав круг, — у него не было предлога всходить. А у солнца, как у Чяцяжышына, не было предлога не всходить — и наступило утро со своей колбасой и яйцами всмятку, с зубной пастой и пятаком на метро, с шарфом, нужно, чтобы прошло три поколения, чтобы нормально научились завязывать шарф. "Ну хочешь, я сделаю круг, посмотрю, как он там, и под каким-нибудь нормальным предлогом вернусь?" Дождя под нормальным предлогом не было: ветер разогнал тучи и ту желтую.

— Уже поздно, иди.

— То есть уже рано. Не пойду никуда.

— Ну иди, Сана.

— Нет.

— Пойдешь.

— Нет.

— Я тебя утоплю в батарее!

Повеситься на вешалке — крючков полно. Как мы разговариваем, на каком-то тарабарском языке: ну что, ну как дела, ничего, как ни в чем ни бывало. Внутренности троллейбусов — на поп-арт, пианино — на поп-арт. "А может, у меня хэппенинг и я хочу переспать с тобой в раздевалке?" Евангелие — описание первого хэппенинга, нет, второго; первый хэппенинг был потоп.

— ты чего добиваешься? Чтобы я здесь повесился, в раздевалке?

— Я сейчас уйду.

Вешалки, которые можно было использовать как деревья, так и использовали.

— Давай погуляем, — предложила.

— Где, среди вешалок?

— Среди деревьев.

Крючки зашелестели, но не зацвели. "Сядь!" Она села и выслушала, что она его не любит, никого не любит. "А что, разве любишь?" Сказала "да". — "Это из другой области".

В этой области мерзость запустения, и не потому, что пустой холодильник (нечего поесть) и даже нет кровати и стола, а потому, что можно плюнуть, написать, ударить и подставить другую щеку не из смирения, а от восторга: чтобы унизиться, а потом послать. Ей нет оправдания и прощения, этой области, хотя, если правда, что когда "горяч или холоден" — это хорошо, а когда "тепл" — плохо, есть оправдание, но, наверное, это неправда. Каждый сам за себя, сам по себе, без жалости к друг

дружке, а на остальное наплевать: "вынь, да положь", и никто не пожалеет, потому что нет ни мамы, ни Ванечки. Что с ней делать, с этой "мерзостью запустения", когда в остальные дни, когда ешь манную кашку и выкуриваешь всего три сигареты в день, что делать с этой периферией, нет, с этой столицей, когда в остальные дни (когда ешь манную кашку) ты ее имеешь в виду, а два раза в месяц она становится реальностью. А куда денешься от реальности? И вот тогда тебя топят в батарее и вешают в раздевалке. А где эта область территориально находится? Не на северном полюсе, что холоден, и не на южном, что горяч. О! если бы она была на северном или на южном, а она может быть даже в ванной или на кухне, или в подъезде. Никто ее не ищет, она сама находит, и ей надо давать. Нельзя ей пренебречь, тогда она начинает прогрессировать в своей настойчивости, и лучше всего ей сразу дать.

— Я мертвый человек.

— Это первоклассно — с мертвым!

Первое, второе, третье; на второе бифштекс, на третье — компот; первое таинство — рождение, второе — смерть, адюльтер — компот. Это даже не адюльтер — "пур адюльт" — для взрослых: это когда гостиница, парокход и чулки, и духи, двухспальная кровать, а здесь: если два стола составить, будет двухспальная кровать, даже и такой нет; ведро, лужа, раздевалка, это для кого? — для деток; так детки играют в дочки-матери. Вот здесь у нас в раздевалке дом, вот тут на банкетке мы будем спать, на первое — кулич из песка, на второе — вода из лужи. И что-то начинает происходить в природе, если телефон и телеграф — это часть природы; не северное сияние, конечно, не землетрясение, как у динозавров, а свое: какие-то непонятные звонки по телефону, условные, под стать условиям, звонки в дверь, кто-то звонит и убегает, анонимные письма с расчлененкой, с неба (с пятого этажа?) падают яйца и разбиваются у ног. Этому есть объяснение? Нет. Так же как нет и грому, и северному сиянию. А ветер точно происходит от солнца, потому что сердце, которое его делает, точно, так называется. Научное открытие.

— А так тебе нравится? Так тебе не нравится.

— Нравится.

— Я думала, тебе так не нравится.

— По всякому нравится.

— Я думала тебе нравится только так.

- Все нравится.
- Тебе не нравится.
- Нравится.

Спасаться от мороза, как от страсти, от которой спасаться, как от мороза. Едино. В раздевалке ударил мороз. Он из этой области. Язык было больно отдирать от железяки. Это еще детское правило: не надо лизать железные качели. "Не надо, так больно". — "Но жутко приятно". На языке осталась кровь: кожа прилипла к ж..., которая стала железной от мороза. "Дай язык" — "Немного отошло? еще больно?" — "Очень больно".

Когда человек удаляется, он становится птицей, когда птица удаляется, она становится звездой, а так это совершенно одинаковые величины: человек, птица и звезда. Звезда для того такая большая, чтобы человеку было видно, какая она маленькая, чтобы птице было видно, какой человек маленький. В раздевалке это трудно было доказать. Отматфеян от банкетки удалялся к вешалке и не становился птицей, от вешалки удалялся к окну и не становился звездой: не те масштабы. "Зачем ты ко мне приехала?" — "Я к морю приехала". — "Иди тогда к морю, раз ты к морю приехала!" Отматфеян был не морем. И не потому, что в нем нельзя было утопиться, а потому, что над морем не было "ни та-та, ни печали", а над ним было. "Сейчас старуха придет, куда я тебя дену!" Неправильный обмен веществ: жутко неправильно менялись мясо и картошка, соленое и сладкое, булочная и аэродром.

Все всегда можно объяснить. Почему человек не помнит то время, когда он был звездой? это звезда помнит. Потому что он был в другом качестве, в качестве звезды. Как же много человек заботится об уюте и чистоте в своей комнате: чтобы были новые обои, чтобы был отциклеван паркет. Обои, это что в природе? покров на листьях. Об этом ветер заботится и дождь. Человек заботится о своей одежде (о пальто и сапогах), а бог о своей (о море и горе), и бог не имеет отношения к тому, что в магазинах нет пальто. Гора — это тот же шарф в комнате. И если шкаф не идет к человеку, то человек идет к шкафу.

- Миленькая моя, иди Христа ради, звездочка моя.
- Нет.
- Уйди, ведьма, ты от меня, пошла вон, сука!

Сейчас будет гроза. Электрические разряды от со-

прикосновения железных крючков. Гром от вышеживущих соседей. Прижались.

— Деточка моя, любовь, родненькая, чего хочешь?

— Давай поженимся.

— Где поженимся? Тут в раздевалке, да? На банкетке, да? За решеткой среди крючков. Давай. Давай поженимся, пока старуха не пришла. Обвенчаемся, да? О ведро не споткнись. Чяцяжышын!

Отматфеян разорался на весь вестибюль. Чяцяжышын появился в перспективе таким дохленьким солнышком. Но он все всходил-всходил и засветил. Он притормозил у раздевалки. "Чего орешь?" — "Иди сюда, друг. Сейчас нас обвенчаешь. Давай сюда вставай". Отматфеян открыл ему дверь в раздевалку. Чяцяжышын подошел к окну. И общее солнце, и он, Чяцяжышын, солнце, в частности, ярко светили. "Говори". — "Чего говорить?" — не понял Чяцяжышын. — "Говори, что венчаются раб божий и раба божья, говори..." — "Ну, венчаются". — "Дальше говори". — Как вас зовут?" — "Сана". — "Александра ее зовут". — "Раба божья Александра рабу божьему..." — Чяцяжышын сказал. — "Молодец". — "Целуйтесь теперь". Отматфеян поцеловал Сану в щеку один раз. И потом еще два раза. И она трижды его поцеловала. "Теперь чего делать?" — спросил Чяцяжышын. — "Теперь тут стой, на стреме. Старуха придет, дашь знать, а мы пошли".

Они шли по коридору одним человеком: он был силой, остальное, она, было цветом. Они дошли до театрального кружка. Там уже было постелено. Не сразу легли. Сана сказала, что ей кажется, что она как бы последний человек, который родился, то есть тех, кто младше ее, она уже не видит; видит, конечно, на улице детей, девочек и мальчиков, но они кажутся ей старше, они как бы тетеньки и дяденьки, то есть позднее ее уже никто не рождался. "Это ты правду говоришь?" Отматфеян так спросил, потому что считал, что он как бы первый человек, самый первобытный, что старше его никого нет; есть, конечно, старички и старушки, но они как раз детки; что перед ним как бы никто не рождался, только после него. После этого они легли: самое молодое и самое старое — вместе, самое младшее и самое старшее — вместе. О чем говорить?

Он спросил, что она думает про дождь, который начался, потому что Чяцяжышын зашел за тучку. Она

сказала. Она спросила, что он думает про стаю птиц. Он сказал. Сана сказала, что думает по-другому, что птица в стае — это часть одной птицы, что только все вместе они и есть одна птица. Он хотел сказать еще про птиц, но подумал, что ей будет не интересно. Не сказал. Она хотела сказать еще про птиц, но подумала, что ему будет не интересно. Не сказала.

И все в одной комнате, все вместе: хорошенькие ученицы, разведенные жены, художники на горшках. А звезда — эвфемизм; неприлично употреблять это слово после месяца в гинекологическом отделении: "ну ты, звезда, куда кладешь! ну и звезда же ты!" А как же тогда читать стихи: "и звезда с звездой говорит", или "одной звезды я повторяю имя"? Женщины вяжут, столько-то петель плюс столько-то петель, накид, потом две вместе. Как много ты связала, было столько, а теперь уже столько; а можно сказать и так: было утро, а теперь уже вечер; если все это распустить — опять будет утро.

Когда люди друг друга еще плохо знают, они как будто и не храпят, и не блюют, и даже в туалет не ходят, а делают только все самое хорошее. Отматфеян блеванул. Определенная степень близости. Это было еще вчерашнее, которое не усвоилось сегодня. "И ты хочешь сказать, что тебе со мной хорошо?" Сказала "да". Ведь произносят в винном магазине католическую молитву в день полножопия, когда стая голубей сверкает в небе, когда полутаксист, полуффраер вместо центра везет в Филевский парк со своим предложением, а у другого Харона в машине сломанное и потому лежачее сидение; после часовой тряски ломит спину. Все равно.

И когда девочки в провинциальном магазине покупают куртки, которые потом оказываются спецодеждой продавцов ("а ты что, не знала, что в таких продавцы ходят? — откуда я знаю, в чем они ходят"). Куда эту куртку деть, ею можно только вытирать кисточки. Ведь кисточки тоже надо чем-то вытирать. За три рубля. Как ужасно то, что это есть. Рядом с генеральской дачей, еще через одну дачу ("а вы дачу не сдаете? — об этом надо было думать зимой"). Под зонтиком распить четвертинку не потому, что хочется выпить, а для здоровья, чтобы не простудиться. Все плохо. Хорошо только то, что линия реки — не линия, и леса — не линия, и шоссейной дороги. Но часть леса, реки и шоссейная дорога образуют свою линию из-за напоздшего тумана, он и есть безусловная линия. И туман образует рельеф, который исче-

зает, как только туман исчезнет. И не надо запоминать: по рельефу не узнаешь эту местность в следующий раз — скрыты ориентиры и приметы: ларек, дом, поворот. Этой местности не будет, она есть только один раз — сейчас, и, значит, ее нет. Условность рельефа — реки, леса и шоссейной дороги — вполне реальна. Лес и автобусная остановка отлетают вместе с туманом, и вместо них остается ничего, которое будет, когда нас здесь не будет, и не будет ничего: ни окурков, ни апельсин, ни сигарет.

— Ты любишь меня?

— Одна девушка, которую я люблю. Я ее когда-нибудь соблазню.

— Девушка?

— Она — красавица, ты тоже — красавица, она — спящая красавица.

— У тебя с ней было?

— У меня со всеми было.

— С ней было?

— С ней — никогда, потому что спит. И пускай себе спит, а я не буду ее будить, я не тот человек. Я тебя буду будить.

— Ты меня ненавидишь.

— Я тебя все делаю сразу.

Они делали все сразу, но этого было мало, поэтому он употреблял все, что напоминало, и это было фокусом, они больше занимались Саной, ему тоже хотелось, чтобы им, она стала делать, когда он сказал, что и когда она довела, то сказала: "выстрел за мной", потому что имела в виду Пушкина.

Она наглядно стала показывать ему, что они вдвоем — один человек, а не два, а как? В четыре руки. Извлекали звуки. Он согласился. Удовольствие заключается в тебе самом, и нужно его добыть. Подстегивали себя.

Постель, покрытая целлофаном, чтобы человек не зачерствел. "Хватит качаться на качелях". — "Ты качаешься, а меня тошнит". — "Где жить?" — "Негде". — "Но ведь можно вернуться туда, где ты раньше жил?" — "Туда возврата нет".

Здесь. В Доме культуры. Кружки упразднить, старуху рассчитать. Нет, старухе платить жалованье и держать в качестве консьержки — в качестве дуры: будет докладывать, кто пришел, всех распугает. При чем здесь старуха? В кружках устроить больницу, и это жизнь! Когда лежишь на сохранении в палате вместе с шестью девицами или через стенку в палате "на чистку" еще с

шестью девицами, не отличишь, только эти хотят выкинуть то, кого те хотят сохранить, стоит мат. И там, и там смотрят телевизор и не понимают, что происходит. Спрашивают: "Куда он пошел? а почему он плачет? а почему он смеется?" — "Если родится ребенок, то мы получим двухкомнатную квартиру, а если двойня, то трехкомнатную", арифметическая прогрессия, жалко, что не геометрическая. В утробе темно, тогда почему же дети там не плачут, а в темной комнате плачут, значит, в утробе светло, как в светлой комнате, где дети не плачут; надо вставить фотоэлемент, если засветится, то, действительно, светло, а если "не", то нет. Вот это новая жизнь? А ты что предлагаешь? Нужно нормально. А нормально, это как? Ходить на работу и есть суп? Не умеем ходить на работу, не умеем есть суп. "Как же ты здесь у меня поселилась?" Чтобы никто ни у кого не поселился, надо снять с производства двухспальные кровати и выпускать только односпальные. Люблю. Надо вымыть окна, придут гости. Зачем мыть? Они придут, когда будет темно. Чтобы не было видно грязных стекол, чтобы не было видно грязного пола. Давай поспим. Змеи отрыгивают. Спорим, у змей есть задний проход, у всех есть два отверстия: через одно входит, через другое выходит. У тебя их больше. Я говорю, минимум — два. У них есть анальное отверстие, даже у мух есть анальное отверстие. Спи.

Сана смотрела в окно, и там все было старое, все старше ее, ничего моложе: престарелые воробьи; молодые вороны, но все равно, конечно, старухи; пятидесятилетние голуби; саврасовских юных грачей не было и в помине (а вообще-то они есть в России или это его алгокольный мираж?); заборы на костылях; облака столетней давности; вся природа была старше ее, и даже дети, часть природы, девочки, как толстые мамы, катили перед собой коляски, малыши деловито и пенсионно сидели в песочнице. Отматфеян смотрел в окно, и там все было молодое, все моложе его: месячные голубки, юные старушки, резвый ветерок, подростки и кустарники, новенькие грузовики и всякая юная всячина.

Жизнь за окном и в комнате состояла из деталей "для прозы" и "для стихов". Больше всего деталей было для стихов. Хотелось все сразу. Наплевать на рифмы. Смысл заключался в том, что все-таки сначала дождь, а потом стишок про дождь, что сначала потоп, а потом про это стишок, и никогда наоборот. И никогда в жизни поэт не

мог остановить дождь, а ветер мог. И слава богу, что молитва — это не факт литературы, потому что молитва — это не факт литературы, потому что молитва вроде бы способна, если она из уст... Если будешь хорошо писать стихи, то будешь хорошим поэтом, если не будешь делать гадости, то будешь хорошим человеком, а что значит — хорошо помолиться? Это значит, что молитва будет услышана. А хорошо, это как? Уже сто раз — и ни фиги. Значит, плохо. Недостаточно хорошо. А если самый лучший язык — а самый лучший, конечно, итальянский, если на нем петь, — то дойдет до сердца, то на каком, спрашивается, языке молиться, чтобы дошло до Его сердца? Где такой язык и кто его знает? Будем долбить по самоучителю, распространять на ксероксе, выучим своими силами и вместе помолимся, интересно, услышит? "И смысла нет в мольбе". Это в стихах смысла нет в мольбе. Тогда хотя бы оперу послушать.

Отматфеян успел накрыть Сану барахлом — Чящяжышын даже не постучал: "Подъем. Старуха пришла".

Он зашел по-соседски. Кто такой сосед? Не надо прикладывать дополнительных усилий, чтобы видеть соседа. Он всегда тут как тут. Не надо переться через весь город, чтобы сказать ему "привет". А сноха, кто такая? Этимология приводит нас к слову "сношаться". Слова одного корня. Со снохой сношается отец сына. Они одного корня. Всего-навсего "х" меняется на "ш", как в словах ветхий — обветшалый, смех — смешливый, как грех — грешный, как тихо — тишайший, царь еще такой был. Михаил Алексеевич, при котором не было войны. И в литературе "х" меняется на "ш", есть поэты одного корня: Роденбах — наш Анненский, Андре Жид — наш Георгий Иванов, Анна де Ноай — наша Цветаева. И в пригороде "х" меняется на "ш", явления одного корня: дождь меняется на снег, месяц — на луну, гора — на шкаф.

Устроили из Дома культуры коммуналку. Они продолжали лежать на двухспальном столе, вдаваясь в подробности "когда пришла?" и "что сказала?" и "теперь она что?". "Поставь чайник". Чящяжышын налил и воткнул. Как дальше жить? Выгрести все бутылки, под оперу "Риголетто" вытащить пробки: "веревка оборвалась", — "а ты нежнее тяни" — и двинуть в магазин сдавать. Смешно. Лечить у девочек придатки. Все простужены и больны после первого аборта в шестнадцать лет. Чисто советский орган. И соцсистема была преду-

смотрена творцом. Придатки — то, что дается в придачу: к цейлонскому чаю дают тефтели в томате. Придатки — в придачу известно к чему. Что же теперь делать? Прикуриваем от свечки, а в море гибнут матросы. Так можно извести весь морской флот. Как дальше жить? Остается только одно — пойти погулять. Как же это другие так ловко живут и почти совсем не гуляют?

— Давай попьем чаю и погуляем.

— Кровать застели.

Вышли. Хорошо гулять втроем. Всегда, когда не о чем говорить вдвоем, всегда есть о чем поговорить втроем. Поменьше пауз. Сана взяла Чящяжышына под руку. Отматфеян не отбил ей руку, как Венере, как отбил ей, может, Вулкан, ее муж, за то, что она тоже взяла одного под руку. Отматфеян был не язычник. Он сказал: "Пошли по той дороге". — "Она же узкая", — сказала Сана. — "Ничего, пройдем". Они пошли гуськом: впереди Сана с целой рукой, потом Чящяжышын, потом он. Вышли к пирамиде из гальки. Стали на нее подниматься, чтобы лучше было видно, что где плывет, чтобы быть поближе к небу, у которого отрезали детородный орган и выкинули его в море, у которого каждую минуту отрезают и каждую минуту выкидывают. А где у неба детородный орган, в каком месте? Скорее всего — на горизонте, там где небо соприкасается с морем. Воображаемая линия, горизонт, она же — уд, все, что за ней, не видно, а все, что перед ней, видно. Уд то поднимался, то опускался, в зависимости от того, как они поднимались на пирамиду.

— Дай сигаретку, — сказала Сана Чящяжышыну.

Как-то быстро они перешли на "ты". "Солдаты, на вас смотрит вечность с высоты этих пирамид!" Галька осыпалась. Тогда для чего нужны были эти пирамиды, если не для вечности? Для строительства. Их не специально строили, их раз-два и насыпали. Грязные и кривые — некрасивые. Шел дождик, и сильнее всего он шел на вершине пирамиды, потому что она была ближе к небу.

Съехали к морю. Что-то подплывало. Площадь соприкосновения неба с морем была все больше и больше за счет дождевых линий по сто метров в длину. Линия горизонта из горизонтальной линии перешла в вертикальную плоскость, которая двигалась на людей, двигая что-то, что плыло по воде к берегу. Сила падения неба в море обладала такой мощностью, при которой вырабатывался свет, независимо от солнца, потому что сол-

нца не было видно, а все равно было светло. Гидра, построенная на горизонте (на месте впадения неба в море), как раз и подавала этот свет, она же и шумела. К берегу уже подплывало то, про что можно было сказать, что это. Это было того же порядка, что из пены морской, из раковины — вышла. Она не вышла. Спящая красавица продолжала лежать на деревянном лежаке — его почти прибило к берегу. Те же труссы, тот же лифчик телесного цвета. Та же короткая стрижка. Чяццяжышын подтянул лежак и потрогал спящую красавицу. Не шелохнулась. Целоваться не хотелось.

— Целоваться будешь? — спросил его Отматфеян. — Пошли отсюда или целуй.

Красавица спокойно дышала. Она была теплее воздуха, над ней поднимался пар.

— И не разбудил? ни фи́га? — спросил Чяццяжышын.

Сана смотрела на девушку, которая была сделана из сна и красоты, а Сана была из чего? Из завтрака и грусти, и пятьсот раз из поцелуев не с теми, от которых просыпалась сто раз, все равно из злости.

— Возьмем ее с собой, — сказала она им. — А знаешь что, ты поцелуй ее на всякий случай, — сказала она Чяццяжышину, — может, она проснется.

Он поцеловал. Но это был не тот случай, она не проснулась.

— Ты сначала посади ее, а потом поднимай, — сказал ему Отматфеян.

Теперь спящая красавица лежала вертикально, как горизонт (то есть стояла), который стоял всегда, когда шел дождь.

Повели.

— А ты лежак возьми, — сказал Чяццяжышын Отматфеяну, — я, может, на нем спать буду. Мне спать не на чем.

Важны были соотношения видимого и невидимого, невидимого и невидимого, видимо-невидимого, что ее не видел тот, кто ее не видел: милиционер, который видит нарушения, происходящие среди машин и пешеходов, профессиональное зрение: разделение всего человечества не на бедных и богатых, не на слабых и сильных, а на водителей и пешеходов. Нарушение не было им замечено. Оно происходило не на дороге, а в природе: он не видел, что неправильно перешла Млечный путь одна звезда (это луна видела) и перешла дорогу спящая красавица, она перешла ее, как звезда. По днев-

ному небу шли звезды, милиционер их не видел, не переживал, что они закрыты светом, который вырабатывает Гидра, построенная на горизонте, на уде Цела, и от силы впадения неба в море зависит сила света, и день то ярче, то темнее — это Тютчев видел и переживал за милиционера.

Пришли в кружок, как к себе домой. Мимо консьержки, мимо дуры. Не заметила. Хочется есть. Плитку можно купить. Можно взять напрокат. А пока можно чай.

Чящяжышын смотрел на Сану не просто так. Он смотрел на нее так, как Андрей Белый на жену Блока, как Дантес на жену Пушкина, как Александр на жену Наполеона. Конечно, Андрей Белый любил не жену Блока, а самого Блока, и Дантес любил Пушкина и скрывал, а не скрывал, что любит жену Пушкина, и Александр любил Наполеона в сто раз больше, чем его жену. Чящяжышын любил Отматфеяна, но это был не дягилевский случай. В данном случае Сана была телом (в космическом смысле), через которое можно вступить в связь с душой (имеется в виду душа Отматфеяна). Просто так ограничиться душой Отматфеяна (не в космическом смысле) его мало занимало. Поэтому для Чящяжышына Сана была идеальной длиной, шириной и объемом, она была для него идеальной высотой и весом — он мог бы с ней спокойно, потому что она была для него блуждающим телом (не в смысле блуда), связующим его и Отматфеяна. Вот так он на нее смотрел.

— Звонят, — сказал Чящяжышын.

— Без нас откроют, — сказал Отматфеян, — можно подумать, что ночь!

Сколько времени? Всегда сначала двенадцать часов дня, а потом сразу четыре. А часа, двух, трех как будто вообще не бывает. Зато час ночи бывает, десять вечера бывает, но редко, а шесть, семь, восемь вечера — вот это никогда не бывает.

— Старуха опять ушла. Она же у нас работает!

— А ты ей платишь за то, что она у нас работает? — разозлился Отматфеян на Чящяжышына.

— Она же сама не знает, что у нас, думает, что у них.

— Поэтому и ушла. Иди сам открывай.

— Не надо открывать, — прервала их Сана, — это он звонит.

Старуха куда смылась? К дочери. Значит, на шабаш.

Аввакум давил на звонок, и это был конец мая, завтра первый день лета, все цветет, по газонам не ходить,

цветы не рвать! Спесьяль. "Что такое спесьяль?" — "На арго — это проститутка специально для извращений". — "А что такое извращение? Между Сциллой и Харибдой?" — "Нет, правда?" — "Все — извращение!" Бросил звонить.

Аввакум вернулся к себе в комнату. Под полом, под землей ходили. Он слышал. Гад морских подземный ход. И она среди них. Инвалид стучал по коридору протезом. Аввакум распахнул дверь. Перед ним стоял — в трусах, на копытцах, а рожки где? Сбрил. Черт был обратно пропорционален инвалиду — в самых невыгодных местах фокусировались лучи. В татуировке на груди была нарушена перспектива: изображенная на ней дама сердца была сердцем черта, но тогда у него не было сердца. Аввакум подошел вплотную. Черт был выпукло-вогнутым, он был негром и белым. Негр — это вогнутый белый, белый — это выпуклый негр (Пушкин — это вогнутый Байрон, Байрон — это выпуклый Пушкин). Аввакум подхватил его, как пушинку, и хлопнул об пол — сразу дырка. Оба провалились. Прямо в кружок. Черт выпал белым и испарился негром. Аввакум встал. Эти готовились пить чай. Сана подошла, как спесьяль. Как еще она могла подойти? Молчит. "А тебе хотелось меня когда-нибудь побить?" — "Очень хотелось иногда". — "Тебе хотелось ударить или отшлепать?" — "Все вместе". — "А шлепать — это ведь смешно?" — "Очень смешно". — "А ударить не смешно". Сейчас не хотелось ничего. Почему-то он сказал: "Я уезжаю домой", но не сказал: "А ты?"

— А мои вещи? — спросила она.

— Там, — показал Аввакум в дырку на потолке.

— Ты еще туда вернешься?

— Да, — ответил.

— Выкинь их тогда сюда.

Ушел. Зачем он заходил? То есть зачем он проваливался? За чем? За ней. Значит, когда они здесь спали, она уже не любила, или, когда ехали, уже не любила, или уже там не любила, нет, там любила, или никогда не любила, но говорила, но делала, значит, любила, не значит, а этого любит? — домой.

Аввакум стал выкидывать в дырку ее вещи: юбку — поймала, штаны — поймала, туфли — подобрала, сумка, резиновая шапочка, чтобы принимать душ, — поймала, платье. Все.

Грустно. А небо без солнца и совсем негрустное.

Звезды и луна для веселья, чтобы людям было весело. Это не весело. А чтобы еще веселее было и луна, и звезды двигаются. Но не веселее. Грустное зрелище это небо. Аввакум вышел из логова и пошел, но не за луной. Зачем за ней ходить? Это луна пошла за ним. И останавливалась, когда он останавливался, и шла опять, когда он шел. Луна шла на вокзал. Она остановилась в окне, а потом стала трястись в поезде. Она тряслась, как дура. Тряслась сама по себе. Аввакум смотрел на нее, и ему не было до нее никакого дела. От нее слипались глаза. Она — для сна. Заснул.

Кошка окотилась. От кого у нее котята, если не было кота? От святого духа. Глазки еще не прорезались. Аввакум прорезал им глазки и утопил. А кошку накормил. Кошка облизала шерсть и блеванула. Он подтер за ней. И вынес за ней горшок. Она мяукнула, он с ней поговорил, она с ним поговорила. Она бы не утопила его деток, потому что была даже меньше ребеночка. Он опять накормил ее и опять вынес за ней горшок.

"И это жизнь?" — Отматфеян тряс Сану. Он тряс ее, как грушу. "Это жизнь!" — "Не трясги ты меня так". — "Ты этого хотела!" Музыка для фона, картина для пятна. Черная дыра наверху, в которую выбрасывают вещи, которые будут завтра носить. Из дыры тянет щами и вонью. "Я не думала, что так бывает". Отматфеян тряс ее, и тряслись трамваи, потому что уже было шесть утра, и первые люди тряслись от холода, потому что им надо было на работу. Потом все утряслось. "Ладно, что будем делать?" — "Дальше жить". Стоят люди за бессмертием — в очереди за сапогами, стоят те, у которых есть время, стоят, чтобы его не было, а бессмертные не стоят, потому что у них нет времени. Где взять столько сапог для смертных, чтобы они стали бессмертными. Почему так все? Так как-то все. "Пушкин" — вводное слово, равнозначное "кстати", предлог для любого разговора; правды нет, "правда" тоже вводное слово, правда, это сомнительно.

Нужно зарабатывать деньги, хотя лучше бы получать наследство от богатых родственников, которые умирают и которых не жалко. А те, которых жалко, пусть лучше будут бедными и не умирают, а если умирают, то пусть лучше будут богатыми. "Денег у нас нет, блевать нам нечем". Жалко молоденькие растения, которые гибнут в городе без воздуха и человека, до которых богу нет дела, а есть дело только для всех людей вместе, а есть дело до

человека, жалко, что для бога нет человека как единицы, а есть неделимое человечество с сердцем, мозгом и кашкой. У папы гараж возле церкви, и папа ставит богу свечку за спасение машины, в коридор выходят два туалета и несет мочой, сначала уплатить в кассу два пятьдесят, потом сдать баночку с мочой и получить номерок, а за результатом придти завтра, итальянский язык считать оперным, запретить на нем разговаривать и запретить исполнять оперы на других языках, итальянским считать только город Милан, а все остальные города раздать нищим, народным художником считать того, на которого народ стоит, запретить неаккуратненькую живопись, потому что в природе все аккуратненько: солнце аккуратненькое, луна аккуратненькая, море аккуратненькое, а вот море как раз неаккуратненькое, суп из счастья цыпленка вкуснее всего с грибами, на свете счастья нет, но покой и воля, нетрудно провести туалет прямо в комнату, если ты находишься в сельской местности: пробей дырку в стене, просунь в нее шланг и вставь в него воронку (туалет приспособлен исключительно для мужчин), регулярное промывание шланга гарантирует отсутствие запаха.

Нет ничего для жизни, ни денег, ни кровати, а есть все для смерти: новый костюм, живые цветы. Наплевать на условия. Можно приспособиться и к жизни в лесу, и в горах, и к жизни в кружке: ассимилироваться с местной дичью, рельефом, природными условиями. "Я хочу вместе с тобой делать все: пить, есть, спать, мыться". Мыться тоже негде. Остается вместе делать ничего.

Слова очень приблизительно выражают мысли, еще приблизительно они выражают чувства. Плохие слова представляют собой сгустки энергии, поэтому, когда в хороших словах кончается энергетический запас, плохое слово может обозначать любой предмет или любое действие.

Отматфеян не сказал Чяцяжышыну "уйди", потому что тот бы не понял. Он сказал ему одно плохое слово, которое Чяцяжышын сразу понял и вышел в коридор.

Зимой больше живешь вечером, а летом больше — днем. Зимой преобладают два цвета: белый и черный. Летом преобладает зеленый там, где есть деревья, а там, где их нет, лета нет. Человек говорит: "Если сбудется то-то и то-то, то бог есть, а если не сбудется, то бога нет". И зря он так говорит, потому что бог не в курсе человеческих дел. Человек со своими делами (полюбит — не

полюбит, выздоровеет — не выздоровеет, напечатают — не напечатают) ему на фиг не нужен. Бога интересует в человеке то, что в нем есть от человека. Человек видит в боге себя, бог видит в человеке себя — отсюда все недоразумения.

"И тебе здесь нравится?" — "Нравится". — "И то, что не выпалась, нравится?" — "Нравится". — "Что же тут может нравиться?" Кружок художественного слова — закрыт, ИЗО кружок — закрыт (нарисовать елку так, чтобы она была, как настоящая. Как у Шишкина, что ли? Так бы и говорили: нарисовать елку, как у Шишкина. А при чем здесь настоящая?). Мы выпали из настоящей жизни, которая вполне, если делать то-то и то-то: бриться, мыться, обедать, ходить на работу. Чтобы все было по-настоящему: солнце встало — и ты вставай, листочки умываются — и ты намыливайся, птичка за кормом полетела — и ты в магазин дуй, живи по Шишкину. А у нас пусть все будет плохо: утро сломано, день сломан. В конечном итоге, жилая комната — место, где ты умрешь, и тогда из этой жилой комнаты душа вылетит в нежилую комнату. "Я страдаю только от болезни близких". — "Болезнь близких, триппер, что ли?" Не надо над этим смеяться. Надо. Если над этим не смеяться, то все так и будет тянуться по тысяче лет туда-сюда. И маркиз де Сад может вызвать сочувствие, если учесть, что он жил-то всего одну секунду, которая вместила в себя N-ное количество дней, если иметь в виду обед как показатель настоящего, прошедшего и будущего времени (вчера на обед, сегодня на обед, завтра на обед), но если не иметь в виду, обед, то "120 дней Содома" сворачиваются до секунды, и соответственно все дела с бардаком объясняются просто: не одному маркизу приходят в голову во время "спуска" все эти насилования, испражнения, подвязки, чулки, и все сочинения маркиза, засунутые в анус, чтобы легче было вынести из тюрьмы, — подробное описание этой секунды, которая не является единицей времени (настоящего, прошедшего и будущего), а является единицей времени, которого нет. Для времени, которого нет, нет и обозначения в европейском языке, приспособленного больше для выражения обеденного и послеобеденного времени, но есть такое обозначение в одном хорошем языке, о котором языковеды ничего не хотят говорить.

Пора идти в магазин.

— Сходите вдвоем, — сказал Отматфейн.

— С тобой, — сказала Сана.

— С ним, — ответил Отматфеян.

Вышли. Они шли по земле, которая была философским камнем, первоначальная материя которого была не известна, зато были известны прочие, вторичные, компоненты: нефть, золото, дерьмо. Светились витрины магазинов: "Детское питание", в котором была колбаса, "Диета", в котором была колбаса, "Колбасы", в котором была колбаса, как навязчивая идея, как дождь, который лил, как из ведра. Спрятались в подъезд.

— Уехал твой приятель? — спросил Чящяжышын.

— Он — мой муж.

— Твой муж?

— Вчера уехал.

Чящяжышын взял Сану за руку, и Сана не убрала руку, потому что в батарее текла холодная вода, а в Чящяжышыне — теплая. Поцеловались. Гадость. Может стошнить. Но ведь не стошнило! Еще раз. И опять не.

Дождь кончился — хватит. Почему бы сразу не спрятаться в магазине, в очереди за колбасой, за сыром, за яйцами? "Нам только сыр". — "В общую очередь!" Теперь хлеб.

Как раз Отматфеян заварил чай, когда они вошли. Дырка на потолке была черной, как черная дыра. Неприятно было на нее смотреть — уставились друг на друга. После чая Отматфеян достал вино, и они выпили по чуть-чуть. А через час начуть-чукались. Чящяжышын не стоял на ногах, он упал возле стола, ему было плохо, как будто Отматфеяну было хорошо. Впали в спяточку.

Было совсем темно, ничего не горело. Гидра, построенная на горизонте, сломалась. Уда, то есть горизонта, больше не было, он был там, где было светло, где была гидра, которая подавала свет. "Ты хочешь?" — спросила Сана. — "Больше жизни", — ответил Отматфеян. — "Но по телефону не бывает". — "Оказывается бывает". — "Когда?" — "Еще тогда, когда у нас с тобой было только по телефону". — "Конечно, люблю".

Прорвало. Из батарей, из унитаза хлынула вода и стала заливать кружок. На улице все давно залило. Чящяжышын умылся грязной водой, чтобы протрезветь. Все тонуло и вязло. А лежак со спящей красавицей не тонул — уцепились за него все втроем. Канализационная вода поднялась до потолка, и черная дыра втянула лежак с людьми, как воронка. В этот момент раздался крик новорожденного. "Что надо делать?" Какая ди-

кость! В Англии даже полицейский умеет принимать роды. Мысленно разделить пуповину на три равные части, затем через равные промежутки зажать в двух местах стерильным предметом. Вся грязь осталась внизу — в кружке; здесь все было стерильно: деревья, птицы, ботинки, ветки, пальцы, все можно зажать любым предметом.

II

Месячная стихия, которая гуляет в коляске, как король, который гуляет в любую погоду. Между стерильным желудком и сердцем, ноготками царапая легкие; между стерильным забором и шоссе, белками, которых кормить, и четырьмя снегирями — зимними птицами, которые прилетают весной, потому что весной стоит зима. Стихия умеет спать, сосать, орать, и в том, как она это делает, чувствуется ум — она умна: ест хорошо, спит крепко, орет по существу, клизму — терпит, чтобы освободить стерильный желудок. Стихия умеет — дождь, снег, ветер, мороз, и в том, как она делает дождь, сменяемый "под голубыми небесами, великолепными коврами" — снегом, а затем "грозой в начале мая", чувствуется ум. "Она видит?" — "Да как сказать". — "Слышит?" — "Очень плохо". — "Она улыбается?" — "Нет, это обычное подергивание мускул". Но если она "не", "не" и "не", то тогда она что?

Это кто такой отпочковался вместе с кроваткой, ванночкой, коляской, через год — вместе с санками, потом вместе с велосипедом, вместе с двухкомнатной квартирой и автомобилем? Она орет, и мы делаем то, что она "орет", она спит и дает нам спать; "ну почему я не жена Пушкина? О, если бы я была женой Пушкина, у меня было бы пятеро? детей, но зато были бы няня и кормилица"; не нужно вырабатывать молоко, не нужно каждое утро столовую ложку меда, запить кипяченой водой, сто грамм грецких орехов (хотя бы пятьдесят), поллитра чая с молоком. Не пить кофе, не есть апельсины, не есть шоколадные конфеты, не пить, не курить, "не" еще что-то. Но если бы я была женой Пушкина, я бы точно осталась вдовой, потому что он умер не от простуды, а от другого". Как и Николай II умер не от простуды и Петр III, и Павел, и Александр II умерли не от простуды; а Петр I умер от простуды, две Екатерины и Елизавета

умерли от простуды, Александра умерла не от простуды, четыре великих княжны умерли не от простуды, Саврасов умер в больнице для бедных.

До каких пор дети плачут? До трех месяцев? До года? Плачут, потому что ничего еще не понимают. А потом уже до тридцати лет плачут, потому что все уже понимают. Где это мы? Не слабо, такое путешествие из Петербурга в Москву? Вместо кружка — дворец (разрушенный). А может, мы вещи? Нас принесли, положили, и мы живем, и нечего трепыхаться! Стихия выгоняет из комнаты в кухню, из кухни — на балкон, из дома, поглощая собой каждый дециметр. А где здесь комната? где кухня? кто сказал, что это дом? Стены кончаются чем? Ничем. По периметру растут деревья, травка зеленеет. В торце (там, где кончается анфилада смежных комнат) лежит куча, а на стене надпись: "Здесь были армяне, осен, 1985", армяне — добавление излишнее, а "осен" здесь хороша. Кучи можно убрать, стены почистить, крышу положить. Но тогда придется вырубить деревья: сосенки, березки, елочки — все, что выросло с тех пор, как Баженов не положил крышу. Екатерина не дала ему положить крышу и умерла от простуды, а он умер от горя, от того, что она не дала ему положить крышу. Теперь во дворце пьют, блюют, жгут и одновременно реставрируют. Рота солдат. Хотят отреставрировать за счет солдат, на халяву, хорошо, если не хватит средств. Тогда вместо паркета останутся кустики, канавки — пересеченная местность, вместо крыши — низкое небо, потому что "осен". "Баженов — наш знаменитый архитектор. По его проекту построен еще Пашков дом в Москве". Улица Баженова, Суворовский бульвар, Суворов — наш знаменитый полководец, Пушкинская площадь — Пушкин, это наше все, как сказал Негоголь — наш знаменитый писатель, Гоголевский бульвар.

"Она вопит, и все равно, как я ее люблю!" — "Когда она спит". — "Ты бы хотел, чтобы дети спали круглосуточно, чтобы они спали до двадцати лет, а потом сразу женились. Никогда не думала, что кому-то может надуть в уши. Ведь не думала, что тебе может надуть или ему". Конечно, уши имеют смысл, если хоть один человек думает, что в них может надуть. И ноги имеют смысл, потому что их можно сломать, и голова, голову можно разбить. Экскурсия придет и уйдет, посмотрит на нас, на дворец — и по домам, а мы здесь останемся жить. "Ты, чудовище, куда ты меня привел! Даже нет крыши над

головой. Где я буду ребенка купать? Куда я его дену?" — "Отдай маме". — "И себя я отдам маме, а мама себя кому отдаст? Даже нет горячей воды!" В чем смысл жизни и загадка мироздания? В холодной и горячей воде, в канализации, в паровом отоплении. Мебели тоже нет, мебель признак хорошего и дурного вкуса. Комната без признаков жизни. "Замолчи, я тебя привел во дворец". — "Как я тебя ненавижу! Разве так можно! Чтб даже можно зачать по телефону!" Куда деваются те души, которые десять часов живут под капельницей и не дотягивают до детского корпуса? недоношенные и умершие в трубах? А саддукеи говорят, что сперма одушевленная, а раввин Мойи говорит, что эмбрион одушевленный, а Платон говорит, что душа живет в мозге, а Филон говорит, что души — животные воздуха, а стоики говорят, что душа живет в сердце, а Плотин говорит, что мясо не надо есть, а мама говорит, что мороженое мясо можно есть, потому, что оно и не мясо.

С милым и в шалаше рай. "Шалаш" был заложен Баженовым в 17... году по приказу Екатерины, которая хотела свой "шалаш", как Петродворец, а Петр хотел свой "шалаш", как Версаль, а Баженов не хотел, "как Версаль", и поэтому мы живем без крыши. Принесем с помойки стул, диван, которые потом будут музейными экспонатами, щетки, тазики, все, что нужно для жизни.

Как девочку назовем? можно Анной, уже была — Австрийская; Еленой? тоже была; Екатерина? Александра? Таня? тогда Ларина; Наташа — Ростова или Гончарова; Аделаида Иванна — колода карт. Все уже были, имен нет, назвать никак нельзя. Назовем ласточка или солнышко. Ласточка Ивановна, Солнышко Ивановно — "ты готов усыновить всю природу!". Зачем дети нужны? Чтобы их сфотографировать. "Ты вот так ее поддержи и туда встань, хороший кадр. Теперь я подержу и туда встану, а ты сюда нажми". Передам, как обезьянку в Сочи: "улыбочку! готово". Кричит. Почему она кричит? Кто же спорит, там было хорошо, в утробе, на всем готовом, в магазин не надо ходить, хочешь ногой в печень дашь, хочешь в звезду, "а во лбу звезда горит, а в носу сопля блестит", и не надо строить космический корабль, чтобы долететь до звезды — все под рукой. А вот не пролезет верблюд в игольное ушко! Надо сначала разрезать иголку, а потом зашить: три шва снять через пять дней, а остальные рассосутся сами. И что хорошего после того, как пролезешь: ори, чтобы покормили, чтобы вв-

ремя сменили, не можешь выразить мысли: последовательно, лаконично, поэтично, можешь только громче и тише, мысль — в силе голоса.

До того, как сначала было слово, сначала было междометие — "краткое изъяснение движений духа". Что она сказала? Она сказала "уа". Интонация крика, по ней мы судим о состоянии стихии. И погода — показатель природы, и характер — показатель человека; человек с плохой погодой, встал не с той ноги, от него сильно дует, он качается, он — обильные осадки и ниже ноля; стихия с хорошим характером: она ласково светит, без заморозков, при умеренных порывах. Стихия дает нам делать только самое необходимое, и не больше; мы делаем то, что может уложиться в крик. Не делаем больше или меньше крика, а делаем ровно крик.

...пока стоит тишина, и стоит, пока слышно, как кто-то живет в парке, судя по шороху — заяц, который летит от птицы, которая скачет за ним, и полевая мышь, которую ест бездомная собака, мышь, которая уже стала собакой, потому что та ее съела, следовательно, время идет.

Все комнаты проходные, а Чяцзяжышын выбрал себе похуже, самую последнюю, в торце, самую грязную, ту, где "осен", а когда она стала самой чистой, когда он ползаасфальтировал и посеял газон, и крыша у него "протекает" точно по сводке погоды, ему, конечно, не охота оттуда выметаться. "Ты что, так и будешь через нас ходить, это тебе что, проходной двор?" Это ему проходной двор. Живем у всех на виду, любой может прийти и посмотреть, как спим, как едим. Спинка стула, одна спинка, стула нет. Едим из тарелки без дна. И все равно каждый предмет стоит миллион, музейный экспонат, потому что "это я сидел на этом стуле и сломал его, это я спал на этой кровати и помял ее, это я пил из этой чашки и разбил ее", все равно потом соберут, починят и склеят, и поставят под стекло на витрину, и за осмотр будут брать с посетителей по тридцать копеек, а с учащих по десять, а солдатам бесплатно, а солдаты и не пойдут смотреть, потому что бесплатно они и сейчас, пока реставрируют, не смотрят, как мы едим, как спим. Кроватку поставим у окна, со стеклами всегда чистыми, потому что их нет. А на табуретку поставим весы, чтобы поела и взвесить, пописала и взвесить. Прибавляет в весе. Земля при рождении потеряла в весе и никак не может добрать; сначала ее вроде бы хорошо кормили, а

теперь она не доедает: жертвенных младенцев выхаживают в вакууме, а жертвенных барашков самим не хватает, поэтому Земля голову держит плохо: но на животе лежит, на бок сама переворачивается. Растет не по дням, а по часам, девочка растет, ее Таней зовут.

— Ну что устался? — Отматфеян это сказал посетителю. Тот зашел в комнату и встал, как пень.

— Осматриваю.

— Тридцать копеек давай. За осмотр платить полагается.

— Так недействующий.

Ошибся посетитель. Действующий. "Видишь, кровать стоит, девушка спит на лежаке, эта девушка всегда и везде спит, она, так сказать, спящая красавица". Ушел и тридцать копеек не дал, ему самому надо. А нам не надо. На нас просто так можно придти и посмотреть, вся жизнь на виду. Могут оштрафовать за акт при скоплении народа, а народ не оштрафуют за то, что он скопился как раз в том месте, где производят акт. Девочка кричит, ее Аней зовут; заткнуть уши вороньим криком, жалко, что тут не поют соловьи. Народу, как грязи, как говорит наш общий друг. Если с каждого собрать по тридцать копеек, то можно пообедать, а если каждый день собирать, то каждый день можно обедать, а если есть не хочется, то можно откладывать. Но есть каждый день хочется, поэтому откладывать нечего, и тридцать копеек никто не дает, поэтому есть нечего. Питаемся святым духом. А девочка все равно прибавляет в весе, ее Катей зовут, за счет нашего веса, который убывает. Живем при таком строе, при котором все хорошо: идет радиоактивный дождь, а все хорошо; птички над нами пролетят, над Финляндией помрут, а все хорошо; помидоры соберут, привезут и выбросят, и хлеб выбросят, и картошку, а колбасу не выбросят, потому что ее даже не привезут. Все, что само растет хорошо, то выбрасываем, а все что самим надо делать, делаем плохо, зато все у нас хорошо. Сидим на шее. Погибали люди, у которых жена была б..., а не научный работник. У Пушкина была б..., у Блока б..., а у Достоевского — научный работник и у Толстого — научный работник. Как будем вести хозяйство, какую рыбу будем ловить, в какой реке? Нельзя строить жизнь, исходя из того, что "увидимся на той неделе на пять минут". Это на той неделе пяти минут было мало, а так целые недели некуда девать. О чем люди друг с другом говорят? Об общих знакомых, об ужине, о кино, о книж-

ках — редко, о солнце — никогда, если оно не "погода".
Общих знакомых нет, ужина — нет, кино — нет, солнца — нет. Что нас связывает? Одно дело, "это дело", которое мы никак не можем довести до конца. Как же все светит, греет, зеленеет, когда мы к "этому делу" стремимся, когда дверь закрыта и телефон не отвечает, и есть дела, которые на "это дело" не оставляют времени. Тогда пусть "этим делом" природа займется, доделает за нас то, что мы сами не можем доделать. Ведь выросли на стенах дворца кустики и березки, и стало лучше, так пусть "это дело" солнышко пригреет, дождик его польет, где гром, где молния, а мы будем только подставлять, где руки, где голову, где что надо и даже будем разговаривать: "А теперь тебе плохо, ты бы хотел, чтобы я ушла?" — "Почему?" — "После того, как дело сделано?" — "Почему?" — "Вылечу в одну секунду!" — вот когда нужны крылья, чтобы уже на лестнице в подъезде приземлиться, и там одеться, и там же перышки расправить.

"Я тебя выставлю отсюда с ребенком, с кроваткой и весами, ты у меня будешь жить одна, чтобы духу тут твоего не было, в оперном театре, будешь стучать в дверь, которой нет, разобьешь стекло, которого нет, и я тебя впущу, я тебе ничего не разрешу, я тебе не разрешу все, посажу тебя к себе на шею, ты будешь у меня сидеть до пятидесяти лет, пока девочка не подрастет, ее Машей зовут, потом ты пересядешь к ней, она будет переводчицей, переводы, это что? источник дохода? Вот для чего развалилась Вавилонская башня, чтобы переводить стихи по пятьдесят строчек в день, по полтиннику за строчку — с узбекского на русский, с грузинского на русский, а ты у меня будешь заниматься "этим делом" и никаким другим делом ты у меня заниматься не будешь, ты у меня пойдешь отсюда по такой красивой улице, как в Англии, но только грязной, а навстречу тебе собака плохой породы, но главное, чтобы "она человек была хороший". Отматфеян затряс дерево, и сухие пеленки попадали, а мокрые застряли. Он переложил девочку из кроватки коляску и выкатил ее вон.

- Что ты делаешь?
- Уходи.
- Почему?
- Уйди, Сана.
- Почему?
- Уйдешь ты или нет!
- Почему?

Отматфеян навалился, он стал выталкивать Сану в проход без двери, но дверь не пускала.

— Скажи, почему? Ты меня любишь?

— Страшно!

— Тогда почему?

Есть и другие дети и другие жены, как и другие деньги, которых нет. Нельзя со всем этим жить, но надо хотя бы навещать раз в семьдесят шесть лет, как нас навещает комета Галлея, которая с нами развелась, у нас с ней разные фамилии и разная прописка, и мы живем в разных местах.

— Но ведь я тебя...

— А как я тебя!

— Даже если бы ты был мне собакой, я тебя...

— И я тебя!

— Даже если бы ты был мне...

— И я тебя!

Тогда их нужно убивать, других жен и мужей, нужно истреблять, раз мы не можем их навещать раз в семьдесят шесть лет, и, если они пойдут на нас войной, мы будем безжалостны.

— Ты ведь только меня?.. — спросил.

— Больше никого!

— И я только тебя.

— Я думала, что когда ты узнаешь, как я тебя, то ты уже не будешь меня так сильно, как я тебя.

— Еще больше!

Потому что нашим женам и мужьям только разреши сделать один шаг из нашего с ними прошлого в наше настоящее, как они тут как тут каждый день в нашем настоящем со своей яичницей, брюками, которые малы, дырками, театрами, праздниками, выходными днями и вечерами; все у них отнять! все жалко, все наше не дам, отдайте мои игрушки!

— А теперь уходи! — сказал.

— Почему?

— Не только из-за них, но даже из-за нас. Мы, конечно, друг друга... ты меня... и я тебя жутко! Но как только мы вместе, нас меньше, чем когда мы отдельно, и нас больше.

Когда мы вместе — нас один, а когда мы отдельно — нас два, даже четыре, потому что у тебя — нас двое и у меня — нас двое.

— А на что я буду жить?

— Это другой разговор.

Всегда мужу есть на что жить, и даже остается для жены, которой всегда жить не на что.

— Пошел ты, знаешь куда! Никуда отсюда не уйду.

— Тогда я сам уйду.

— Но ведь ты же меня...

— Я тебя так, как никого никогда. А если бы я тебя меньше...

— И куда же ты пойдешь жить?

— Тут рядом, в оперный театр.

Отматфеян не стал собирать чемодан, не выкорчевал ни одного пня, не взял с собой ни одного деревца. Он ей оставил все: кусты, листья, надписи на стенах, он не унес с собой ни одной канавки, он был благодороден.

В Пушкинском музее идет выставка, на которую не попасть, потому что там маленький гардероб. Пальто приходит столько же, сколько людей, но люди вмещаются, а пальто — нет, значит, выставки нужно открывать только летом, когда люди приходят без пальто.

Чящяжышын выполз из своей комнаты на своих двоих, которые, может, были и не его.

— Чего это с ним? — спросил Чящяжышын Сану.

— С ним то, что не с тобой и не со мной, — ответила.

Отматфеян тот, кто один за всех, а мы не те, кто все за одного. Он тот, кто будет нас поить и кормить, а мы те, кто встанем из-за стола и скажем спасибо. Почему все именно так? Разве Отматфеян убил или украл или не почитал отца и мать? Тогда почему же Чящяжышын живет как птица небесная: не сеет, не жнет, а Отматфеян чем хуже? Но это он должен зарабатывать на жизнь — собирать с посетителей по тридцать копеек, а их сюда приходит даже меньше, чем в пушкинский музей пальто, потому что здесь нет гардероба.

Живем мы напротив друг друга. И будем так жить, пока дворец не достроят и оперный театр не развалится. Смотрим друг на друга через окно, разговариваем через дверь: "Я на все способна, я тебя так ненавижу, я ради этого все бросила, чтобы жить в этой дыре и встречаться — где? У тебя на бороде". — "А мне хорошо, да? Я месячного ребенка бросил, чтобы жить среди дерьма и костров, почему?" Потому что одному хуже, чем вдвоем, а вдвоем хуже некуда. Если есть такой человек, с которым можно жить вдвоем (Чящяжышын не считается), покажите мне его, приду и буду жить. Нет такого, значит, мы будем встречаться. И встречаться не будем. То есть мы не будем встречаться каждый день. Мы каждый у

себя будем ходить из сортира в ванную, из ванной в сортир, чтобы мама не догадалась, чтобы друг не заметил. Мы будем себя доводить до того, что каждый день будем доводить до того, чтобы в этот день уже ничего не было и не могло быть. Чтобы каждый день могло быть в другой день. И если в этот день я захочу больше, чем ты, ты будешь беспощаден ко мне, так же как и я буду беспощадна к тебе, если в этот день ты захочешь больше, чем я. Но если в этот день мы вместе захотим больше, чем мы, вместе взятые в отдельности, мы будем, как беспомощные сосиски, мы себе позволим друг друга и расплатимся за это на следующий день, когда каждый будет себе возвращать себя, мы оба победили, потому что оба проиграли, потому что победа равна проигрышу.

Были герои в мировой литературе, которые так сильно любили друг друга, что преодолевали препятствия, чтобы друг с другом быть. Препятствия такие: папа с мамой не велят, денег нет, жить негде. Все эти препятствия мы преодолели, и, хотя мама с папой так и не велят, денег так и нет и жить негде, мы все-таки живем и преодолеваем свои препятствия, чтобы друг с другом не быть. А ведь мы любим друг друга не меньше, чем Ромео и Джульетта, у них просто до этого не дошло, и у Отелло с Дездемоной до этого не дошло, хотя, если бы он ее не задушил, то, может быть, и дошло, и у Татьяны с Онегиным, может быть, дошло, если бы она изменила мужу, но она не изменила, но он ее задушил, но они отравились, а мы живы, и нам надо пить, есть, любить.

— Я живой человек, я тебя полюбила.

— Как меня можно любить, когда я живой человек?

Живой человек, конечно, может любить, но не живого человека.

— А живого, да или нет?

— Да, если его нет.

Где его нет? Отматфеян "нет" в оперном театре, где поют птицы. Девочка не поет. Почему не мелодия, а крик? Будет петь, когда научится говорить. Значит, сначала слово, а потом мелодия, и птицы знают слова, и поэтому поют. Теперь понятно, почему в опере не разберешь слов, потому что и у птиц не разберешь слов.

Времени даже не хватит, чтобы оно могло остаться. Мы будем голодные и злые на то, что вокруг люди, которые все делают быстро и хорошо. Но все, что у них быстро и хорошо, оборачивается тем, что у нас медленно и плохо, а само собой это будет быстро и хорошо. Сана

не будет быстро вскакивать, чтобы быстро девочку покормить и быстро ее гулять выкатить, чтобы быстро ее обратно прикатить и быстро покормить, и быстро спать уложить, чтобы она быстрее сидела, быстрее ходила, быстрее жила; нет, Сана будет в оперном театре валяться в постели с Отматфеяном, пока девочка кричит во дворце, и будет есть быстро и хорошо.

— Кто-то сюда идет, — сказала Сана.

— Кажется, моя жена, — ответил Отматфеян.

Оказывается, у него есть жена. По крайней мере, была. А Сана ничего не знала, нет, знала, но забыла. И он знал, но забыл. Но это всегда позразумевалось.

Спрячешься в шкаф, когда она войдет, — сказал.

В шкафу уже сидит. Она же и сидит в шкафу, прячется от предыдущей жены, которая тоже там сидит и прячется от предыдущей, и каждая выскакивает и убивает последующую. Нет, Сана не будет прятаться в шкафу, она их всех сразу закроет в шкафу, чтобы они все сразу задохнулись, чтобы они передушили там друг друга, а потом задохнулись или сначала задохнулись, а потом передушили.

— Давай отсюда в окно, это точно она, — сказал.

Сейчас она будет здесь. Когда она будет здесь, Сана будет за окном, потому что когда в дверь входит каждая предыдущая жена, каждая последующая выходит через окно. Вошла. Вышла.

Деревья шумят. Они сами выросли, но так, как были задуманы: аллея, просека, одно дерево, ряд деревьев. В отличие от дворца, который тоже был задуман (фундамент, стены, арка, анфилады), но сам не вырос, но все-таки попрос: природа включилась в работу, разбросав на стенах "то березку, то рябину", она из новой вещи, в которой неловко показаться, сделала старую и любимую: протирки на коленках, мы будем частью природы, когда потихоньку будем ходить к солдатам и сажать кустики там, где они их вырвали. И ветер, и дождь будут ходить с нами: они будут бить стекла и заливать пол. Они будут нашими союзниками.

Мы каждый раз сегодня начнем с того, что завтра начнем работать. Чаяшьяшын пьет чай, даже нечем размешать: ложка в каше, а палец — в ж..., и стихи пишет. Поэтическая форма дана, чтобы лучше усвоить информацию: что жизнь — дар напрасный и случайный, что на свете счастья нет, а есть покой и воля, что были люди в наше время, что на берегу пустынных волн стоял

он, дум великих полн, и чем лучше сказано о том, что было, тем значительнее становится то, что было, потому что слово больше события. Но у Чящяжышына нет события, равного слову, так же как и у слова нет события, равного Чящяжышыну. Чящяжышын знает слова, которыми можно есть, спать, умываться, но он не знает слов, которыми можно видеть и слышать: "Скажите, что я должен увидеть на этой картине?" — и, хотя Чящяжышын хочет писать стихи, стихи не хотят писать его. И они идут к другим: к Сане, но у нее "белье надо постирать и девочку уложить"; к Отматфеяну, но у него магазин скоро закроют и карандаш как раз сломался; к спящей красавице, чтобы выспаться к следующему разу.

Приятно, что у нас четыре времени года, а не два и не одно, как у некоторых, и приятно, что они нам даются без усилий, потому что неохота солнце за руку водить, чтобы оно ниже зенита проходило, листья за уши тянуть, чтобы они из почек вылезли, — само как надо пройдет, сами вылезут. А мы будем любоваться. Потому что нельзя любить то, чего так сильно добиваешься, но солнце само встанет и само сядет, и не надо вставать в шесть часов утра, чтобы его поднять, а потом пилить в другой конец города, чтобы его посадить. Все нравится, все вещи сами по себе хороши: и то, что ты ко мне приедешь, и то, что я к тебе приеду, не нравится только порядок вещей: что тебя в это время дома не будет. И то, что зима сменит осень, только ее в это время не будет, потому что снега не будет и мороза, зато мороз будет летом, которое будет плохое, как осень, хорошая, как зима. Тогда надо договариваться, чтобы точно быть на месте: от и до. Чтобы точно осень была на месте: от и до. Ровно три месяца и не больше. А потом зима: чтобы ее не ждать и не звонить перед выходом, и не топтаться у двери, записку не писать тушью для ресниц: что, мол, была, когда тебя не было. А за ней лето: от и до; вчера вечером договорились, а утро оно тут как тут, прямо в постели, не раньше и не позже, а вовремя, как договорились, тоска. Одна тоска от такого порядка. Пусть лучше будет как есть, даже если и ничего нет: ты приедешь, а меня в это время не будет, хотя должна быть, весной, которой в это время не будет, должна быть. Тоже не нравится. "А чего ты, собственно, хочешь?" Порядка в беспорядке: случайно заехать, а ты как раз дома. Выглянуть летом из окна, а там как раз лето. Мало. Но здесь дело не в порядке, а в частоте: хочется так же, но чаще, значит,

хочется так всегда: как раз заехать, а ты как раз дома, но это может быть только раз, а раз — не может быть всегда из-за несогласия порядка и частоты, поэтому выглянешь летом из окна, а там выходной день.

Когда увидимся? В любой день, но только не сегодня. Значит, завтра? Но когда завтра становится сегодня, оно переносится на завтра. Увидимся в воскресенье, которое за понедельник, в шесть часов, которые за девять, при дожде, который идет за снег, который обещали. Звонит телефон, который бы точно позвонил, если бы он был. Молчат.

— Мне кто-нибудь звонил? — спросила Сана Чяцзяжышына.

— Кто-то молчал.

Есть такая форма общения — молчание по телефону. Всегда знаешь, кто молчит кто. Промолчат целый день, а к вечеру придут. Нет, чтобы предупредить, то есть предупредить да. Пришел без звонка, Аввакум пришел. Чтобы сразу придти, увидеть, победить. Зачем ему предупредить, он муж. А чего тут приходиться, чего видеть, кого побеждать? Чяцзяжышына? "Да, вот мы так живем, Чяцзяжышын — сосед, он в той комнате, а мы с девочкой — в той, а спящая красавица — в этой". — "А этот где?" — "А этот с нами не живет, он в оперном театре живет со своей женой, можешь посмотреть". — "Так ты для этого от меня ушла, чтобы от него уйти?" — "Для этого". — "Я тут наведу порядок". Муж — тот, кто придет и наведет порядок, чтобы по заведенному порядку жить, как надо, чтобы Венера не путалась на горизонте, а вращалась вместе с землей и с другими, как надо, муж — тот, кто будет есть суп, да, даже если его есть нет.

Чяцзяжышын отошел пока в сторону почитать, пока они разберутся. Чяцзяжышын Шекспира не читает и Байрона. Пушкин у нас прочитал и Шекспира, и Байрона. Но Чяцзяжышын и Пушкина не читает, он читает того писателя, который Пушкина прочитал, а значит, действуя по пути наименьшего сопротивления, Чяцзяжышын прочитал и Шекспира, и Байрона, и Пушкина. — Уже крышу кладут, — сказал Аввакум Сане, — уже в том отсеке положили.

— Слышишь, — сказала Сана Чяцзяжышыну, — пора крышу ломать, уже в том отсеке положили.

— Слышу, — сказал Чяцзяжышын.

— Нужно сейчас идти, — сказал Аввакум.

— Сейчас пойдем, — ответила.

- Когда сейчас? — спросил Чящяжышын.
- Завтра сейчас, — разозлился Аввакум.

Когда спрашивают: "когда сейчас?" — о чем идет речь? Она идет всего-навсего о моменте, у которого есть свои предпосылки, который сбывается в тот момент, когда летом наступает лето и почти все блочные дома улетают вместе с тополиным пухом навсегда, до первого дождя, который быстро приводит в чувство, прибавляет пух к земле, дома к фундаменту и делает из пуха сырой матрас, на котором еще сто лет можно так лежать и назначать свидание: "давай тогда завтра", — "уже сегодня было завтра", — "тогда когда?", когда сейчас этот пух, который вообще-то никто не любит, был таким необыкновенным, так сильно он был любим, был ужасно хорошим, прекрасно хорошим.

- А их там много? — спросила Сана.
- Кого?
- Солдат.

Их там много, солдат хватает, у них там теплушка и приходит подкрепление. Они каждый день, а не "завтра сейчас" ломают наше, чтобы построить свое. Но ведь Екатерина же сказала: "Не надо строить", по-русски же сказала, не надо класть крышу. А они строят и кладут. Но раз уж она Баженову не дала положить крышу, то какого, спрашивается, они-то? Чего они-то тут ползают, кто они-то такие, чтобы класть крышу? Только природа, только она способна доделать то, что не дали сделать человеку, то, что он хотел сделать, потому что бывает такой человек, который, например, способен построить город там, где природа не хотела, на болоте, например, а он захотел и построил, но природа на него не работает, дай ей время, и она опять сделает из его города свое болото, и мраморные кочки будут просто кочками; она на другого человека работает, на того, кто ее не насиловал, березки за косички не выдирал, этот человек ей не помешал со своим дворцом, и природа работает на него, сама за него достроит, без солдат.

- Надо идти, — сказал Аввакум.
- Да ты, парень, не торопись. Кто нас в бой поведет?
- сказал ему Чящяжышын.
- Что? — спросил Аввакум.
- Кто? — спросил Чящяжышын.

А правда, кто? Ясное дело, кто. Нас месячная стихия поведет, она из нас самая сильная. Если бы тебе нужно было в тридцать лет научиться голову держать, ты бы

не научился, и на живот бы не научился переворачиваться, ни сидеть, ни ходить, не говоря о том, что говорить, да и не родился бы ты в тридцать лет, завалил бы ты это все дело с рождением, застрял бы где-нибудь в трубах, и привет. "Что значит "привет?" А то и значит, что девочка нас поведет в бой, как самая старшая, раз она позже всех, и выносливая, она из нас ближе всего стоит к природе, а Аввакум, например, стоит дальше, чем Сана, а Чяцяжышын еще дальше.

— А может, вы пока на разведку, — сказала Сана, — а я пока с девочкой побуду?

— Это можно, — сказал Чяцяжышын.

Разгуляется — не разгуляется? "Если не разгуляется, то тогда у меня на свидание час, а если у тебя полчаса, то тогда у меня пятнадцать минут, а если у тебя пятнадцать минут, то тогда у меня пять минут". — "За пять минут не успеем". — "Смотря что, а если у тебя тоже пять минут, то тогда пошел ты, знаешь куда!" — "Ну куда?" Разгулялась, значит — ни минуты. Из одной соски захлебывается, из другой устает сосать. Почему не делают нормальные, стандартные? И на улице разгулялось: солнце ест хорошо и не плачет, и не писает, это дождь пописает, а ветер подсушит, и не обязательно присутствие человека. "Лучше ты ко мне приходи, они ушли на разведку". — "Лучше ты ко мне, она ушла в магазин". — "И когда придет?" И когда давно один историк описывал одного императора, он описал коня как неотъемлемую часть туловища императора, даже глазки коня описал и хвост. И когда Сана пойдет к Отматфеяну, она пойдет с девочкой внутри как с неотъемлемой частью своего туловища, а поскольку девочка имеет снаружи: и кровать, и ванну, и коляску, и весы, — Сана пойдет с кроватью и коляской внутри, и с углом, где ее поставить, и с аллеей, где ее катать. Тяжело. "Мне тяжелее, лучше ко мне". Отматфеян придет налегке, он даже туловище с собой не возьмет, он его оставит своему коню. Он только возьмет быстро часть туловища, без чего нельзя обойтись. А когда вернется его жена из магазина, она найдет часть туловища Отматфеяна без одной части, а он сможет легко оправдаться, скажет, что отдал в хорошие руки, а сам пошел по делам. Да, в день свидания мы каждый раз откажемся от свидания раз и навсегда, чтобы это свидание было в последний раз, а чтобы его уже никогда не могло быть завтра, у нас сегодня будет три сегодня сразу, и мы изведем друг друга так, как в

последний раз; раз уж ничего больше не будет никогда, мы все скажем сразу друг другу и сделаем все сразу раз и навсегда, ведь это ты звонишь в дверь, когда ты сидишь напротив меня, ты ломишься и стучишь ботинками в дверь, чтобы меня проверить, где я, с кем я, ты сидишь напротив, и это ты звонишь условным звонком в дверь, чтобы я тебе не открыла, чтобы ты позвонил по телефону условным звонком, а не молчал три раза, а на четвертый сказал "але", это ты сидишь напротив меня и ломишься ко мне в дверь, чтобы я изобразила, что меня нет дома, когда я есть прямо перед тобой, и нечего мне звонить, когда ты сидишь напротив меня. И ты по дороге ко мне уже сделал то, что я сделала по дороге к тебе. И нам нечего делать вместе то, что мы сделали вместе, когда было отдельно, тогда зачем мы вместе сейчас? Чтобы убедиться в достоверности того, что мы существуем вместе, когда мы отдельно; нет! все, что было сказано выше, намного меньше того, что будет сказано ниже, потому что вместе нам в сто раз больше есть что делать друг с другом: нам, во-первых, есть что делать с каждым в отдельности, потом нам есть что делать с нами, взятыми нами вместе, отданными каждому из нас в отдельности. Мы вертимся, как белки в колесе, чтобы успеть все сразу, чтобы не обидеть каждого из нас и нас, вместе взятых. И вот именно потому, что нам так много есть что делать, когда мы вместе друг с другом, и так мало есть что делать, когда мы отдельно друг от друга, и, чтобы привести в равновесие два эти положения, мы так мало должны быть вместе друг с другом и так много должны быть отдельно друг от друга. А выйти из равновесия, это, значит, к большему добавить большее и к меньшему добавить меньшее. И чтобы нам опять вернуться в равновесие, нам нужно к малому, которое мы представляем из себя, когда мы отдельно друг от друга, добавить большее, то, что мы представляем из себя, когда мы вместе друг с другом, и, чтобы не выйти из равновесия, нам нельзя к большему, которое мы представляем из себя сегодня, когда мы вместе, добавить снова большее, которое мы представляли бы из себя завтра, если бы снова были вместе, нам только можно отнять от сегодняшнего большего самое меньшее, что будет у нас завтра, когда нас вместе не будет, чтобы сохранить равновесие.

Скоро они вернутся сюда, его жена вернется туда, и

все так и будет туда-сюда, пока мы не покончим с этим раз и навсегда. Нужно девочку собирать, готовить к бою месячную стихию, собрать в дорогу ее крик, гром и молнию. Чящяжышыну нравится интерьер. Ему охота комнаты в порядок привести. Чтобы елки росли не как елки-палки, а чтобы, главное, ровно. Он хочет, чтобы то, что Екатерина не дала доделать Баженову, то, что природа за него доделала, чтобы он, Чящяжышын, за природу доделал. Не нравится ему, как кусты проросли, потому что неаккуратно — надо подстричь, и травку побрить, и березкам руки-ноги вправить, полить, почистить, кустики где примять, где выщипать, где надо, и тогда уже за это ровненькое и аккуратненькое с солдатами драться: чтобы березки ровно на стенах росли и чтобы между тремя березками ровно по пять цветочков, за это можно и побороться, а так за что? За то, что эти чахлые сосенки на полу вкривь и вкось, и кусты, кто в лес, кто по дрова, и никакая месячная стихия тут не нужна, ее, стихию, лучше в кроватку уложить, тут не дождем нужно бороться, а шлангом и лейкой, и ту крышу, которую солдаты уже положили, можно, конечно, сломать, но не дать стихии ее развалить, а аккуратно убрать и, если Сане так нравятся проросшие на стенах березки, посадить саженцы и они ровно вырастут. Стихия точно знает дождь и гром, для нее естественно точно знать, ее не одолевают сомнения, а такому большому, как Чящяжышын, надо быть дебилом, чтобы точно знать, что делать, не сомневаться и радоваться сделанному, но каким же надо быть Чящяжышыным, чтобы точно знать, что делать, не сомневаться и радоваться сделанному, и не быть при этом дебилом? Кто достоин уважения? Кто занимается своим делом и делает свое дело хорошо. Из нас всех только месячная стихия достойна уважения: она растет и растет хорошо. У нее растет зрение и слух, и вкус. "А вот ты можешь представить себе другие органы чувств, кроме тех, что у тебя есть?" Нет. И земля, на которую не направлены во все глаза — уши, глаза, язык, нюх, и есть мерзость запустения, и человек на земле необходим, потому что без него некому сказать, что на земле есть. И тот, кто отказывается глазеть по сторонам, наострять уши, вынюхивать, — ненормальный, потому что других органов у него нет! и пусть он располагает только тем, что у него есть, чтобы оценить то, что вокруг есть. А Отматфеян окопался в оперном

театре, сидит там и собирает на жизнь по тридцать копеек и пишет стихи о том, как ему не дают делать то, что он все равно делать бы не стал, даже если бы и дали.

"Как хорошо выйти и посмотреть на солнце". Выходи и смотри, кто не дает? Он сам себе не дает. Он живет и растет так в своей дыре, как если бы человек на земле не подразумевался, и любая красота была бы не для красоты, и некому было бы сказать: "Как красиво"; он сам исключил себя. Под человеком он подразумевает себя, но под собой он не подразумевает того, кто может оценить. А эти ценители красоты живут во дворце, хотя дворец так построен, что человек в нем не подразумевается как таковой. Но Чящяжышын, как таковой, свою комнату побрил и подстриг, и шланг провел — поправил красоту, а Аввакум повесил на стенку картину, на которой красиво нарисована красота, которую он, как таковой, оценил, а Сана употребляет солнечный свет для загара и дождь для умывания, потому что она женщина как таковая и знает, что для чего растет и что для чего светит, и греет. И только месячная стихия знает свет как таковой, дождь как таковой, она от них растет, и от мороза и солнца она — день чудесный.

Уже идут или слышалось? "Ты меня любишь в этот момент?" — "Да". — Да или слышалось? А если бы ты сказал "нет", слышалось бы, что "да"? Все равно бы слышалось. Все равно что, слышалось бы что да. Все слова в этот момент равны в своем значении слову "да". Они теряют свою самостоятельность, у них появляется совершенно иная функция, вспомогательная, они становятся "бог в помощь вам". Они совершенно бессмысленны, если взять их отвлеченно, потому что они не имеют прежнего значения, они выступают только как утверждение и только. И белка, и ласточка, и зайчик, и... — это все "да". И ненавижу, и обожаю, и... — это все "да". И только когда ты отвечаешь "да", кажется, что слышалось, потому что "да" стоит именно в своем значении и относится именно к своему моменту — режет слух. И ты спросишь меня: "Ты любишь меня в этот момент?" — и скажешь: "скажи да". — "Нет", — скажу. — "Я знал, что да", — скажешь. — "Да", — скажу. — "Да или слышалось?" — "Слышалось".

Мы все вместе защищаем дворец, но у всех нас разные "потому что". Аввакум, потому что дворец лучше такой, как есть, чем хуже такой, как будет, лучше его

законсервировать, закатать, а не пачкать цементом и противопожарными плакатами; Чящяжышын, потому что лучше такой, как будет у него, чем хуже такой, как будет у солдат, лучше с чистым воздухом над травкой на стенах, вымытых со стиральным порошком, а мы, потому что у нас лучше, чем есть, ничего лучшего не будет, потому что не будет никогда. Мы, конечно, не будем встречаться во дворце и нигде, но мы не будем встречаться с такой страстью каждый раз и по нескольку раз в день, и не потому что негде; раньше было негде, когда была квартира, которая была для этого не приспособлена, а сейчас тридцать комнат и все проходные. Можно начать сейчас, а кончить в двухтысячном году, когда Чящяжышын все кустики подровняет, когда пеленки просохнут ко второму пришествию, можно сидя, стоя, в любом месте, можно бегом или бегом на месте... пришли.

Аввакум, как только пришел с разведки, как к себе домой, сразу расселся, как у себя дома, а Чящяжышын тоже не у себя — все вместе, все в одной комнате — в проходной, где кроватка стоит, где стихия спит. Чящяжышын навел у себя порядок, на своей территории, и там лучше не ходить, не сидеть, грязь не носить, ноги вытирать, а здесь можно ноги не вытирать, тряпки нет, зато всегда яичница есть, которую всегда хочется есть. — А мне не хочется, — сказала Сана, — больше двух яиц не усваивается.

— У меня три усваивается, — сказал Аввакум, — три раза в день.

У Чящяжышына суп усваивается, которого нет, который на стороне есть.

— Ну что? — спросила Сана.

— Сейчас поедим и будем наступать, — сказал Аввакум,

— сегодня вечером, когда стемнеет, ночью, сейчас поздно темнеет.

Значит, утром, когда совсем стемнеет, пока не рассветет, сейчас рано светает.

— Ты прожуй, а потом говори, — сказала Сана.

Аввакум уже в завтрак все прожевал, поэтому в обед нечего говорить.

— Завтра будем наступать, — сказал Аввакум, — сразу после завтрака, чуть-чуть передохнем, чтобы не на полный желудок, чтобы усвоилось.

— У кого это полный желудок? — сказал Чящяжышын,

— я считаю, что лучше сегодня, как только поедим,

чтобы с полными силами, пока они есть, а не когда стемнеет, когда сил не будет.

— Так когда же? — не выдержала Сана.

— А тебе что, до смерти хочется? — спросил Чяцяжышын.

— Мне вообще хочется, — ответила.

До смерти писателей, которые умирают не вообще, как все люди, а только в период между съездами, которые проводятся раз в пять лет, чтобы почтить их память между трех сосен.

— Сказал, что пойдем сегодня, — сказал Аввакум.

— Отматфеян тоже хотел, — сказал Чяцяжышын, — я ему пойду скажу, чтобы у нас больше было сил, а то солдат больше.

Чяцяжышын только за дверь, Аввакум сразу же с ножом к горлу:

— А правда же, там, где мы были, было хорошо?

— Где?

— Когда мы в летнем саду сидели.

— Когда?

— Там, где мы сидели, где плавали лебеди.

— Где?

— Когда еще все было хорошо, в первый день, когда мы приехали.

— Когда?

— Там, где ты сказал: "Хорошо, что мы здесь сейчас".

— Где?

— Когда у нас было по два пирожка и мы их ели на скамейке, а потом пошли.

— Когда?

— Там, где ты сказал: "Хорошо бы так было всегда".

— Когда где я сказала?

— Давай вернемся туда.

Да, чтобы в ящике жить, чтобы от мороза спрятаться, а летом стоять у всех на виду и улыбаться всем подряд, а к тебе будут экскурсию подводить: "Статуя Сладострастие. Аллегорическое изображение сладострастия в виде молодой улыбающейся женщины с куропаткой на груди и крокодилом у ног, неизвестный скульптор". Неизвестно кто, чтобы с тебя тряпкой пыль смахивали, а потом нос отбили, спасибо.

— Зато там мы были бы вместе, — сказал Аввакум.

Да, сначала вместе будем в ящике жить — зимой, а потом будем стоять в виде Сатурна и Вакханки — летом,

пока нас в милицию не заберут — летом, тоже неизвестный скульптор.

А девочка все спит, как же мы ее назвали? И есть не просит, и не помнит, "где когда". И совсем нас не любит. Ей и папа — мама, и дядя — мама, и "мороз и солнце" — мама, и ей все равно, кому она "день чудесный". Как бы хотелось также. "Ты меня любишь?" — "Я тебя люблю". Три знака: я, тебя, люблю. Третий — лишний. Как бы хотелось, как стихия: я люблю все равно в тебе что: ты мне папа и мама, и "мороз и солнце", а я тебе все равно "день чудесный", потому что "люблю" относится к "я" и не относится к "тебя". А что стихия? Спит. Проснется — увидит нас. А кто мы ей? Движущиеся предметы. У нас даже нет названия, как у всех остальных предметов. Просто движущиеся. И мама — движущийся предмет, и ветка. Так же заинтересуется мамой, как и веткой. Нас нельзя съесть. Можно потрогать. Имени нет. Когда появится имя, уже будем не мы. И мы, безымянные движущиеся предметы, даже не молоко и не кефирчик, слоняемся вокруг в настоящий момент. Как он невыносим и противен, он требует активности от нас, соучастия, мы должны помнить о том, что этот настоящий момент — настоящий. А мы хотим, чтобы этот настоящий момент быстрее в прошлое свалил, стараясь не иметь в виду, что слово "настоящий" вмещает в себя два значения одновременно: настоящий — в значении времени (напр.: в настоящую секунду) и настоящий в значении положительного качества (напр.: настоящий человек). И от такого настоящего-пренастоящего можно завывать, потому что оно наступает из будущего и не дает осмыслить себя в настоящем, а только когда становится прошлым. Это отвратительное "сейчас", к которому всегда сейчас не готов, к которому вчера был готов и завтра будешь готов, а сейчас голова грязная и болит, и штаны мятые. Нет, во что бы то ни стало справиться с настоящим моментом. Быстро — под душ, штаны — под душ, запить таблетку пенталгина. Вот, это сейчас! Давайте же будем готовиться к нему в следующий раз еще на прошлой неделе, чтобы оно не заставляло врасплох, чтобы как только идет настоящая, чтобы мы ее по-настоящему приняли со свежей головой, чтобы все запомнить: и где солнце стоит, и где за ним месяц стоит, и где за ним ты стоишь, вот эта настоящая секунда, как хороша! "продлись очарованье"! Но за ней опять настоящая, и опять

настоящая! И если можно собрать силы и внимание для одной настоящей, то уже для следующей сил нет, следующая так и валит в прошлое мимо настоящего, что и требовалось доказать.

Но ведь бывает и "щастье", которое бывает только в настоящем времени — "щас", в разговорной речи, когда совпадают транскрипции щастья-щас, и это счастье-счас останавливается прямо перед тобой, когда ты к нему не готовишься, за твоей спиной, чтобы не спугнуть своей воплощенностью, подставляя зрению и слуху все свое "щас", и ты видишь солнце, которое по-солнечному светит, и ветер по-ветренному дует, и человек по-человечески смотрит, и это есть то, как это называется: солнце, оно и есть солнце, ветер, он и есть ветер, человек, он и есть человек. А не так, как это называется, когда не "щас", когда одно, так себе воспоминание (поэтическое?): и солнце, как красна девица, прячется за стаю туч, которую гонит "ветер-ветер, ты могуч", и королевич Елисей скачет за своим "щастьем".

Чящяжыщын съел на стороне суп, который Отматфеяну жена сварила, которым он с другом поделился, и пришел сказать, что "щас".

— Он тебя "щас" ждет, иди, — сказал Чящяжыщын Сана.

— Когда? — переспросила.

— Щас.

В тысячу раз лучше то, что бывает "щас" пять минут, лучше того, что бывает завтра целую вечность. Лучше всего "щас" увидеться на пять минут, чем завтра на всю жизнь влюбиться и пожениться. Лучше всего то, что можно успеть сделать "щас" за пять минут, чем все осознать, что можно успеть завтра за всю жизнь.

— А как? — спросила Сана Чящяжышина.

— Сходи на пять минут, я тут как-нибудь.

Встретимся на пять минут, чтобы поговорить, о чем? "А правда, если бы мы жили на луне, мы бы, правда, жили вдвоем?" — "Правда". — "А правда, здесь нет и времени, и места?". — "Правда". — "Я вчера прочитала твои стихи, какие ты раньше писал, когда ты раньше был лучше и когда ты писал хуже. А теперь ты стал хуже и стал писать лучше". Был лучше кого, стал писать лучше кого? Ты сам и есть себе точка отсчета. Стал хуже себя. Стал писать лучше себя. Был лучше себя. Писал хуже себя. Получается, что в тебе (в себе) пишет художник, что в тебе (себе) есть, а лучшее не пишет. Худшее

из чего сделано? Правда, из лучшего, и оно пишет хорошо, когда вранье сделано из правды, ненавижу и обожаю: это пишет хорошо, а когда худшее сделано из худшего: вранье из вранья, ненавижу, это пишет плохо.

На всякий случай Сана позвонила Отматфеяну:

— Ну что, лучше "щас" или завтра? — спросила.

— Щас, — ответил.

"Так быстро я не могу, так долго я не могу". — "Тогда приходи так, как звонишь".

Конечно, было хорошо, и жалко, что об этом почти ничего нельзя сказать: здесь не может быть точности, потому что не может быть сравнения; с чем можно сравнить "щас"? Только с "щас", а значит, сравнить нельзя. Хотя некоторые предметы западают, и даже не самые главные, почему носовый платок и муха запали, почему ускользнуло окно, а про слова которые ускользнули, и нечего говорить. И только потом все запавшие предметы, теперь воображаемые, соотносятся потом с такой точностью между собой как воображаемая линия: горизонт с воображаемой точкой — зенитом, воображаемой линией — экватором и с трудом воображаемыми параллелями и меридианами. И в их соотношениях не может быть никакой замены, они находятся в полной гармонии, и им хорошо. "Господи, на кого ты меня оставил?" — это был не риторический вопрос. "Любите ли вы украинскую ночь?" — это был риторический вопрос, он не требовал ответа. А предыдущий вопрос требовал — на людей. Он сына своего оставил на людей, и что тогда говорить про девушку, про маму его сына, которую он оставил на ее мужа, на отчима ее сына, он даже сам не повез ее в Египет, а только сказал Иосифу Иаковичу, чтобы он вез ее в Египет, и даже не сам сказал, а через святого духа. И если он так поступал со своими близкими людьми, то что говорить про совсем чужих ему людей. Хотя к чужим людям он иногда относился лучше чем к близким, и сами люди иногда к чужим относятся лучше чем к близким. Кончилось "щас". Началось завтра, за ним будущая жизнь, за ней вечная жизнь. Тогда захотелось завтра, за будущую и за вечную — сразу. "Давай за завтра". — "Завтра будет за завтра". — "Давай "щас" за завтра, если завтра не будет". Невозможно наесться за будущую жизнь, возможно только "еще одну ложечку за папу и за маму". Сана вышла из себя. До нее не могло дойти, что "щас" не включает в себя завтра и через месяц, а до него это сразу дошло, и он был "щаслив", как все

счастливые семьи, которые похожи друг на друга, а она была "несчастлива", как каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Присутствовать в трех местах одновременно, кроме того места, где ты и есть. Вычислить траекторию полета, увидеть комнату: стол, кровать, и все то же самое с обратной стороны окна. Воспользоваться всеми синонимами того слова, которым обозначается то, чем мы занимаемся в комнате, кроме единственного нужного слова, потому что его нет в природе, в словарном запасе, на устах. "Я — это то же самое, когда меня нет с тобой и когда я есть?" — "Ты — та же". — "А то, что ты меня любишь, когда меня нет, точно так же, когда я есть, это правда?" — "Да". — "А я тебя, когда ты есть, больше, потому что ты, когда ты есть, лучше, чем когда тебя нет". — "А что ты интересно, делаешь со мной такое, чтобы я был хуже, когда меня нет?" — "Ты сам делаешь лучше то, что я делаю за тебя сама — хуже". — "Тогда я тебе запрещаю". — "А я буду. Потому что, если бы ты был лучше или даже то же самое, что ты есть, когда тебя со мной нет, то необязательно было бы стремиться к тебе, а так обязательно". — "Тогда почему же я к тебе, а стремлюсь так же?" — "Чтобы убедиться, что я без тебя и с тобой — это то же самое". — "А ты, чтобы убедиться, что я — это разное?" — "Да". Где настоящий момент? В настоящий момент мы говорим о прошлом или о будущем моменте. Мы говорим: ты делал то-то и то-то, ты будешь делать, когда я уйду, то-то и то-то. Мы вместе машинально делаем то, что ты делал отдельно, пока меня ждал, что я делала отдельно. Настоящий момент мы волочим туда, где есть подробности прошлого, где нет ни одной детали настоящего. Мы хотим сделать, как в тот раз или как можно будет сделать в следующий раз. Мы говорим о том, что было, или о том, что будет, в упор не видя того, что есть. Настоящий момент приобретет ценность, только когда станет прошлым моментом. И ряд положений: снизу, сверху — с птичьего полета, доказывает, что нет сейчас, а есть то, что было, пока ты меня ждал, есть то, что будет, когда снова будешь ждать. Как простые исполнители доводим до точки опоры то, что витало, бестленность наделяем плотью. Но тогда настоящий момент — и есть одни разговоры о прошлом и будущем моменте в настоящий момент. Вот, ты есть. И лучше всего закрыть глаза, чтобы тебя не обнаружить, тебя, с твоими физическими данными, не обнаружить

объект с твоей силой, запахом, теплом, чтобы обнаружить явное отсутствие тебя в природе, в углу, где ты стоишь, на рауте, на улице, в транспорте, и это под силу — отметить только контуры вместо объекта и силу вместо тела, не под силу вызвать тебя, когда тебя нет в комнате, со всей твоей материальностью, плотью, скотством, можно только вызвать твою силу, которую ты отпускаешь прогуляться, и воспользоваться ею, употребить ее для своих целей. И что же более реальное: сила, которая остается от тебя при твоём явном присутствии, или та же сила при твоём явном отсутствии? Одно и то же.

Воспользоваться и тем, и другим по усмотрению. Ну, что, не страшно, да, показаться другому человеку, когда стоишь на ушах и он смотрит на тебя сверху, снизу, сбоку и видит тебя всю вдоль и поперек? Все предметы нужны, они работают на нас, извлекаем из них их сущность, оставляя другим их названия. Одни глаголы. Наслаждаемся их действием. Мы спим кровать. Мы сидим стул. Этого мало. Заставляем предметы быть не самими собой, отказываем им в их первоначальной сущности, они все по нашему усмотрению, а мы по чьему-то образу и подобию. Преодолеваем гору, оставляя за спиной шкаф. Мало. И заставляем предметы употреблять нас по их усмотрению: яблоко нас ест, стакан воды нас пьет, и мы унижаемся до самых последних вещей, чтобы ботинки нас ходили. Мы боимся действия, которое предметы оказывают на нас, они боятся этого каждый день. И что же за этим есть? Пустота — другое качество предмета: осадок от кофе, туман от дождя, да хотя бы душа от человека. Божественное явление: круговорот вещей в природе, сначала кожезаменитель, потом ботинки, потом след от ботинок, сначала облако, потом дождь, потом туман, сначала отец, потом сын, потом дух — одновременно, своя закономерность. Мы два голых человека, и у нас нет пола: то, что ты делаешь со мной, я могу сделать с тобой, то, что я делаю с тобой, ты можешь сделать со мной, мы утратили половые признаки, как только скинули одежду, как только одежда скинула нас. Остается прикрыться полотенцем, полотенцу остается прикрыться нами. У нас не только нет пола, у нас нет и собственного лица. Партнеры: ты — любой и я — любая, загоняем друг друга. Приятна эта безликость. Все индивидуальное стирается с каждым приливом, и остается только общее — в принципе человек, который отличается от в

принципе кошки. Уже не отличается. Ты дрессированная кошка, на тебе трусы и блестящий похабный лифчик, в котором ты крутишься перед зрителем. Подстриженные ногти, которые отросли у бездомной сучки, которые подстригают у домашней. "А это у тебя что?" Это хобот и хвост. Еще панцирь, до черта копыт, жало, чтобы выпустить в тебя. А ты запьешь пивом. И только после того, как пиво тебя выпило, одежда надела на себя, мы приходим в себя, друг друга узнаем и отдаем себе отчет, что, слава богу, мы друг друга любим, я тебе — я, ты мне — ты, а не третий лишний. И мы ощупываем друг друга: хвоста нет, не прирос, хобот отвалился; слава богу, что на этот раз все обошлось, и мы — это просто ты и я. И после прилива тошноты и последнего допинга становится грустно от того, что непонятно, что же такое было сейчас, про что нельзя сказать, что это.

— Где Сана? — спросил Аввакум Чящяжышына, — девочка просыпается.

— Только "щас" здесь была, может, в той комнате.

Хорошо, когда тридцать комнат, когда из одной комнаты выйдешь и в другую войдешь, и потом еще в в сто комнат один раз войдешь, а не две комнаты, и сто раз из одной выйдешь, и сто раз в другую войдешь. Аввакум и так в сто комнат по сто раз вошел — и никого.

— Если ее здесь нет, я тебя убью, — сказал он Чящяжышину.

— Кого?

— Ты понял, урод! Назад! Куда в угол пошел? Это тебе не Версаль, чтобы в каждом углу очко.

— Тогда я в общественный пойду.

— Нет. Будешь терпеть.

— Вредно.

— Будешь.

— Ты что, совсем дурачок? — сказал Чящяжышын, — дурачок какой-то.

— Ты ее любишь?

— Да кого?

— Ее.

— Если она — твоя, то нет, а если его — да.

— А если своя?

— Женщина не может быть своя. Да пусти ты меня!

— А если она мамина и папина? — не унимался Аввакум.

— Тогда я ее маму и папу должен любить.

— А если она — дитя природы?

— Природу я не люблю. Пусти же!

Смотря что ему важно, тебе, если один раз у них было, то это не важно, может, у Солнца тоже с Венерой один раз было, а оно все равно с Землей, потому что оно ее любит, а не ее, потому что Сана его любит, а не его, потому что она с ним, а не с ним, а у них просто так, и у Солнца с Венерой просто так.

А если она любит и того и того, и здесь и та, и туда и сюда, если она каждого по-своему. Убить — это "по-своему", только по щучьему хотению! Что же будет, если каждый объект любить по-своему, субъект, исходя из качества объекта, так истощить любовь, всем поровну; нет, все — одному, а другому — ничего; только кто, тот один, которому все, и кто, тот другой, которому ничего? кто тот, не Байрон, а другой, которому все? Выходит, что опять Пушкин. Пушкину — все.

Аввакум был больше и лучше Чящяжышына, который был меньше и хуже. Девочка кричит, дочка, ее точно как-то зовут, будем наступать! У Аввакума руки связаны Чящяжышыном, а Чящяжышын связан по рукам и ногам Аввакумом.

— Через пять минут будем наступать.

— "Щас", через пять минут.

И тут "щас" вошла Сана через пять минут, которые потребовались, чтобы пять минут туда и пять обратно, и там пять минут, она никуда не выходила, она была в том конце дворца и, как только услышала крик, сразу прибежала, потому что она — мама, а мама всегда, как только услышит крик, сразу бежит, еще потому, что договорились; как только услышим крик, сразу наступаем, а как Аввакум ее звал, она не слышала, она там загорала в самой последней комнате, нет, не видела, как он туда заходил, нет, не в самой последней, а в проходной, которая чуть ближе сюда, которая оттуда чуть дальше — отмоталась!

Вот дистанция — она есть. Между рукой и ногой, между рукой и звездой. И рука учитывает расстояние, когда тянется к ноге, когда тянется к звезде. И рука успешно преодолевает колоссальное расстояние и спокойно дотягивается до ноги. Но хоть и звезда на таком же примерно расстоянии, как и нога, рука, видимо, не может нащупать ее. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Каждодневный опыт убеждает в том, что невозможно потрогать звезду так же, как ногу. Нет, месячная стихия не знает расстояния, не знает степени удаленности ноги и звезды, у нее нет опыта в видимо-невидимом. И она

отпускает руку со скоростью света, которая гоняется за ногой, которая убегает со скоростью света.

Будем наступать со стороны восхода с солнцем, пока оно не закатилось, мы закатимся с ним — к ним, стрелять по солдатам из пальца; это на персидском ковре висит серебряный кинжал, а на ширпотребном тоже висит холодное оружие, рогатка.

Мы будем наступать без мамы, без одной на всех нашей мамочки, она далеко от нас, в двух шагах, дома, и не знает, чем мы здесь занимаемся, у нас только одна мама, она русский человек, потому что только русский человек может быть мамой, а папа не может быть нашей мамой, потому что он — турок, сегодня здесь, завтра там, а мама всегда на месте, всегда здесь, рядом, умеет ходить на работу и варить суп, и не так, как чья-нибудь жена, которая на колесах варит суп, одно колесо здесь, другое там, потому что эта жена не русский человек, а русский человек всегда без колес, всегда на ногах, на своих двоих, и не нужно изучать муху, изучать наследственность по мухе, что тебе перешло от нее, что мне перешло, маме от нее ничего не перешло; этих мух орда на потолке, только маме от них ничего не перешло; они устроили мышиную возню, из-за них так обидеть любимого, как только можно, расчленив его до мозга костей, посмотреть, что у него там внутри, есть ли что-нибудь от мухи, так нельзя, они размножаются прямо на глазах, раз в день, лежа на животе, они улетают, как только наступает утро, туда, где в это время наступает ночь. Спать. "Я хочу спать". Так мы никогда не сдвинемся с места: сейчас спать, потом есть — три раза в день и спать каждую ночь и полчаса днем, наступаем каждый день и не продвинулись ни на шаг, едим в час по чайной ложке — то мало, то сыты. Нет, а может, нам хорошо, раз мы каждый день так живем и ничего не меняем, нет, нам плохо, и мы все изменим в жизни, но только не сегодня; сегодня мы поужинаем и ляжем спать, потому что все детки спят, все кошечки и собачки, все verge-ики спят, ручки и ножки, и мы будем спать, спокойной ночи.

Завтра будет утро. Опять утро, каждый день новая жизнь раз в жизни. И живот болит. Наешься с вечера грязной вишни, а утром живот болит. Хотя бы через день утро, чтобы к следующему утру живот прошел, на что он нужен такой день с больным животом. Тогда нужно ехать на речку Лену, где утро через день, и писать оттуда письма любимой сюда, которые не доходят сюда, потому

что в них много сказано и мало сделано, тогда посылать почтовые открытки, чтобы насладиться кондовым пейзажем, чтобы все сделать, как нарисовано, сделать по трафарету. Нет, ты у меня не поедешь на речку Лену, и никакого утра не будет, все, что будет вообще, будет сегодня, потому что завтра тоже будет сегодня.

Знаешь, как мне бы хотелось? Так, чтобы сказать и сразу же сделать, чтобы не было ни одного метра между словами и делом. Сказать "люблю", и если ты тоже скажешь "люблю", то сразу любить вовсю и не смотреть по сторонам, а если ты скажешь "нет", то сразу же умереть, и не от старости, не от желудка и печени, а от слова, "как громом пораженный", не в семьдесят лет, а тут же, на месте. Почему так нельзя? Почему в самом малом сразу, а в самом большом — через сто лет? Почему если купили билеты, то сразу едем, если готов обед — сразу едим, а если мы любим друг друга, то не сразу любим, а через сто лет. Почему доходит как до жирафа, не веришь ушам. Тогда зачем такие уши? И глаза! Когда видишь что-то хорошее, не веришь глазам, что-то средненькое всегда на виду. А ведь мы не жирафы, не динозавры, мы эволюционируем, мы современные обитатели, а все у нас устаревшее: и уши, и хвост; мы же прошли через рай и ад, через рай и ад, а все такие же толстокожие, еле поворачиваемся. Когда же будет все, как хочешь, "мама, когда я буду делать то, что хочу? когда вырасту?". Это совсем не детский вопрос. Он, конечно, детский в том смысле, в каком все подобные вопросы: "почему земля вертится? почему гром гремит?", — то есть такой вопрос, на который нет ответа, ответ можно ждать, как соловей лета, всю жизнь, всю зиму, пока подрастешь, пока вырастешь и умрешь.

Какое там ответное чувство! Его нет даже в поезде, когда билетов нет, а ехать надо, когда нас в своем поезде везут два таджика-проводника, а мы их за это угощаем своим вином, когда сразу становишься друзьями и в гости друг друга зовешь, когда один таджик все время молчит, а второй все время разговаривает. И тот, кто разговаривает, — он нам друг, а тот, кто молчит, — друг нашего друга. И зовешь сразу в гости, но адрес сразу не даешь, а только телефон, потому что все равно сначала надо позвонить. И наш друг, и его друг тоже нас в гости зовут, в свой город, и тоже адрес не дают, зачем? В их городе их все знают, прямо на перроне. И оказывается, когда все выпили и приехали, нужно заплатить шес-

тьдесят рублей, и теперь наш друг молчит, а друг нашего друга говорит. И мы даем, сколько он говорит. И тогда наш друг дает нам чирик сдачи, настоящий друг, и мы выходим на перрон после бессонной ночи, после третьей, даже не плацкартной полки, где мы спали, обнявшись, как два чемодана, чтобы не упасть.

Красивая ночь. Звездам нет числа. Людям числа нет. Неохота вставать. Может и не вставать? может, лучше так и встречаться раз в сто лет? Потому что если чаще, то нужно решать, как жить дальше, а если так и оставить раз в сто лет, то можно не решать, а жить дальше.

— Вставайте! — Чящяжышын мерцает белыми трусами, как луна в кустах, ему-то что не спится? — Вставай, сказал он Сане, — девочка проснулась.

— Может, завтра, — сказала Сана, — она и завтра проснется.

Чящяжышын прав, завтра она уже будет сидеть, потом ползать и ходить. Завтра у кенгуру отвалится сумка, и из кенгуру произойдет обезьяна, из которой завтра произойдет человек в поисках сумки, по Дарвину. Значит, сейчас? Еле просыпаемся, поворачиваемся, никак не можем оторваться от кровати, велика, конечно, сила притяжения. Не оторваться даже на ракете, потому что нужно вложить в ракету все самое драгоценное, что есть на земле: золотые и платиновые коронки, алмазные перстеньки, нужно всю ее облизать и облить спиртом и вытереть бязевыми тряпочками. Своими силами преодолеем силу притяжения, Аввакум не своими, прочистил горло спиртом, который остался после чистки ракеты. Хочется спать. Хорошо бы под душ. А вот он и душ. Как раз вовремя. Накрапывает, чтобы быстрее проснуться. Все сильнее и сильнее стучит по голове. Похоже, гроза. А ведь человек, промокаемый, не как белый котик, непромокаемый, и боится дождя. Чящяжышын как посмотрит, так сразу и скажет. Но слово дойдет до ушей через пять минут после взгляда, вместе с громом, который дойдет через пять минут до ушей после молнии. Духота, как в бане, где моются Коля и Вова, где звезды освещают им путь друг к другу.

— Где твой дружок? — сказал Аввакум Чящяжышину, — ему особое приглашение?

Отматфеян явился без особого приглашения, сам. С носилками, в которых энтузиасты носят кирпичи по воскресеньям, помогают солдатам. Носилки пустые, энтузиасты спят дома, потому что будний день, будняя

ночь. Спящую красавицу на носилки — и вперед. Капли блестят на лице, в точности — алмазы, никто их не ценит, они не драгоценность для людей, их не употребишь в строительстве, как алмазы, — только для красоты, еще большая драгоценность, если бы знать, как их обрабатывать, шлифовать, никто не знает.

— Ну что, взяли? — Чяцяжышын и Аввакум взяли носилки со спящей красавицей, понесли.

Все блестит. Все самое недргоценное. Спящая красавица вся блестит, не как под водой, где ничего не блестит, где вода не собирается на рыбьей чешуе в капли, чтобы блестеть. Капли дождя блестят в воздухе, пузырьки воздуха блестят в воде, всегда блестит что-то инородное в однородной среде. Вот это да! Вот это, конечно, да! Потому что если и это не да, то что тогда да? Да, мы заправимся от Гидры, которая каждый день ломается на горизонте, которую мы каждый день строим на горизонте, она вырабатывает энергию за счет впадения неба в море и моря в небо. А что, если обработаем и капли воды — алмазы редкими инструментами, пальцами, отшлифуем, извлечем пользу. Ведь правда, есть отношения между видимым и невидимым, а не только между видимым и видимым, а значит, вырабатывается и энергия за счет этих отношений, пусть невидимая, пусть в нее не верит тот, кто ее не видит, а мы верим в нее, во что нам еще верить, если не в нее? И мы будем жить за счет этой энергии: есть, строить, размножаться, и, только когда небо перестанет впадать в море, нам нечем будет заправиться до смерти, и сердце, которое не знаем, как называется, перестает делать ветер, воздух, накопленный в легких, лопнет над головой, мы, кажется, тогда вымрем, а не когда наше собственное сердце перестанет гонять кровь по рукам и ногам, мы умрем.

Месячная стихия плачет, и мы идем туда, куда она плачет, "я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут", это в стихах поэт любит, когда дети плачут, а наяву, кто же это любит? и чахоточную деву — тоже в стихах, другая реальность, а в реальности никто это не любит. Мы живем, где? Нельзя же дворец назвать нашим домом, но мы в нем живем, значит, он наш дом. Мы едим, что? Разве то, что мы едим, можно назвать едой? Но раз мы едим, значит, это еда. И плачем каждый день по сто раз. Тоже другая реальность. Странно, что на нас еще распространяются те же физические законы: земля нас притягивает, а мы ее отталкиваем, закон сохранения

тоже срабатывает, и око за око, и зуб за зуб. Это все критики придумали символизм; когда поэт говорит, что это не символ, когда он плачет или смеется, это он правду говорит. И как раз наоборот, критик не говорит, что когда месячная стихия плачет — это символ, смеется — символ. А это, правда, символ. Нельзя же так страшно хотеть сидеть. Но если "сидеть" — это не состояние, а символ, то можно. И пить, и есть — тоже символ. И плакать. Для стихии каждое положение — символ. Куда она такими глазами смотрит, что она там видит? Посмотришь тоже туда, а там ничего нет. Конечно, она старше нас. И когда другой поэт сказал, что каждый символист, хотя бы самый маленький, старше каждого реалиста, хотя бы самого большого, то это он про это сказал.

Мы идем. Впереди вагон с солдатами — наша цель. Неравные силы: сила ветра плюс сила дождя плюс... — за нас. Вагон дрожит от ветра, как осенний лист. Осенью жесткие листья, почти железные. Не будем зря проливать кровь. Комары высосут кровь, их тучи — комаров, над головой, ниже деревьев. А выше деревьев тучи. И море мух — вокруг вагона, не на горизонте. где море. Вот уже забегали. Солдаты бегают туда-сюда, как элементарные частицы в учебном фильме, хаос, одинаковые по величине и по форме, сталкиваются, делятся пополам — спасаются от дождя. Дождь лезет во все дыры в вагон, который вот-вот поплывет.

— Клади носилки, — скомандовал Чяцяжышын, — с той стороны зайдем и подтолкнем.

Вагон впадет в речку, которая впадет в море, впадет в Мировой океан. И так будет с каждым! да! каждый впадет в Мировой океан, кто посягнет на нашу жизнь, от которой остались рожки да ножки, за которые мы будем стоять насмерть.

— Толкай!

Аввакум подтолкнул. Тяжело.

— Надо раскачать.

Отматфейн тоже подналег. Без толку — вагон ни с места. Сана легла рядом с Отматфейном на вагон, лежит вертикально, прямо на стене — неудобная поза, неподходящий момент. Самый подходящий: "сейчас", — "не сейчас". Чяцяжышын и Аввакум жмут с другой стороны. Лучше горизонтально. Лучше прямо лежать на сырой земле, чем криво на стене. Легли.

— Если ты еще раз захочешь, чтобы я еще раз ушла, хочешь, улечу? — сказала Сана Отматфеяну.

Чящяжышын вырос из-под земли:

— Вы тут будете вдувать, а мы там за вас отдуваться, а ну встали!

— Говори, — сказал Отматфеян Сане, — говори, что хотела сказать.

— Больше ничего, — сказала, — я уже сказала. Ты же не верил, что можно подзалететь по телефону, не веришь, что могу улететь.

— Я тебя не гоню, — сказал Отматфеян Сане.

— Хватит, вы! — прикрикнул Чящяжышын.

— Уйди, — сказал ему Отматфеян.

— Не будете толкать, нет? Тогда сейчас попрыгаете. — Чящяжышын вытащил плащ-палатку, с ног до головы обмерил взглядом Сану и Отматфеяна, про которых тоже можно было сказать папе Дездемоны, что они изображают животное с двумя спинами, но Чящяжышын папе не сказал, он сшил костюм белыми нитками и стал натягивать на две спины сразу: "И я убил на них свою жизнь! Эй, вы! Я ведь убил на вас свою жизнь! Я ведь тоже бы мог, я бы мог и сам жить! Я убил на них свою жизнь, я бы мог тоже любить!"

— Чего вы тут тянете? — Аввакум прибежал с той стороны вагона, — где они? — спросил он Чящяжышына.

— Вот, не видишь, — ответил Чящяжышын.

Аввакум не видел.

— Где Сана? — спросил Аввакум.

— Да ну тебя, — сказал Чящяжышын и пошел.

— Нет, ты мне ответишь, — Аввакум вцепился в него, и они покатались прямо к горизонту, который был недалеко, прямо за блочными домами среди магазинов, — ты мне скажешь!

— Ну что тебе, — сказал Чящяжышын, — она тебя надула — ерунда, а я убил на них свою жизнь! Не захотели и пальцем пошевелить, им подавай "щас" на пять минут, а не завтра — на всю жизнь, я видел любовь в чистом виде.

— Больше не увидишь, — сказал Аввакум. Он поднял с земли камень, который был твердым, как хлеб, которым не убьешь, был хлеб, разломился пополам, сухарь, съедобный, можно съесть, нельзя убить.

— Держи, — сказал Аввакум.

Чящяжышын взял сухарь.

— Пойми, приятель, — сказал Чящяжышын, — я ведь хотел по-хорошему.

Чящяжышын хотел в кружке, так в кружке, во дворце, так во дворце, но только чтобы нормально, чтобы ходили в баню по субботам, варили кашу, брили лбы.

— Кончай причитать, — сказал Аввакум, — не до тебя. Пойдем взглянем. Только взгляну на нее и сразу уйду.

Вот жизнь! А что еще жизнь такое, если не один только взгляд, вот именно, что жизнь равна одному взгляду. Мы взглянем на землю, куда нас занесло один раз, и уйдем насовсем. Откроешь глаза — раз, взглянешь — два и закроешь — три, вот и все, и это жизнь!

— Идешь? — спросил Аввакум.

— Пошли.

Дождь сделал свое мокрое дело и ушел на другую войну, не добрый, не злой, его не посадишь за решетку, на хлеб и воду, смоемся, он, зверь, дождик, до смерти промочит, может убить, будет капать на мозги, пока не прикончит, тюк-тюк.

Пришли, и Аввакум взглянул — как все безмятежно: Сана сидит, Отматфеян сидит, коляска стоит.

— Что, прохлопали? — Чящяжышын показал на пустые носилки. Спящей красавицы не было, лежит куча известки, — прохлопали девушку?

Где она? У солдат, в логове, они будят ее поцелуем, кто первый, кто из них королевич Елисей?

— Ну я пошел, — сказал Аввакум.

— Стой, — сказал ему Отматфеян, — вытащим ее, потом иди.

— Хорошо! — Аввакум даже не посмотрел на него, — без меня вытасците.

— Я тебе ее не прощу! — сказал ему Отматфеян.

— Не надо, — Сана встала между ними.

— Отойди, — велел Отматфеян, — не мешай.

— Он еще и глуп вдобавок, — сказал Аввакум, — чего надулся?

— Сейчас ответишь мне, — Отматфеян тупо полез вперед, схватил Аввакума за ногу, не оторвалась, Аввакум дал ему в живот. "Хватит!" — Сана кинулась к Чящяжышину. — "Помоги, ты!" — отлетела как пробка — "Не лезь!"

В двух шагах от нее выросла, как гриб после дождя, жена Отматфеяна, прямо под дождем, совершенно бледная. Поганка. Аввакум оседлал Отматфеяна, погнал его кнутом прямо к Сане: "Вот так въедешь". Отматфеян на

полном скаку скинул Аввакума прямо на бледную поганку, сломалась ножка, раздавил ее, и Аввакум хрустнул, как снег под ногами, у Саны под ногами, вот это дизайн! У того, кто остался в живых, забрезжили синяки вместе с рассветом, забрезжил над дворцом, полная тишина.

Да, мы должны истреблять их, наших жен и мужей, раз мы не можем навещать их раз в семьдесят шесть лет, как Зевс Венеру при живой Гере, как Сатурн Венеру при живой бабе Гале. Девочка спит, стихия, пока плохо слышит, как мы говорим, пока слышит, как звезда с звездой говорит. А мы ходим по земле, как два лунохода, не по земле, незнакомая местность, ничего привычного. Хорошо бы прилечь — ведь должен быть передых между схватками, побольше набрать воздуха в легкие, без передыха. Нам в вагон, к солдатам — за девушкой, интересно — спит? Вот оно, сонное царство, все спят: и солдаты, и среди них нет того. "Осторожнее выноси". Чаяжышын взял спящую красавицу на руки и вынес ее из вагона вон, на воздух, где хорошо пахнет после землетрясения, небольшого, всего два балла: вырванные деревья, с корнем вырванные люстры в блочных домах, растрясенная роса, которой нет на листьях, так трясло всю ночь, дворец без крыши; плохо, что достроят, положат крышу, когда мы умрем, а пока не умрем — не достроят, и другое все построят, что мы не хотим, поналепят домов, не дворцы, а цирк; уже немного осталось, какие-то миллионы лет, а потом жалко, но она все-таки отлетит, атмосфера, отвалит от земли вместе с ветром, с громом и молнией, с плохой погодой, не останется даже мысли; какая же она будет черствая земля тупая, совсем не пушистая, наверное, она потом рассыплется, когда совсем высохнет; вот и от нее ничего не останется, а не только от нас, ни слова, ничего. Идут первые минуты рассвета, первые из тех последних миллионов минут, которые понадобятся, чтобы атмосфера отошла насовсем, не как душа человека, которая отходит насовсем за минуту, как может, душа земли, вполне возможно, которая отходит целую вечность; нельзя наблюдать, можно знать, нет, зная, можно и понаблюдать прямо сейчас, похожая на туман, немного похожая на лунный свет, не скажешь, что отходит; потому что сам процесс (пока отходит душа), растянутый на миллионы лет, рассветов, даже красив, потом будет некрасиво, когда отойдет; и когда наша, человеческая, душа отойдет, тоже будет не

красиво; хорошо, что это так быстро у нас, людей, а не так медленно, как у них, светил. На сегодня все, понаблюдали, что можно, что нет, еще не все: еще солнечные лучи, такие румяные, кровь с молоком, как пушкинские стихи, без всяких извращений; все, что от солнца, — это хорошо, не запрещено цензурой, все, что от луны, плохо, запрещено.

Чяцяжышын положил спящую красавицу на берег, Сана подошла и поцеловала ее в щеку, потом Отматфеян поцеловал и Чяцяжышын — последний, простились. Поцеловали не для того, чтобы она проснулась, чтобы еще крепче заснула. Даже пальцем не подтолкнули к воде. Вода сама слизнула ее, все поцелуи начисто смыло. Поплыла.

Вернулись на место схватки. Отматфеян подошел к своей жене, бывшей, час как бывшей: любила его так сильно, как он самого себя. Сана подползла к Аввакуму, лежит, как живой: "Когда тебе было плохо, ты хотел меня когда-нибудь убить?" — "Хотел". — "Чтобы стало еще хуже?" — "Чтобы стало лучше". — "А я тебя хотела иногда убить, когда мне было хорошо". — "Чтобы стало еще лучше?" — "Чтобы стало хуже". Вот мы свободны, как птицы, лети, куда хочешь, а птицы, наоборот, не свободны, как птицы, все вместе — редкие птицы поодиночке. Потому что одна птица — это часть одной птицы, а один человек — не часть одного человека. Природа вся связана между собой, и береза — это часть пальмы, и только человек не только не часть пальмы, но даже не часть человека. Потому что все они — и птица, и пальма, и береза — стали тем, чем стали путем эволюции, и только человек никогда не превращался из обезьяны в человека, не модернизировался, не радиофицировался, потому что каждая зверюшка со временем становится лучше и лучше — совершенней, отбрасывая все ненужное, а человек все тащит с собой, весь гардероб, все жалко: и чешую, и хвост, и неправда, что динозавр — самый старый на земле, динозавр так помолодел за последние миллионы лет, а человек — нет, все такой же. Надо возвращаться домой — в унитаз, один потолок — по домам. "Иди, девочка, домой, иди к маме".

Период — великая вещь, не пустые семь лет, они кое-что значат для человека, эти же семь лет — пустой звук для земли, и уложиться в него — это не какой-нибудь там подвиг в жизни, наша каждодневная жизнь — самый большой подвиг в жизни; святое дело — период:

всегда начинается с "любишь" и кончается "умрешь". Пока с зимы не начался этот период — кончится не вглубь, а ввысь, трехэтажный дворец, — языковой барьер был. Между нами. Я люблю в тебе не то, что есть, а то, что знаю, что есть. Желание больше чувства, слово больше желания, вибрация больше слова. "Что ты хотел сказать? То, что я поняла, или то, что ты не договорил, или то, что я подумал; ты хотел сказать то, что хотел сказать вчера, но что можно будет сказать и завтра" — все вранье! Чтобы преодолеть языковой барьер, нужно соврать, завраться; мы врем на одном и том же языке, говорим правду каждый на своем.

Преодолели: "ты сейчас меня да?" — "я тебя так да, как никого никогда. А ты меня да?" — "я тебя сто раз да, я тебя в сто раз больше да. А ведь раньше ты меня нет? — "не то, что нет. Ни да, ни нет", — "а я тебя нет. Я тебя так сильно тогда нет, а потом сразу — да". Стрекочем, как птицы, как дельфины, только любовники умеют так стрекотать — все, что сказано, то и правда.

III

Про один полуостров, который сам о себе говорит: "я мал", дети знают, а про одного датчанина, который сам о себе говорит, что он несчастен, дети не знают, но некоторые взрослые знают, что это он самый несчастный на земле и для него могила в Англии, это он ляжет в пустой гроб в Англии, как самый несчастнейший на земле, потому что это он откажется от любого своего желания и будет пребывать в несчастье, и если ему дадут стакан вина, то он его сразу отдаст ангелу, и если ему каждый день ангел будет приносить, то он каждый день будет ему отдавать обратно, потому что он хочет хотеть выпить, а не хочет выпить. Пусть он благороден в своем несчастье, но он не бедненький. А самый бедненький — Вова, про которого не знают ни взрослые, ни дети, он не хочет хотеть, он хочет нажраться, чтобы больше никогда не хотеть, чтобы выблевать из себя желание раз и навсегда, он хочет так надраться, чтобы больше потом никогда.

Выблевать из себя природу, чтобы глаза на нее не смотрели, с небом, со звездами и со всеми потрохами, выблевать акт, прикончить его, расчленив, как кактус, и спустить в унитаз, раз в жизни наесться, чтобы никогда

в жизни уже не хотеть. Жизни не хватит, чтобы что-то одно выbleвать из себя. И датчанина, конечно, жалко, но Вову жалче, потому что у того хватит, чтобы отказаться хоть от одного желания, а у Вовы не хватит жизни, чтобы хоть одно желание удовлетворить. Что же делать с желанием, которое чем больше удовлетворяешь, тем больше оно растет? отказаться от него и быть несчастнейшим, но счастливым, или удовлетворить его и быть бедненьким? что делать с таким желанием, которое не при тебе, а ты при нем, и оно гоняет тебя из угла в угол, не то что покоя не дает, а минуты отдыха не дает. Так доиграться с телефоном, что схватить в час ночи трубку, нет, мозговую кость, съесть, как собака, сгрызть, несваренную с мясом, а только прокипяченную, сначала съесть, а потом сообразить, а не сначала сообразить, а потом съесть. Значит, надо так удовлетворить желание, чтобы оно вымерло, как морская корова, которой уже не осталось на земле, надо его истребить. А мы чем занимаемся? Как раз этим и занимаемся, только этим всю жизнь и больше ничем; нам должны поставить памятник, как разумному животному, которое само себя истребило, и пусть поставят при жизни, как животному, которое само себя достало, пусть сейчас уже делают проекты, а мы сами выберем, чтобы не поставили потом какую-нибудь дрянь из гипса, сколько нам лет? Нам четыреста лет со дня рождения Шекспира плюс восемьсот лет со дня основания Москвы плюс девятьсот лет со дня гибели Помпеи плюс сто лет со дня дуэли Пушкина, хорошо сохранились, не дашь и тридцати, живем только в юбилейный год.

Темно. Солнца нет, не то что вообще нет, точно знаем, что оно будет завтра, абсолютное знание, мы точно уверены в нем, в солнце, что оно встанет и нас поднимет, когда это будет называться утро, сейчас его нет, пока это называется ночь. Ничего не видно, даже друг друга, колышемся, но мы точно знаем, что это мы, ты и я, и где растет нога, и где растет голова, не вообще нога, не вообще голова, а твоя и моя, наша, абсолютное знание; живот и спина, правильные линии, углы, которые составляют многоугольник, мы лежим, не видя друг друга, но зная, где что лежит, и ужас, внушаемый незнакомым телом, не распространяется на нас, потому что есть абсолютное знание, пусть в малом, в кривизне рук, мы скоро уснем.

Солнце светит, да, светит — это состояние или ответ?

дождь идет, да, идет — это состояние или ответ? человек любит, да, любит — это состояние или ответ? Идет и светит, и любит — это состояние, а не ответ. Это длится, пока длится, и длительность не знает утверждения, в длительности столько “да”, сколько и “нет”, она не может быть ни положительной, ни отрицательной, длительность, в ней нет знака плюс и минус, время имеет отношение к действию, но не к предмету (ни собственному, ни нарицательному), значит, к действиям человека, но не к человеку, а только к его действиям. Солнце светит, да, комнату, да, и мы увидим, где мы есть, да где мы разложимся, да, такое сложное соединение, человек, да, распадемся на элементарные компоненты, да не то что сопьемся, скуримся, высосем друг друга, да, а просто разложимся, более сложное станет более простым, спустимся, да, из царства АДАМ в животное, растительное и самое элементарное царство, да, из всеобщего человека, составленного абстрактно из соединения всех людей — АДАМ, разложимся на три буквы, да, на алеф, далет, мем, на две буквы: А и Б, которые сидели на трубе, да.

Скоро покажется стул из элементарного царства при первых лучах солнца, только начнет светать, и он тут как тут во всей своей красоте, он дуб, чурбан, стул, что с ним можно сделать, сесть на него и только, но зато как на него иногда можно сесть! нет, он самый первый стул, только он и есть стул, это его имя — стул, его так зовут, а все остальные (стулья), которые тоже так называются, чурбаны и дубы; красавец, у него плохо держится спинка, совсем не держится, она не приспособлена, чтобы на нее так ложились, скоро приспособится, скоро стул перейдет из элементарного царства — в растительное: облетит краска и вырастет новая; перейдет в животное царство, на порядок выше: вырастет новая спинка; другом станет — перейдет в самое возвышенное человеческое царство АДАМ, когда вырастет огурец в стуле. Не плачь, мы не зайчики и не белки и не прыгаем по скамейкам в парке, не шарим по карманам, прижимая лапки к груди: “господа, помилосердствуйте, двое маленьких детей, господа!”, и не прячем орешки под листок, чтобы их нашла другая белка, у которой тоже двое маленьких детей, они живут при коммунизме; скоро начнет светать, хорошо бы не скоро, подождем с рассветом, а спящая красавица, она права, просыпается только раз в тысячу лет, живет только в настоящем времени “щас” и к следующему “щас” опять “румяна и бела”, а мы истощены этими

пустыми прорывами между “щас” и “щас”, что это за время такое, о котором даже нельзя сказать, было ли оно, это было число или день недели, или время суток, этой шлюхе жалко лишний раз проснуться, красавице, девушке, а нам не жалко, да, выбросить недели на съедение кому? Сатурну, чтобы он съел всех своих маленьких детей и выблевал их целыми и невредимыми, нет, мы разбудим ее поцелуем, сонную красавицу, мы вопьемся друг в друга, не в нее, взасос, проснется, никуда не денется, не плачь.

Вот он уже — рассвет, пошел, все, что видим, то и назовем по имени, и будем так звать до гроба: стол, стул, кровать, табуретка — каждый предмет в своем ареале, многоэтажный лес — шкаф, стакан, еще стакан, окно, а что это там на окне, что это за шутка, почему решетка? уж не тюрьма ли это, нет, красота, не Бастилия, не Бутырка, почему решетка? значит, тюрьма, пожизненное заключение, на государственном обеспечении, изолировали от общества, посадили на хлеб и воду, вынужденное сожительство,, мы этого добивались — чтобы каждый день вместе, в четыре руки вставать, в два рта есть, вот она, тюрьма, солнце за решеткой, деревья за решеткой, небо тоже, значит, навсегда, мы обязаны быть друг с другом навсегда здесь, среди этих дров без названья, какой там шкаф или кровать — дрова, мы здесь будем есть еду — вместе, в сортир и в ванную — вместе, пить — вместе, а на нас будут смотреть в дверной глазок, он повернут к лесу передом, а к нам задом, и на нас будут смотреть в дверной глазок из леса вестимо: и милиционер, и мужичок, с ноготок и просто так, кто ни посмотрит, тот и надзиратель. А может, мы добровольно здесь, за решеткой, на хлебе и воде, чтобы полчеловечества смотрело в глазок на то, как мужчина и женщина живут в четыре руки, интимная жизнь, нехорошо смотреть, а им хорошо — смотреть на нас: на актив и пассив, на абсолют и индивид, образ и отражение образа, плоть и волю, ну подавись, приходи и смотри в глазок, а Чящяжышын будет нам передачи носить в приемный день по воскресеньям, сетку с продуктами, а может, это и не тюрьма? Просто первый этаж, а на окнах решетка, чтобы воры не украли дрова, у которых есть название: стул, диван, кровать, и нас заодно, у которых есть название, может, это отдельная квартира на первом этаже, никто не хочет жить, которую не меняют по объявлению, а мы хотим — с ванной и туалетом, с горячей водой и газом,

чтобы на нем готовить и поддерживать жизнь, но кто сказал, что квартира за решеткой — это не тюрьма, кто сказал, что тюрьма — это не отдельная квартира со всеми удобствами, а может, это они все за решеткой, чтобы к нам не приставали, мы от них отгородились, мы их посадили за решетку со всеми их троллейбусами и такси, с их солнцем, хорошей и плохой погодой, мы все их царство посадили за решетку, отгородились, и мы на свободе, разве нам мало пространства, иди, куда хочешь, за угол, ближайший поворот, там коридор, иди в ванную, это мы еще посмотрим, кто за решеткой.

Первая будет зима — за решеткой, каждая снежинка, кристалл, весна — каждая почка, листок за решеткой, а осенью — смерть за решеткой, пустота, воздух, капли дождя, которые не стоят на месте, как снежинки, как почки и листья, а прибывают и убывают, жизнь уйдет, как кровь, из носа, с соплями, а хорошо было жить по ту сторону решетки, ничего хорошего, последнего таксиста пригласить на вернисаж, выкурить с ним по сигаретке, красивое слово — вернисаж, это когда картины на стенах и синяк на бедре, здоровый укус эрдельтерьера, борода того пса, он сойдет вместе со снегом, синяк, ничего не останется, а ты пока ревнуй на здоровье к милиционеру, к млечному пути, ты можешь подозревать, да, ты можешь ревновать к каждому телеграфному столбу, это твое право, но ты должен знать, это мое право, что ни с одним милиционером, проводником, ни с одним сперматозоидом из млечного пути, ни с кем не было ничего у меня после того, как было у меня — с тобой, только было с тобой и с ним, телеграфным столбом, если это был ты, телеграфный столб, с каждым телевизором, если это был ты, телевизор, а так больше ни с кем, скорей бы нас занесло снегом, присыпало, завалило, хорошая могилка, чистая, ничего не скажешь, хорошо там, есть что вспомнить в могиле под снегом, стучат. Кто там еще стучит, кому дверь не открыть?

Творец он и есть творец, он, глядя на нашу реальность, создает свою реальность, совсем другую. Пусть природа на картинках только декорация или крестики и черточки, колечки и козявки, но творец так видит, и он так пишет. Но вот бог, он ведь тоже создал свою реальность: но, глядя на какую реальность, бог создал свою? какая реальность так его вдохновила, что он создал ту, какую мы видим через решетку, которую видели каждый день через окно? Хотя бы одним глазком взгля-

нута на ту реальность, которая так вдохновила бога, что он так и создал всю нашу реальность с травой и тучами. Что его вдохновило на тучу, что на траву? какое скопление вонючих газов вдохновило его на воздух, какое космическое стерильное дерьмо вдохновило его на землю? Никогда не узнаем, здесь не может быть абсолютного знания, только догадка, а как бы хотелось точно знать, стучат.

Ты лежишь. В тебе лежит сразу все ужасное и прекрасное — гадость и бриллиант, не горит синим пламенем зло отдельно, а красным — добро отдельно, горит одним пламенем и добро, и зло — вместе при свете ночника, он горит, и ты в прожекторе света повис (невесомый и воздушный шар), гиря в полкило веса тянет тебя вниз, ты не можешь улететь; колеблемся, как стихия, которая все время вибрирует, значит, растет, теряет одно качество и обретает новое, становится человеком, который уже никем не становится, венец творенья, а если какой-нибудь урод посадил нас за решетку и думает, что мы довибрируемся и станем одним человеком, так это он не дождется, не довибрируется, не станем, и размножаться не будем и разлагаться не будем, законсервируемся, да, будем жить только сегодня, "щас", а завтра не будем, а вчера не помним, только та минута, которая идет, она и есть наша, пусть хоть сто лет идет жизнь, пустая расчлененка на минуты "щастья", а памяти нет, воображения нет.

За тобой стоит целый лесопарк жизни, куда я ни шагу, где ты знаешь каждую елку и пенек, а я не хочу знать ни пня, ни обрубка твоей жизни, вытрясти тебя из старой кожи, оболочки, "только змеи сбрасывают кожу", удав, подавись тем, что ты нажил: разрушенными нервными клетками, нерегенерирующей оболочкой, хватит трясти меня, ты вытряс из меня всю душу, осталась только утренняя звезда, но ты, полегче, от меня осталось меня самой только самая первая жизнь, которая была с рождения, ничего не осталось, учи меня ходить, есть, пить, спать с самого начала и забирай в человека, ведь ты вполне пригодное чучело, удовлетворяющее пассив, сам ты пассив, на который натравили стотысячный актив, тебе не справиться с ним. Значит, остается текст, голый, ничем не прикрытый, после потопа ни капли не осталось, ни доски от ковчега, ни берцовой кости от Ноя, но остался текст, и от нас останется текст как доказательство того, что мы были, неполное доказательство,

потому что когда дело касается текста, любое полное доказательство является несправедливым, а если оно справедливо, то оно неполное, доказано математически.

Эта другая реальность (текст), не вмещает в себя другую реальность (жизнь), даже если ее скрутить и вставить, а ведь ее жалко так скрутить и вставить, потому что эта жизнь наша и с нами, а текст — после нас. Эта наша жалкая реальность так и лезет из текста, выпирает своими бедными подробностями, понятными жизни, не понятными тексту. Текст, конечно, готов вместить в себя жизнь, но жизнь не готова уместиться в текст. Все, что так хорошо в жизни, так плохо в тексте, а все, что в жизни плохо, в тексте хорошо; с какой легкостью проглатывает этот динамичный текст, пока давишься этой динамичной жизнью, все идет в него самое отборное, еле выдавишь слезинку в текст после ночи слез, и слезинка покажется смешной, а ведь плакать — это не смешно, так он еще и материализуется, текст, у него есть рога и хвост, и он лезет копытами в жизнь, а это ему не шабаш, сердца у него нет, у него не болят поджелудочная железа и зуб, он крепкий орешек, текст, не простой механизм. А жизнь — неужели только механизм, ну механическим путем, ну произошла земля, сжалась, расширилась, раскалилась, охладилась, еще сто раз раскалится и охладится, что плохого? ну встретились, переженились, простой механизм, положительный цинизм, и никакой загадки, в самый раз и удавиться, вот тогда и падает с неба луна, когда никакой загадки, когда простой механизм, прямо лбом об Атлантиду, и въехала в Мировой океан — охладиться после дорожки, раз все равно никакой загадки, простой механизм, нет, мы растрясем друг друга, мы добьемся хотя бы от друг друга, кто мы есть кто, кто мы кому кто, кто нас сюда кто, куда мы потом кто куда, добьем друг друга, отравимся знанием, умрем от догадки, а хочется, чтобы было равновесие между знанием и догадкой, пусть догадка будет в малом, а знание в большом. Чего там гадать на кофейной гуще, "любишь" — "не любишь", можно не добиться от человека ответа: "да" или "не да". И это можно. Но как только слово сказано, да, и дело сделано, да, слово становится не ответом на вопрос, потому что у вопроса и ответа разные функции: у вопроса спрашивать, у ответа отвечать, и они никогда не пересекутся, ни в космосе, как две параллели, ни в парке. Любишь-да-докажи-да: ни нож, ни кровь, ни слезы — не доказательство;

остается одно доказательство — слово, как самое неполное доказательство. И лучше всего догадка: что человек любит, да, земля, круглая и вертится, а ветер что делает? дует (слово такое есть), а он и в ус не дует.

Сами догадались, что за решеткой, без слесаря, который достучался, чтобы шею крану свернуть, выпустить всю горячую воду, пусть она растопит льды в Антарктиде, и мы поплывем, и холодную пусть выпустит, спустит ее, куда хочет, погубит, раз ее так много, что она не держится в кране, пусть она течет зря, какое изобилие по вине слесаря, ему наплевать, что кто-то сейчас гибнет в пустыне, он свернул шею, а кран пальцем не заткнешь. Никто не оплатит растрату воды, слесарь не выложит из своего кармана, не вставит струю в русло, как творец, он уже ушел. А пусть шумит. Кто следующий, электромонтер? чтобы обдать нас светом? Они достанут нас здесь за решеткой всеми доступными средствами, врубят свет в двести свечей, пустят на коротких и длинных волнах телерадиоинформацию, ее не разгонишь ветром, нельзя будет цыкнуть на телефон, который будет резвиться всю ночь, они сами включают в сеть свои вилки, а у нас нет ножа, хотят посмотреть, как мы погибнем от этого изобилия, вон, присосались к дверному глазку, кто следующий? А ведь можно не мучить ни светом, ни газом, ни противогазом, ведь все это в природе тихо было, пока эти колеса не изобрели. Сколько еще таких колес изобретут, какую информацию пустят по морским волнам, но звезды на дневном небе они еще не скоро увидят, не видать им, как своих собственных ушей, на дневном небе звезд.

Вот она, однородная среда, предел мечтаний, рай: для птиц — воздух, только полет, никакой тебе земли на горизонте, ни ветки; для рыб — вода, их рай, ни берега, ни дна вообще; лес — для зверей до горизонта, и все они гибнут каждый в своем раю: птица в воздухе без земли, рыба в воде без воздуха, зверь в лесу "без", только человек не гибнет в своей однородной среде, в однокомнатной квартире, самый выносливый, человек, бог его создал из себя самого, а себя самого бог из чего создал, высосал из пальца? То, что сначала зла не было в боге, это понятно, что оно появилось после него и рядом с ним, и, чтобы оно не гуляло само по себе, он взял его в себя, это понятно, а человеку уже сам дал и добро, и зло вместе, и хороший человек избавляется в себе от зла, а плохой — от добра, а бог не избавляется от зла, он держит его при себе, потому что никто, кроме него, при себе его не

удержит, а ведь это не ложка дегтя. Ты злишься, побелел, посинел от злобы, просветлел от доброты, а бог зимой и летом одним цветом, не зеленый, как елка, золотой, в этой каше наших слез и соплей. Он держит при себе зло, не как злющий козел держит концентрат зла, концентрат, способный растворить и козлов, и свиней в своей жиже, бережет его как зеницу ока, чтобы оно лучше было при нем, раз все равно оно есть. А мы что делаем с малой каплей зла? Вертим ее, чтобы она сверкала всеми цветами радуги, любимся ею, носим в сердце, "я на тебя зла не держу", держишь, трехдневной выдержки зло, скоро заплесневеет.

Все не то, не так и не о том, может, нужно делать какие-то физические упражнения, зарядку по утрам, чтобы было так, так и о том, и одной капли зла много, потому что это не капля в море; конечно, сколько угодно могут тащить на себе и бог, и человек, если они сами взяли, хотя бы и зло, но если им дали, потащат ли? Если тебе дали, и ты тащишь, это подвиг, а если ты сам взял, то это твое дело. И люди каждый день со своей каплей зла идут на подвиг на трамвайную остановку по утрам, чтобы кому-нибудь ногу отдавить и попросить прощение, герои, все до одного, бог у нас не герой, взял за пазуху зло и тащит, это его дело.

Так попасться! Выбрать настоящее время по собственной воле, самим выбрать, предпочесть это настоящее — прошлой зиме и будущему лету, нет чтобы жить в воображении (были такие умницы). Нет ничего страшнее настоящего, если оно идет и идет, от него не спрячешься под одеяло, потому что оно и под одеялом, оно утром и на кухне, днем и на полу. И герои гибли от настоящего, гибли, когда оказывались вместе в настоящем времени, "здесь", от невозможности каждую секунду жить. Пока они стремились друг к другу из прошлого в настоящее, из будущего в настоящее, счастливы, они не думали, в какую ловушку попадутся в настоящем, когда каждая минута без передыха будет посвящена вниманию друг к другу. И как только они оказывались вместе, бесчисленные герои, они гибли, как котятка: и Онегин со своей Дездемоной, Отелло с Таней, Пушкин с Таней, их тысячи, не вынесших тяжесть настоящего, когда каждая секунда — это мороз по коже, а не "мороз и солнце". Оно, конечно, но кто настучал на нас, что нам подавай настоящее, вот оно вываливает на нас целый столп "единиц времени", где каждая единица имеет свое

неповторимое ощущение, каждая съедает нас с жадностью, присущей только ей, и мы погибнем от него, оно испепелит, но мы протянем, сколько можем, в этом настоящем времени, "здесь", не избавимся друг от друга ни ножом, ни словом; как он уязвим, настоящий момент, тончайшая пленка в один миллиметр, копнешь чуть глубже, там уже прошлый момент, чуть оторвешься, там уже будущий, страшно пошевелиться в настоящем моменте, и нечего ботинками стучать, нечего орать, чтобы оглушить настоящий момент, хрупкое создание; заторможили его до красноты, остается прикончить на месте; восхищает сдержанность настоящего момента, кто в него попадает, на того он и распространяется, а кто мимо идет, за тем он не побежит, мы попали в его фокус без глаз, без ушей, без каких надо органов, чтобы его воспринять, с недоразвитым зрением и слухом, пригодным для будущего и прошлого момента, для воображения, но не для настоящего момента, мечемся, сколько еще!

Остается, как спасение, программа, но любая программа исчерпывает любую программу, сводит к нулю, чтобы начать с нуля следующую программу при нуле градусов за окном, в размазанной под ногами водянистой жиже в один миллиметр зла, с подергивающейся пленкой настоящего, по которой легко бегают водомеры, скользя лапками по зеркалу пленки, отражающей сколько надо неба и берез, всего, что попадает в перспективу, в луч света, который падает на нее; перебирают лапками пленку воды букашки, сейчас де и умру, осуществив свой настоящий момент, они будут прикончены лучом света и не отразятся из прошлого — со дна лужи — на пленке воды, которая, как зеркало, отражает все, что сверху, не отражает ни малейшей подробности своей посеребренной стороной снизу, она превратится к утру в корку льда.

Мы лежим без сил, силы оставили нас здесь, в комнате, мы оставили силы там, за окном, среди людей и животных, домашних, которые приспособились к людям, быстро сориентировались, перешли на хлебные крошки и колбасу, голуби кланяются, как китайские болванчики, под ногами, скоро разучатся летать, и воробьи скоро разучатся воровать, привыкли на дармовщину, испортились, стали хуже по характеру, наглее и жирнее, и все, что будет приспособливаться к человеку, будет наглее и жирнее: деревья, яблоки и реки; быстро природа сориентировалась и приспособливается теперь

не к дождю и к солнцу, а к человеку, к дерьму, которым он ее ублажает, к ножницам, которыми стрижет, и голуби, и воробьи, и липовые аллеи — все переориентировались на хлеб и воду, предатели; человек, конечно, нехороший, раз повел их за собой, сами они нехорошие, раз за ним пошли. Остались еще кое-какие дикари, которые не хотят размножаться в неволе и хлеб с руки не берут, вымирают себе преспокойно, и кто не приспособится к человеку, тот вымрет, именно к человеку, а не к солнцу и дождю, а кто не вымрет, тот приспособится. Легко сказать — приспособиться к человеку — к слесарю и милиционеру, тогда надо вымирать, уже сегодня начинать, пока таксисты развозят горох, а ветер давит на поясницу, которая будет неделю болеть, уже продавил. А нельзя так, чтобы и не вымирать, но и не размножаться в неволе? Пусть этот человек — кассир и билетер — думает, что уже вымерли, что уже приспособились, а мы, как пять лет назад, как стеклышки, чистые, только сил нет, чтобы собраться и встать с поля, где, как спички, рассыпаны руки и варежки.

Где Отматфеян? Он еле дышит, он вдохнул за папу, еще раз за маму, продышался, он полон сил; где его любимая? она полна сил, сверкает пятками, щебечет, расчесывает гриву, она еле дышит. Вполне можно повторить. Не в этой позе, а в другой, не с этой стороны, а с другой и не в этой последовательности, в переносном смысле, исключая сказанное, нарушая смысл, нет, но если за это сразу вышка, то не надо, не надо и все! нет, если за это сразу вышка, то все равно пусть будет со всеми вещественными доказательствами: тряпками и отпечатками пальцев, и следами на полу. Жизнь хлещет вовсю, повышается температура тела, меняется оскал рта и цвет глаз и цвет... конечно, за это вышка, а попытки — в сторону, потому что Отматфеян припер свою любимую к стенке, и она сейчас все выложит, что не хотела говорить, что скажет сейчас, все равно скажет, не сейчас, так через минуту, расколется, а он и уши развесил, а надзиратель слушает, да ест. О чем они говорят? Трудно уловить смысл. За этим смыслом стоит второй смысл, который доходит до нуля и меняет знак на противоположный: она начинает убеждать его в том, в чем он ее только что убеждал, она отрицает то, что утверждала минуту назад, он отрицает то, что утверждал, они говорят одновременно, и когда она голос, он — фон, и когда он голос, она — фон, а потом уже голос на голос и фон

на фон, они сейчас состоят из ушей и звона в ушах, за пять минут любовь, а на нее годы уходят!

Где наш друг дорогой, которого никто не зовет, который всегда приходит не вовремя с сеткой продуктов по воскресеньям, где Чящяжышын? Вот он стоит, пальцем дверь толкнул, она и открылась, поставил в дверях сетку, набитую телятиной и помидорами, сетка на ногах не стоит, рухнула на месте, сетка-то пустая. "Поесть чего-нибудь дадите?" Это он у нас спрашивает, целый день в городе, хотя бы в магазин зашел, зачем ему в магазин, когда можно сразу — в холодильник. Новости с него так и сыпятся, как прошлогодний снег: "а вы не слышали?" — не слышали, "не смотрели?" — не смотрели, и "не ходили?" — не ходили. А он слышал, смотрел и ходил, и теперь рассказывает. Никто нас отсюда, точно, не выпустит за хорошее поведение, поэтому он предлагает побег. Он ради нас на все готов: решетку зубами перегрызет, с проводником договорится, принесет два плаща, чтобы мы дернули отсюда на все четыре стороны, разбрелись, как бараны, по семьям и учебным заведениям; не-а, не разбредемся, будем здесь вымирать. Он хочет как лучше, Чящяжышын, лучше бы в магазин сходил; он ради нас каждый день готов на подвиг, а мы его не ценим. А помолчать он не может? Нет, он еще не все сказал. Еще не сказал, что мы здесь прокиснем за решеткой, если не он, а побег нас спасет, и на воле мы расцветем, будем цвести, как он, а пока надо готовиться и не валяться по утрам в постели, а бегать в тюремном дворике, как у Ван Гога заключенные бегают друг за другом, прямо по периметру, полезно для здоровья. Теперь, кажется, все сказал и даже сказал, что ему больше нечего сказать. Ну, раз сказал, то пусть двигает отсюда, нет, он сел и ждет, что мы ему на это скажем. Нечего сказать. Раз нечего, тогда он еще забыл сказать, что если стрелять в нас будут из духового ружья под духовой оркестр, так он нас собой прикроет, он как ляжет на нас, так и встанет, ему пуля в одно ухо влетит, в другое вылетит, зато мы как ляжем, так уже не встанем, эта шальная пуля найдет нас под Чящяжышыным, целым и невредимым; это если будут стрелять, но, может, удастся и так, без одного выстрела, без шума и пыли, он все продумал, у него и деньги для нас есть, он нам ренту положит, у него только сейчас денег нет, и ему надо рубль займы дать. Рубль дать можно. И побег наш дол-

жен быть такой, во всей красе, а не какой-нибудь там, чтобы с этим побегом в историю войти. Побег наш должен быть изобретательным, но простым, в нем должен быть определенный риск, но все должно быть надежно, он должен быть зрелищным, но так, чтобы никто не видел. Он все уже придумал, Чяцяжышын, нам только остается предложить свой план. Ну до каких пор друг наш будет приходить и вмешиваться в нашу жизнь, как в свою, жизнь! "Так вы что, против?" Нет, мы — за!

Тогда все в порядке, быстро выпьем по чашке огненного бульона, сожжем язык до костей и два часа подряд будем обсуждать, благо язык без костей, как будем действовать, как только Чяцяжышын нам свистнет. Конечно, мы не против пожить в домике, который Чяцяжышын для нас сколотит в глухом лесу, где не будет ни света, ни радио, ни волны, который мы сами для себя сколотим, и вокруг него сами сколотим глухой лес. А он не подумал, Чяцяжышын, что в этот глухой лес, который мы с таким трудом для себя сколотим, сразу железную дорогу проложат. Он не подумал, что сразу же в наш глухой лес попрутся все сразу в резиновых сапогах и будут грязь месить вокруг нашего дома, похлопают-похлопают и асфальтовые дорожки раскатают. Об этом он не подумал. Думать надо. Нет, уж лучше мы здесь будем подходить к телефону и отвечать на письма, и убивать настоящее время за круглым столом. Одно смущает, что если это они все за решеткой, если относительно решетки они внутри со своими домами, телеграфными столбами и растительностью, а мы относительно решетки — снаружи, в своих апартаментах, среди стульев и тарелок, они выдержат? Они не захотят сюда к нам в комнату, на свободу, а вдруг захотят, будут грызть решетку с той стороны, со стороны улицы, пойдут все вместе на приступ, чтобы все, сколько есть миллионов голов, смогли уместиться у нас в комнате, на свободе, а ведь комната не резиновая; вопрос, кто за решеткой, если мы, то мы должны бежать, а они обороняться, голова кругом идет, а Чяцяжышыну наша мысль понравилась, он только теперь не знает, с какой стороны ему рваться, с какой стороны решетку пилочкой подточить.

А кто такие "мы"? Это "я" плюс "они", прямая зависимость "я" от "они" и обратная зависимость "они" от "я", "мы" — это личное, которое распространяется на

общее, а также общее, которое распространяется на личное, но это, точно, не Мы, Николай II, и нет никакой диктатуры "я" над "они", но и демократии тоже нет, есть определенное влияние автора на героев, оно не больше, чем влияние героев на автора; трудно разобраться в местоимениях, кто такие "они"? тоже не чужие люди, кто стоит за местоимением "он"? стоит Отматфеян, а за ним кто стоит? кто стоит за местоимением "она"? ясно, что не Эмма, хотя за ней стоит Флобер, потому что он сказал: "Эмма — это я", а "ты" кто такой? "ты" тоже входишь в "мы" или мы тебя не знаем. Вот "мы" уже и выпили по чашка бульона, а "они" вытерли со стола и посуду помыли. Мы сидим в доме, который построили они, местоимение на своем месте, потому что имени за ним нет. К какому стилю относится этот архитектурный ансамбль? не готика, даже не "кантри"? к крупнопанельному. Через стенку живут совсем другие люди, мы не хотим жить их жизнью, слышать, как они ругаются и плачут, и ходят в туалет, мы просыпаемся в шесть часов утра, когда они идут на работу, но ведь это же не мы идем на работу в шесть часов утра, и все время стучит лифт. Может его ласточки слепили, этот дом, поплевали и слепили для себя, и все остальные такие же дома тоже они слепили, а мы живем в ласточкином гнезде.

Чящяжышын сидит и смотрит на нас. Что он видит? Он не видит, что мы уже совсем дохленькие животные, которые так и не стали домашними, две черепахи из детского сада, из которых лучше сварить для детишек черепаховый суп, полезней и педагогичней, чем давать их детишкам в руки, чем целовать их в затылок и засовывать им в пасть карандаши. Он не видит, что мы должны так обращаться друг с другом в этих апартаментах, чтобы убить желание, любовь, наше желание друг друга, при условии, что мы обязаны все позволить друг другу и даже заглянуть в крошечную тьму, в глубь тебя (себя), потому что мы захотели, безусловно, знать, что такое есть желание помимо вибрации, температуры, допинга, мы захотели прикончить эту загадку, у которой тысячелетняя жизнь, мы, безусловно, взяли на себя чудовищный и неблагодарный труд за одну нашу недолгую жизнь разгадать долгую жизнь этой загадки-мутоты, у которой своя самостоятельная жизнь, которая втянула нас в свою жизнь, и мы хотим, разгадав, убить ее; нам за это никто не скажет спасибо, но пусть наша

любовь умрет раньше нас, чтобы мы могли сказать, что умерло в нас; ошибка, пусть мы умрем раньше, чем она умрет в нас, и пусть эта любовь сама пусть скажет, что останется от нее без нас, где она еще найдет таких медведей и мух, которые спят, чтобы дольше жить, замедляя во время спячки все жизненные процессы, таких мошек-однодневок, которые ежесекундно вибрируют, ускоряя все жизненные процессы, чтобы быстрее умереть, которые, вяло посопротивлявшись, приклеились к ней, этой любви, и как она их накрыла! ошибка, пусть мы одновременно умрем с ней вместе, чтобы она, эта любовь, ничего так и не сказала, что останется от нее без нас, чтобы мы никому не сказали, что останется в нас без нее, это наша общая тайна и секрет, чтобы ничего живого не осталось ни от нее и не от нас, чтобы она убила нас своей любовью, но и сама убилась насмерть, чтобы ее духу, любви, в природе не было, так же как и нашему духу чтобы не было; мы будем последние, на кого она распространится, мы будем последние, кто распространится на нее.

Мы условились друг с другом, что будем говорить все, как есть, хотя в языке есть определенная условность. Нам жалко друг друга, но мы должны "делать любовь", чтобы знать, из чего она сделана, что она делает с нами. Мы любим друг друга как: собаку, картошку, маму, море, пиво, смазливую девицу, трусы, книжку, плейбоя, Тютчева. Этот неполный перечень дает возможность понять, что в этой области страсти нет границ, нет перехода из съедобного в несъедобное, из твердого в жидкое, из неодушевленного в съедобное, в маразм, у которого нет границ.

Все так и будет, если только люди из внешнего мира: герои, надзиратели и просто так, те, что обитают по ту сторону решетки, не разрушают нашу среду обитания, не нарушат экологическое равновесие в нашей среде, здесь, у нас в комнате, не убьют прежде нас свет, который нам светит, не убьют наше элементарное царство, куда входят стулья, шкафы и тарелки; они, эти люди, могут помешать нашему элементарному царству стать растительным: электрической лампочке — стать солнцем, ковру — газоном, шкафу — горой, войти воде — в русло, прежде чем она войдет в канализационные трубы, но если экологическое равновесие в нашей среде обитания будет сохранено и будет гармония между радио и утюгом, телевизором и телефоном, будет равновесие и между

нами, представителями высшего царства АДАМ, пока мы сами своими руками и ногами не нарушим равновесие.

Чяцяжышын подкрепился. Он теперь будет веревку полдня добывать и пилочку, которую он к вечеру добудет, которую мы у себя сами к вечеру под кроватью найдем. Пора с ним прощаться. На сегодня мы уже все сказали, что можно сказать, а так можно и лишнего наговорить. И этот день прошел, единственный и неповторимый, единственный в своем роде, осталась только тень от этого дня, она ляжет на дорогу и встанет на дома, она будет везде, эта тень будет называться вечер, тень, колоссальная по размаху, начнет сгущаться через полчаса, хотя будет нарушена кое-какими бликами света, фонарями, рекламами, витринами магазинов, но главное, что часть земли, где мы находимся, будет через полчаса в крошечной тени.

Отработать сюжет, не бояться банальностей, не бояться чистоты образа, создать критическую ситуацию, учитывая все последствия, снизить образ, встать в шесть часов утра, как это делает "калмык и ныне дикий тунгус", выпивая стакан кефира, со свежими силами запечатлевая все как есть на пяти страницах, оставляя большие поля на полстраницы и не оставляя и тени того, что можно оставить, если не отработать, не создать, не встать и не выпить, а криво отстучать на машинке с опечатками и добить от руки каракулями; и в этих буквах, доведенных до неузнаваемости, в этой тусовке можно будет разглядеть первоначальные импульсы и детали, интонацию, которая скачет вверх и вниз, все, что было до слова, пока слово не было зафиксировано; загонять слово в угол, выжимать из него последние соки, лучше взять другое слово, которое стоит дальше от того предмета, который ему положено обозначать, и взять другой глагол, который стоит подальше от действия, которое он обозначает в обществе, на рауте, в местах общего пользования, в столовой и на вокзале, за дверью: куда его выставляют за плохое поведение. И этот набор слов будет бороться с чистотой русского языка, наступившая на улице тень (вечер) будет бороться на бумаге с вечером (тенью), пока земля сама не выйдет из тени, земля будет отталкиваться от спортсмена и прыгать на три метра в высоту, устанавливая новый мировой рекорд.

Чяцяжышын будет нас поодиночке обрабатывать.

Он еще не все выжал из ситуации, что можно выжать, он еще не выжал ревность из Отматфеяна, которую он по капле выжимает, которая сейчас брызнет. Она так сильно, ревность, по качеству отличается от любви, как видимость от знания. Она лезет в глаза, ревность, она так обрабатывает мозг, что знание отходит на второй план, отдавая предпочтение видимости. То, что Сана то садится, то встает рядом с Чящяжышыным, так же не точно, как и то, что солнце то встает над землей, то садится, как в тундре, не заходит за горизонт летом. Сана вообще не имеет Чящяжышына в виду ни зимой, ни летом, когда встает или садится, как и солнце по утрам и вечерам не имеет в виду землю, оно не встает и не садится -- это одна видимость, то видит наблюдатель, который больше отдает предпочтение видимости, чем знанию, и наблюдатель думает: солнце садится и встает, это как раз и фиксируется в языке, и Отматфеян думает: "Сана садится и встает", а знание не фиксируется в языке: то, что земля, еле поворачиваясь, поворачивается задом к солнцу, опираясь на видимость, а не на знания, фиксируется в сознании. Если Сана еще раз сядет рядом с Чящяжышыным, то Отматфеян сядет в шкаф как наблюдатель и будет смотреть в замочную скважину, в телескоп, что будет дальше, когда она сядет. А что видно в замочную скважину, хотя бы и в телескоп? Не видно — "было" или "не было", потому что это бывает, значит, может быть, и какой толк знать, что земля — вокруг солнца, как видно, ведь видно! что это солнце — вокруг земли, значит, должно быть третье лицо, которое точно скажет, что нет, не было, кто это третье лицо? автор? но автор в этот момент ничего не видит, потому что его самого приперли к стенке по этому же самому поводу, и автор тоже ищет третье лицо, которое скажет, что нет, но и у автора этого третьего лица — нет. И делаются поспешные выводы, и видимость обрабатывает знание, и это фиксируется в языке, и поэтому каждое утро солнце "встает" и каждый вечер "садится", и каждое утро прощаются погрешности в языке и не прощаются погрешности в жизни.

Отматфеян сидит в шкафу, он добровольно заточил себя в этой машине, в горе, и гора не сдвинется за него, он наша последняя надежда, пусть он сидит пока, сидит и сидит, и есть не просит, потому что, как только он сдвинется с места, все сдвинется с места, и шкаф сдвинется с места. Отматфеян набросится на Сану — как она

могла говорить с Чящяжышыным на том языке, на котором они говорят вдвоем по утрам и вечерам, а на каком же ей с Чящяжышыном говорить языке, на английском что ли? нет, правда, ведь за это убить можно, как же можно употреблять те же самые обороты и те же самые слова, ведь это же язык! а не общепит! Ревность беспредметна, но если этот предмет — человек, то можно растряссти человека от слепоты, потому что не знаешь, что за предмет ты трясешь, и добиваться, что такое человек, — методом исключения: человек не птица, да потому что не летает и яйца не кладет, и не медведь, потому что не сосет лапу, и не телефон-автомат, потому что у него трубка между ног не висит. А сама птица про себя птицу знает, кто она, "птица"? знает, куда ей лететь и что есть, у нее все на автомате, на полуавтомате, она не комплексует по утрам и не впадает в депрессуху, от того что ей надо работать. А человек, венец творенья, неправильно что венец, потому что каждое качество в человеке доведено не до совершенства, а до абсурда, он — тупик творенья, человек, причем тупик с самого начала. И может быть, отцы церкви (св. Августин и прочие) уже давно до этой мысли дошли, но мы до нее только что сами дошли, и, может, св. Августин и прочие исходили из неточности перевода слова "венец" с идиша на хинди, с саддукейского на слэнг, на мат, тогда конец творенья, если не сказать хуже, хуже всего, если "человек", "конец" и "венец" — это слова одного и того же порядка, синонимы, и вот этот человек, "ец" творенья, сидит кто в шкафу, кто под столом, кто за столом, пока животные кто икру мечет, кто яйца откладывает, кто живых детенышей рождает. А человек никогда икру не метал и яйца не откладывал, он сразу живых детенышей рожал, ему и не снилась такая эволюция, он и в подсознании икру не мечет, это птица в подсознании икру мечет, а через миллион лет она будет живых детенышей рожать, и она, птица, будет развиваться до бесконечности, сама, своим трудом, и никакого "венца" у птицы не будет, а человек сам ничего в себе не развил до совершенства, он только комплексует по поводу всего готовенького, за миллиарды лет даже прыгать как следует не научился в высоту, мировой рекорд три метра.

Сана должна накормить Отматфеяна, должна приготовить своему любимому то, что он любит, ведь мы изучаем то, что любят зайцы, синицы и рыбки, и если их не тем кормить, они помрут. И Отматфеян помрет,

если его не тем кормить. Поэтому Сана должна проследить, какую пищу Отматфеян ест охотно, а к какой не притрагивается. Отматфеян лучше совсем ничего не будет есть, если Сана перепутает и будет кормить корову с утра до вечера яичницей с мясом. Сана должна выпустить Отматфеяна на лужайку, чтобы он там пасся среди расфасованных пучков зелени, среди пакетов с молоком, а Сана будет внимательно следить, какой пучок он жует охотнее всего; она не будет кормить его похлебкой из концентратов, чтобы из нормального экземпляра вырастить самый большой экземпляр, из нормального огурца самый большой огурец, пусть они сами, кто до этого додумался, едят свой комбикорм и увеличиваются в размерах. Как в лесу происходит естественный отбор (более сильный съедает более слабого), так и в магазине должен происходить естественный отбор, более сильный должен пастись в своей нише: среди кур и отбивных, а более слабый — в своей: среди кефира и яиц, и нечего всем вместе набрасываться на одну и ту же колбасу. Сана долго приглядывалась к Отматфеяну и заметила, что он не любит есть пищу в натуральном виде, как звери, ему нравится, чтобы еда подолгу готовилась, чтобы все варилось отдельно, потом все соединялось, потом все разъединялось, чтобы потом еще припорошить сверху все снежком, замаскировать усилия подливкой, а сверху украсить; волк так очень любит — украсить зайца морковкой и капустой, которую заяц специально для украшения с собой в зубах прихватил. Собственно, Отматфеян наслаждается не убитой курицей, а временем, убитым на приготовление этой убитой курицы. Эта убитая курица может воскреснуть за четыре часа, пока к ней готовишь соус монмаранси, пока выпариваешь из портвейна спирт и трезвый портвейн смешиваешь с вишней. А Чящяжышын совсем не убивает время на приготовление еды, у него даже остается лишнее время в консервной банке из-под лосося, из которой ему лень даже суп сварить, он любит все натуральное: виноград в косточках, картошку с "мундиром", колбасу с целлофаном. Чящяжышын злится на Отматфеяна на то, что Отматфеян любит рыбу в кляре, рыба сама в кляре не плавает, но рыба сама и в консервной банке не плавает. Просто Чящяжышын тратит деньги на консервную банку и получает в готовом виде время, которое он тратит на то, что убеждает Сану, что нельзя тратить столько времени на приготовление еды. А Сана что любит, самая крово-

жадная? Из детсадовских черепашек — черепаховый суп; она это не любит, но ведь ест, ела запретный плод, который сладок, — яблоко, с пятиконечной звездой из зернышек в разрезе яблока, жаворонков, запеченных в тесте.

Отматфеян будет сидеть в шкафу, будет рыться в полезных ископаемых в недрах горы и в фирменных тряпках, у которых еще не оторваны ярлыки, он будет рыться и проморгает: села все-таки Сана рядом с Чящяжышыном или встала, потому что он сам, пока сидел в шкафу, сто раз сел рядом со студенткой и таджичкой, и прочими девушками, которых он пачками развозил по домам, он только не сел рядом со своей любимой, потому что она в это время подсела к одному поэту и трем грузинам, которые должны ее четвертовать, чтобы одновременно развести по домам.

Все равно мы не сможем уехать на Кавказ, пока Таня не изменит мужу и не уедет с Онегиным на Кавказ, все равно по времени сначала они должны уехать на Кавказ, а потом уже мы, все равно сначала должны воскреснуть Ромео и Джульетта и пожениться, и только после них мы сможем пожениться, все равно сначала Отелло должен набить морду обманщику и не поверить в измену, а потом уже мы должны не поверить в измену, но когда еще очередь дойдет до нас, если он еще и не собирается бить морду, они не собираются жениться, они не собираются ехать на Кавказ.

И если Отматфеян захочет писать стихи, то пусть он в прозрачную сонетную форму вставит какую-нибудь парашу, пусть форма не соответствует содержанию, пусть форма гладит по головке, а содержание режет слух. Может быть, хоть тогда от этой дисгармонии закружится голова, и мир бросит стоять на ушах, и все встанет на свое место, и любовь будет любовью, и не нужен будет дополнительный допинг, не нужен будет следующий вернисаж, и следующий синяк, чтобы под звуки марша объясняться в любви. Есть одна загадка: кто ее разгадает, того она и разбудит, а кто ее не разбудит, того она не разгадает. Она покоя не дает, эта загадка: как спящая красавица узнает, что ТОТ есть именно тот? что будет у ТОГО? какое-то особенное дыхание или какой-то особенный запах, что будет такого особенного в эпителиях губ, что она проснется от его поцелуя? Она проснется от поцелуя и тем самым она даст ЕМУ понять, что он именно тот, или он разбудит ее поцелуем и тем самым

даст Ей понять, что он именно тот. Есть ли здесь дистанция между проснется и разбудит, как между молнией и громом, светом и звуком, взглядом и словом. Что сначала — молния, свет и взгляд, а потом гром, звук и слово? или только в этой области — ответной страсти — бывает одновременность, когда молния равна грому, свет — звуку, взгляд — слову. И это не она проснется, и не он ее разбудит, потому что нет пассива и актива, нет разрыва между разными качествами: взглядом и словом, нет дистанции между образом и отражением образа. Тогда почему же есть дистанция между тем, что "ты сказал", и тем, что "я поняла", между тем, что "ты меня разбудил", и тем, что "я проснулась", и мы оба не выпались. Плохо быть человеком, когда у всех один и тот же запах, потому что все пользуются одним и тем же одеколоном, но тогда уж нужно быть человеком до конца и жить с человеком, а не с эрдельтерьером; как это называется, когда человек живет с собакой или с козой? скотоложеством? Это называется свинством, и надо выходить из "венца", из данного нам с рождения тупика, но у человека скорее вырастут колеса, чем крылья; надо, надо, но для этого сначала надо поесть. Как там курица, еще не воскресла?

— Иди есть, — Сана позвала Отматфеяна, и шкаф сдвинулся с места, гора пошла, поперла прямо в проем двери и разможила косяк, она встала посреди кухни, гора, вывалила все свои полезные ископаемые на пол: галстуки и ботинки, эти удавки и колеса, пустив пыль в глаза с вершины, где вместо снега лежала пыль, полетели вместе с пылью мелкие предметы — камушки, дыроколы и карандаши. Надо остановиться, не надо доводить шкаф до того, чтобы из него брызнула лава, чтобы в этой лаве, как в янтаре, остались припечатанными к полу: ложки и стулья, мошки, люди и тарелки, а потом бы все сверху занесло пеплом, его хватит на целую Помпею в пепельнице, столько выкурить за день! Красивое украшение, комната, запечатанная в янтарь, а вон мы там сидим, с краешка; продеть ниточку и носить этот булыжник на груди.

— Все, давай прощаться, — сказал Отматфеян Чящяжышну.

— Мы же не решили, — возразил Чящяжышын. У него есть время, чтобы возражать, он накопил его за всю жизнь в консервных банках и теперь просаживает здесь, на кухне.

— Остальное завтра. — Отматфейн не накопил время, он его давно просадил, хотя у него есть немного времени сейчас, но только так, чтобы сейчас посидеть, и он не собирается тратить на это время, чтобы с Чящяжышыном посидеть.

А Чящяжышын не хочет сейчас ехать, он хочет так посидеть, чтобы потом уже никуда не ехать, здесь где-нибудь и залечь, но здесь совсем нет места, и каждый метр расписан, и под кроватью нет места, и на стуле, а на раскладушке? Ее мы давно отпустили на заработки, тем более что курица сама себя съела, пока варилась. Чящяжышын обиделся. А может, мы тоже обиделись. Тогда нужно всем вместе обидеться на то, что зимой день короткий. Теперь Чящяжышын будет в дверной глазок смотреть, с той стороны, с лестницы, вместе с таксистом, со слесарем, они покурят на лестнице и посмотрят, им будет не скучно.

Даже без шума, который утих к ночи, без света, кроме света мелких звезд, они далеко от нас, бесполезный свет, зато свет от снега, совершенно особый свет, идет — снизу вверх, от него падает свет на деревья, на птиц, которые легли спать в темноте, им не нужен свет, они получают его завтра от солнца, которое ближе к земле, полезный свет. Долгожданная минута. Про нее нечего сказать, кроме того, что она пошла. И мы пошли вместе с ней. Можно было бы полететь, можно было бы поплыть навстречу друг другу, но эти святые качества: плыть и лететь — наложились друг на друга, и образовалась походка. Что такое допинг? вот интересно, Онегин так сразу и полюбил Таню или просто выпил? "у нас есть что-нибудь выпить?" — "только дистиллированная вода". Значит, мы, без чешуи, без шкуры и оперенья в собственной коже, не подплывая, не подлетая, должны подойти друг к другу.

Страшно. И не потому, что за это вышка, кто нас за это сможет наказать больше, чем мы сами себя накажем? Хотя бы закурить. Если не перышки, то хотя бы дым; как два облака, которые бесконечно сливаются в небе, бесплотные, нет, еще не известно, что там у них внутри, у облаков; все-таки нашли выход — сделали два шага навстречу друг другу, прикрытые облаками. Но дым есть — и нет, и его нет, опять ясная погода. Мы хотим так подойти друг к другу, чтобы больше уже не хотеть подойти, то есть знать, что значит "подойти". Что же мы делаем друг с другом! Вместо того, чтобы обняться, мы

убиваем в себе желание обняться, мы стоим на месте и расчлняем эту бедную ласку, чтобы она уже больше никогда не проснулась в нас, мы прибаваем ее к полу, мы с ума сходим по ней, но еще минута, и она должна околеть, и тогда мы подойдем и обнимемся, без всякого желания делать это, мы сделаем это; нет, она еще трепыхается в нас, эта ласточка, незащитное влечение в каждом из нас, и мы, как два пия, стоим на месте, не делая шага навстречу друг другу, чтобы прижаться друг к другу, и это очень страшно — так стсять на расстоянии одного метра. Все-таки мы дотронулись друг до друга, так и не поняв, куда делась эта ласточка, в какую дыру она забилась от нас, двух уродов, которые чуть не прибили ее, она попискивает где-то внутри, мы ее не слышим.

Мы смотрим друг на друга в упор, что мы видим? Ну, локоть, ну шея, ну живот. Абсолютное знание, можно присягнуть, что это, точно, шея, локоть и живот; почему же так хотелось этим обладать? да, пока мы себе не отдали отчет, что это только шея, локоть и живот, было полное отсутствие этого знания, и отсутствие знания возбуждало желание, где оно? нет, нет, мы не хотим знать, что это локоть, шея и живот, пусть будет ничего неизвестно, пусть локоть будет углом, живот — объемом и только, шея — высотой и только. Название убийственно. Назвать живот — животом, значит, прикончить живот. Это опасная область, там, где рождается название предмета, туда нельзя ходить, туда нельзя заглядывать людям, только с птичьего полета, с последнего ряда стадиона. Мы только еще поняли, что у нас есть живот, локоть и шея, а наше желание друг друга уже почти заснуло, оно уже еле ворочается в уме, зато спящая красавица явно ворочается во сне, вон, как сладко она потянулась, что это ей не спится, что это девушка так оживилась, не рановато ли? Но ведь можно все-таки любить человека, даже если у него есть шея, локоть и живот, ведь в этом нет ничего страшного, хотя страшно, что в этом нет ничего загадочного, но вот если бы узнать, что он тоже видит то же самое, партнер, тоже видит только шею, локоть и живот — тогда спать, тогда заснуть мертвым сном и спокойной ночи! нет, видимо, еще не все мы отгадали, потому что спящая красавица повернулась на другой бок и засопела. Это Чящяжышын выписывает журнал "Природа и жизнь" и знает, что частота вибрации среднего пальца больше, чем указательного, пусть

кто-то защитил докторскую диссертацию на эту тему, сравнив частоту вибрации тысяч объектов, это смешно. Совсем не смешно, что мы хотели убить в себе желание обняться и думали, что убили его. Но только пока не обнялись. Как только мы обнялись, мы все забыли. Это счастье и несчастье одновременно. Это счастье — не знать, пока это процесс, и несчастье — не знать, когда это итог. Не то слово, как хочется новых ощущений, — это правда; это неправда, потому что, не то слово, как хочется тех же самых ощущений, — это правда; это неправда, потому что "правда" — не то слово, игра слов. Заигрались, и завтра же мы сами освободим эти апартаменты для других объектов, субъектов, пусть они придут на все готовое и продолжат начатое нами — в этой комнате, где каждый предмет внушает, что надо делать с этим предметом: стул внушает мысль, что он стул и что на него надо сесть, кровать внушает мысль, что на нее надо лечь, курица в вишневом желе внушает мысль, что ее надо съесть. Мы подкрепимся и уйдем в желе, в первоначальную среду, из которой все мы вышли без всякого труда, это желе готовится с таким трудом четыре часа, на приготовление первоначальной среды, из которой вышли звезды, деревья и птицы, потребовался миг. Конечно, стрекоза — венец творенья, она выползает на солнышко из туринской плащаницы, оставляя плащаницу сидеть на сучке, а у самой стрекозы уже крылышки сохнут, сейчас она полетит, это бывает каждое лето, не раз в тысячу лет. Зачем же так, зачем подходить к человеку формально — запретить одни органы и разрешить другие, почему живот можно, а чуть ниже — нельзя, а чуть ниже опять можно, и так до самого низа? почему живот можно, а немного выше нельзя, а выше можно, и так до самого верха? почему одно действие считается приличным, а другое неприличным, одно слово приличным, а другое слово неприличным, и неприличным органом и действием ругаются, словом, а приличным разговаривают нет, правда, почему? У каждого есть любимый: у кого телевизор, у кого кошка, у кого человек. И особенно страшно ночью, когда просыпаясь в три часа ночи и под рукой нет любимого: телевизор не работает, кошка гуляет, человек не звонит. Нужно крепко спать ночью, чтобы не думать о любимом ночью, чтобы работал, не гуляла, не звонил, а утром хорошо: телевизор заработал, кошка вернулась, человек позвонил, и так всегда, а кому не нравится, пусть со-

вершает переворот в сознании телевизора, кошки, человека, пусть делает революцию в их сознании, чтобы они были рядом круглосуточно.

Мы уже пошли из этих апартаментов, мы уже встали и пошли, мы уже встаем и уходим. Зря нас сюда посадили, чтобы мы избавились от желания, уходим, сейчас желание избавится от нас. Какой побег. Красота. Мы бежим из этой дыры на свободу, которая бежит в эту дыру на нас. Они все, люди, море голов, бегут на нас, мы встречаемся с ними на плоской решетке и не ущемляемся на ней, потому что она двухмерна? а мы трехмерны? Мы войдем в историю с этих побегом, потому что мы, объемные, просочимся в дыры решетки, и они, объемные, люди, кто просочится, тот — и здесь, а кто не просочится — тот и там, а пока мы — и здесь, и там, потому что у нас кое-что просочилось, а кое-что еще нет, и что-то здесь, а что-то там, у людей, которые валят сюда, что-то уже здесь, но что-то еще там, а кто смотрит в дверной глазок, у того взгляд — здесь, а глаз — там. Мы валим, как снег, убегаем по горизонтали и по вертикали, только нас и видели. Какая может быть пилочка, которой решетку подточить, какой позор! А Чяцяжышын все проморгал, он проморгал то, что видно в дверной "глазок" одним глазком. Чяцяжышын останется здесь в элементарном царстве стульев и растительном — капусты и огурцов, и стулья станут сначала огурцами, а потом человеком, а огурцы сразу станут человеком, если за ними хорошо ухаживать, если вытирать пыль с витрин, где они будут развиваться, если им на шею повесить мемориальную доску, а на ней написать, что эти огурцы и стулья были огурцами и стульями человека, который сам стал огурцом и стулом, а они стали человеком. Чяцяжышын все покажет посетителям, где стоял стул, где стоял холодильник и телефон, где мы сидели на стуле, и как стул стал человеком, и как человек стал стулом, и как Чяцяжышын не стал стулом, а стал музейным работником в доме-музее человека, и Чяцяжышын будет поддерживать в музее порядок, чтобы в музее все было, как при нашей жизни, он справится, Чяцяжышын, потому что он убил на нас свою жизнь.

А мы уже сталкиваемся с людьми, которые лезут на нас всем миром на двухмерной решетке. Он, как хорошо! неужели просочились мы туда, а они сюда, мы? кто? мы? куда? они? куда? что умерли, что ли? Потому что ничего с нами не ясно, а они живы, потому что все с ними ясно,

тогда, скорее, они умерли, раз с ними все ясно, а мы живы, раз с нами ничего не ясно. Проснулась девушка, проснулась красавица, и ей хочется целоваться, теперь с ней все ясно, а с нами ничего не ясно, и мы будем спать, пока ей не будет ясно, что с нами будет ясно, спокойной ночи.

IV

От нас осталась видимость нас, Чящяжышын сколотил состояние на нас, чтобы увековечить нас в памятнике нам. Нас руками не трогать, не щипать, не колу-пать нас, смотреть на нас, изучать нас. От нас остался памятник нам, которому не уйти от нас, и он принадлежит нам. И кто за нас, тот будет за нас и без нас, а кто против нас, тот за нас и не будет. Пусть нам говорят про нас, что нас нет в памятнике нам, поносят нас, пусть изнасилуют нас надписями на нас, отсекут конечности нам, чтобы не узнать нас, и приставят новые нам, чистят зубы нам и поливают нас; золотые коронки, мраморная шея и грудь, и гипсовые тапочки годятся нам, и пусть три метра нас, и две тонны нас послужат нам, атас, кто не видит,, что из памятника нам выпирает бездна нас, ни венки, ни искусственные цветы для нас, ни корзины, набитые тряпичным дерьмом, не нужны нам, веселая картинка с хороводом скамеек не для нас, с классикой голубей на макушке, с негативом снежных масок, нас можно размножить дагерротипным путем и другим путем, наделать голограмм, отснять и отпечатать, чтобы вы подавились нами, расцеловали нас в памятнике нам, чего хлынули к нам, когда от нас остались только формы, чего прилипли с газонами и фонтанами к нам, чтобы нам в рот стекал ручеек из водопроводного крана, руки не мыть, не пить, не сорить на нас. Зато нас лижут собаки, нас, потому что нас по горло в памятнике нам, а какие еще памятники нюхают и лижут собаки? Никакие не нюхают и не лижут, и кто сотворил нас, тот пусть и расхлебывает нас, а нам плевать на то, где нас нет. Менты охраняют нас, лимитчики, все до одного хотят жить в Москве, третьем Риме, продают себя в рабство в Риме, чтобы потом выкупить себя на свободу и жить через пять лет в кооперативной квартире. Так они хотят нас охранять или хотят жить в Москве, Третьем Риме? все равно! Вон, катит весна, листья лезут прямо на гла-

зах, каждый лист вылезает по миллиону лет, этот процесс охватывает и жизнь Ивана Грозного, который уже четвертый по грозе, и других, пропустив зрелость и увядание, и сезонные явления в жизни птиц и зверей.

Наша квартира — не наша, она, квартира-музей, работает без передыха, каждый день — сегодня, даже в понедельник, выходной день, потому что все большие специалисты, которые изучают нашу жизнь, могут только сегодня, а завтра не могут, завтра каждый из них должен быть самолетом у себя на родине, поездом, куда ночь езды, электричкой — всего несколько часов, пешком — в десяти минутах ходьбы, говорят на нашем языке, потому что, изучая жизнь объекта, лучше всего говорить и думать на языке объекта, на пушкинском языке, на тургеневском, на языке Толстого и Достоевского, они пьют день и ночь за могучий русский язык, чтобы сохранить его чистоту. Русская литература — это вещь, и русская жизнь — явление, сказать почему? А только у русских литература смешана с жизнью до пассива и актива, и писатели — всегда актив, а героини — всегда пассив, живых женщин нет. Все мужчины хотели бы иметь дело только с Наташей, Сонечкой и Таней Лариной, начиная с детского сада — с золотой рыбкой, идеальной женщиной, а все женщины зато с самим Пушкиным, Толстым и Достоевским. Мы гуляем по ночам, по гостям, мокнем под дождем — от памятника к памятнику, которые сидят, стоят и мокнут под дождем, гуляют каждый напротив своей квартиры-музея, нет — чаще напротив отдельных квартир, чаще — напротив ресторанов; облепленные табачными киосками, отрезанные от улиц шоссе, напротив светофоров, чтобы легче переходить улицу на зеленый свет. Даже под землей, в метро, мы среди своих, и там памятники — в спортивных майках и трусах, физкультурники, атлеты, большие писатели, от кого торчит голова, кто по пояс, кто в полный рост.

Холодно. Прошел мужик и оглянулся на парочку, так нельзя ходить по улицам, так обнявшись. Сана и Отматфеян ходят по улицам так обнявшись с утра, руки окаменели от холода, могут отвалиться. "Позвони еще раз". В телефонной будке на стеклах цветы из снега, в следующей точно такие же, но погрязней. "Не пришли?" — "Не-а". Туда, куда они звонят, должны прийти, чтобы их впустить, чтобы потом уйти и их оставить. "Надо

было сразу ключ взять". — "Надо было". Теперь мост и река. Наверху мост, внизу река. Река длинная и кривая, вся в льдышках, из нее нельзя пить, вся в жирных пятнах, вон мусор поплыл... Пролетела тень птицы. "Давай еще позвоним". Никого. Руки мраморные от холода, деревянные ноги. Тогда домой. Там Чящяжыщын, он думает о нас. Он так хорошо думает о нас, что неделю ест одни макаронные рожки, потому что все его деньги съедает памятник нам. Полно людей, они скапливаются под фонарями и в магазинах, греются. "Можно попробовать еще одно место, — сказал Отматфеян, — но я не гарантирую". — "Туда нужно звонить?" — "Да пошли так".

— А что хоть за место? — спросила Сана.

— Даже смешно сказать.

— А чего смешного-то?

— Сама увидишь.

Пока они шли, было не очень-то смешно, потому что уже хотелось скорей прийти, позвонили в дверь полуподвала, стало совсем не смешно, никто не открывал, между зоопарком и планетарием: искусственные звезды, искусственные звери в клетках, некуда деваться. Нет, шевелится кто-то за дверью, кто-то потоптался и спросил: "Кто?" — "Открой", — сказал Отматфеян. Им открыли. Хозяин явно смотрел и не узнавал. К тому же было темно. "Не узнаешь?" — спросил Отматфеян. "А-а, — сказал хозяин, — заходи". "Я не один", — сказал Отматфеян и пропустил Сану вперед. — "Заходите", — сказал хозяин. Он зажег свет, и стало смешно. Торчали гипсовые физкультурники, в дверях лежали их отбитые руки и ноги, медведь, наполовину прикрытый тряпкой, обязательный бюст Вольтера (причем здесь Вольтер?), в тазике с сырой глиной копошились сперматозоиды, еще не развившиеся до физкультурников, медведей и Вольтеров. "Вон туда проходите", — а сам пошел отмывать руки. Комнатка ничего, куда они прошли, здесь и не пахнет творением, кровать, шкаф, унитаз, не включенный в сеть: в роли ночного столика, прикрытый сверху дощечкой. Хозяин появился вовремя, накинул скатерть на унитаз и полез в форточку за съестным. Из сетки он достал холодец, который кристаллизовался на морозе, по нему можно было изучать структуру льда, слегка начиненного мясом. "Да мы сыты", — сказал Отматфеян. Можно в магазин сбегать, там шампанское, но без медалей, тогда лучше пиво, а пиво что, с меда

лями? Конечно, у хозяина есть имя, которое ему дала мама; для чего даются имена таксисту и билетеру, хозяину, к которому мы пришли в гости, чтобы лучше их запомнить? тогда не будем давать имя ни водителю автобуса, который нас вез, ни хозяину, чтобы лучше их забыть. А он все еще здесь, даже без имени, сидит и ест свой холодец, который сверкает на усах. Пошел ставить чай, пошел за чайником, Отматфеян пошел вслед за ним. Отматфеян шепнул ему одно волшебное слово, и хозяин стал по-быстрому сворачиваться, ему, оказывается, уже давно пора быть в одном месте, где его давно ждут, и ему неловко, но он должен сейчас нас покинуть. "На минутку", — позвал хозяин Отматфеяна. — "Понял, — сказал Отматфеян, — на гвоздике". А когда будем уходить, закинем ключ в почтовую щель, ему мастерская до следующего вечера не нужна, вообще никогда в жизни не будет нужна, так ведь только на пять минут зашли, тогда и хозяин только на пять минут вышел — погулять, до булочной и обратно. Распрощались. "Быстро ты его обработал", бьется сердце, может выскочить, у каждого с собственный кулак, "вот это да! какое у тебя сердце, как двинешь им!", — солнце взорвалось, когда, всегда, нам взрыв светит и греет, это "ба-бах" уже сверкает миллиарды световых лет, не подлетишь даже со скоростью света, только со скоростью взгляда, у которого скорость больше, "помада на трусах", — "пускай", первозданный лес, вот так зарождалась жизнь в тазиках, под сырыми тряпками, вот так, чтобы еще завтра можно было поправить у объекта живот, если не нравится, мазнуть по ноге, оттяпать лопаткой лишний жир, "пойдем", — "куда?" — "пошли, покажу". Бассейн, подобие бассейна, чтобы месить глину или чтобы принимать грязевые ванны, ни то, ни другое, чуланчик с бассейном наполнился паром от горячей воды, которая живо наполнила бассейн, воды по шею, все условия, чтобы замесить друг друга и слепить, как надо, произвести целое потомство, оплодотворить все тазики и горшки, "сюда вставай", — "что?" — "встань сюда", — "выключи воду, не слышу", — "ты моя". Так можно свариться от такой температуры, "включи холодную воду", — "что?" — "выключи совсем горячую". Среда сопротивляется, вода, "плыви ко мне", теперь — за. "Хочется курить", — "все хочется", — "пойди принеси".

Отматфеян вышел на сушу, чтобы принести равномерно покрытый глиняным пушком, скинул свои тыщи

лет, которые были сейчас не нужны, "ты почему сейчас так на него смотрела?" — "на кого?" — "на этого атлета", — "на какого?". В углу атлет, пропорциональный до мозга костей своим мозгам и костям. Отматфеян втянул живот, чтобы его туловище было пропорционально ногам, "ты хочешь с ним?" — "с кем?" — "тебе хочется с атлетом?" — "ты сам хочешь с медведем", — "только с тобой", — "с медведем". Отматфеян вытащил Сану из бассейна, чтобы она созрела на берегу, подсохла, вот она, возня на суше, "я выбью из тебя медведя и атлета, поняла", — "прекрати", — "у тебя страсть к полу вообще, будь кто угодно, в том числе и я", — "перестань", — "я только один из объектов пола", — "ты меня так убьешь", — "я тебя так убью, ты любишь пол как таковой, вообще мужской, и меня как представителя", — "тебя одного", — "врешь", — "правда", — "ты не любишь этого атлета?" — "ненавижу", — "а медведя?", — "нет", — "только меня?" — "да", — "что да?" — "люблю только тебя", — "врешь!" — на кафельном полу, в собственной луже, из которой прямо на глазах лезет целое человечество, как на дрожжах.

Отматфеян разошелся, он подогнал атлета и швырнул его в бассейн, в его среду, из которой он вышел неделю назад, атлет растаял как сахарный, обдав волной, испустив дух тут же и медведя туда же, всех, и Вольтера, "нас за это убьют", — "завтра своих слепим", не хуже, поналепим и выставим на солнышко просушиться, и Сану туда же, в бассейн к живым клеткам, и сам туда же, все вместе, "это чья нога?", — "это медведя", еще не растаяла, "а это чья?", — "это твоя", все мое, здесь, все твое, общее, все вместе, "это твоя рука?", — "а чья же?" — "я думала его", голова оторвалась, плавает и не тонет, почему она не тонет? потому что сухая, "чья голова?", неизвестно, целоваться, нахлебавшись, состоим из того же, "ты нахлебалась?", кажется, пошли ко дну, "кто?", вот так потопить ее, уже нет лица, смазать по лицу, где лицо? одна болванка, хорошо, что мы не сахарные, "что?", мы прочней, кто кого вытеснит, тесно, булькает, "не обращай внимания", — "я нет, а ты да?", — "да, теперь куда?" — "что?", куда дальше, мы всюду, вытесняем объем воды и не тонем, как в море корабли, "что?" — "как корабли", — "так хорошо?" — "ой", Вольтер по спине потек, "кто?", цепляется за жизнь, "плыви сюда", "куда?", ты где, это ты? смотри, сейчас завязнем в них, в нашем подобии, накрашенный рот, "у

кого?», у медведя красная помада на губах, «у кого?», рот из красной глины, «у кого?», губная помада, «у тебя?» — вымазался в помаде, «в чьей?», в медвежьей, «в моей?», в красной глине, «чего тебе?» — «тебя», — «ты где?» — «вот я», — «а я?» — «вот» — «а там кто?» — «никого?» — «а там?» — «все» — «а тут?» — «вот так хорошо» — «да» — «да», — «это шерсть?» — «да», медвежья шерсть на ногах, на усах, на волосах, «звонок» — «что?» — «телефон» — «что?» — «в дверь» — «куда?» — «нас нет», — «пойду посмотреть», — пошел посмотреть, кто звонит.

Отматфеян пошел в дубовой коже, кто же это может быть, кого нам не хватает, снеговик, конечно, со снежной бабой, одного поля, одной температуры, и снеговика в бассейн, и снежную бабу туда же, морковка вывалилась из рта, плавает в углу, холодно со снеговиком, какой он холодный, морковкой закусить, от снежной бабы мурашки по коже, развалилась дура на три кома, «что ты к ней так прилип?» — «кто?» — «ты — к снежной бабе», — «ой, погоди», можно простудиться от снеговика, «можно», снеговик протаранил Сану в угол, скинул лишний вес, угольки из глаз вывалились, «не соси льдышки», — «это не льдышки», живые органы, плавают, еще тепленькие, «какой холодный» — «кто?» — «кто? ты, кто же еще», все растаяли, все вместе осели на дно, водоизмещение больше, чем надо, от этих снежных тел, они нас сейчас вытеснят на берег, уже вытеснили, поддало прибоем из крана, располагаемся на берегу с кляпом во рту, язык не шевелится, проглотили язык... вот жизнь, все вхолостую, где оно, где потомство, которое произвели минуту назад для жизни, почему не кишит, не расползается на четвереньках для жизни, не делает стойку, какая расточительность, так нельзя, трудиться над потомством два часа, чтобы оно высохло за пять минут; ну почему оно не созреет на радость тут же, сейчас же, все целиком, почему созреет только один из миллиардов, да и то, чтобы его выкинули на третьем месяце, почему бы нашему потомству не разойтись сразу же по домам, прямо в шапке и пальто, в своей скорлупе, с рюкзачком на спине — с некоторым запасом съестного, которым мама одарила при рождении, на первое время, нет, подохнуть на суше, немыслимые похороны, схоронить миллиарды сперматозоидов в сырой земле, в тазике с сырой глиной, здесь похоронить будущее человечество, которое взойдет совсем в другой жизни, никогда не взойдет, никогда! никогда оно не взойдет, никогда! никогда, ни при какой

погоде оно не взойдет, ни с первыми лучами солнца, ни с последними, никогда! даже если удобрять, поливать, никогда не расцветет, никогда, тоска, вхолостую зади-рала руки и ноги до потолка, "что вхолостую?" — "все вхолостую", — "что ты имеешь в виду?" — "все", — "тебе плохо?" — "даже не спрашивай".

Тогда лучше проглотить это недоразвитое челове-чество, слизать с пола, вылизать кафель до блеска и проглотить, это лучше всего, пусть человечество раз-вивается в желудке, пусть оно будет не людьми, а кало-риями, все равно людьми, ах, как это питательно и по-лезно для здоровья, когда это человечество гуляет по кишкам до прямой кишки и выходит в астрал, папа-боже, если это только простая механика и процесс, то двинь нам в сердце кулаком в собственное сердце, чтобы не повторилось еще раз: папа-боже, у нас ведь тоже есть тоска по тому, что тонны нашей жидкости, в которой кишит жизнь, смываются с простыней в прачечной в общем потоке, "ты так позеленел, тебе плохо?" — "с животом", позеленеешь крутишь динаму вхолостую день и ночь,, "а ты белая, тебе нехорошо?" — "тошнит", побелеешь, когда человечество не усваивается в желудке и лезет наружу вместе с морковкой от снеговика, с глаз-ками-угольками — активированным углем; Сана очис-тилась от человечества, ему нет места внутри, кишки не место для прогулок, кишки знаменуют действие звезд или поедание, да кишки и суть поедания всего, что че-ловек вводит в свои кишки и что возросло из силы звезд, — учит Бёме, "какой он счастливый, был твой учитель, Сана, он научил тебя глотать и очищаться", "кто?" — "твой первый учитель", кто, Бёме или член союза Ка-менщиков, композиторов, позволивший себе биде и во-минарии, отделанные мрамором, расписанные лазур-ными рыбками, не предусмотрены в полуподвалах, между ванной и унитазом, как научил первый учитель, композитор, первоклассный каменщик, "как ты поро-зовела!" — "заткнись!" Отматфеян выпил таблетку и стал уповать на милость божью — пронесет — не про-несет, "твой каменщик не пил интестопан, Сана?" ком-позитор? он просто сидел на горшке и уповал на милость божью, Бёме, все же нельзя одновременно: и пить, и уповать на милость божью, модно что-то одно из двух: или пить, или уповать, пронесло, где те горы, за кото-рыми конец не за горами?

Отматфеян обтер Сану тряпкой — полотенцем для

медведей и атлетов, которыми их обтирает каждое утро скульптор после душа, “ты меня так поцарапаешь”, — “прости”, вот поднакопили сил, неужели встанут и пойдут, — “встань и ходи”, встали и пошли; ходят из угла в угол, ищут, чего они ищут? чем бы заесть, чем бы запить, что запить? запить и заесть процесс, молча передвигаются, сталкиваясь в дверях, “извини”, во все щели дует, шевелится пыль, “не видела мою сумку?”, нет сил, все силы ушли на сотворение мира, а где этот мир, который сотворили, этот, что ли? этих глиняных спортсменов сотворили? какая была бы радость увидеть, что после двух часов труда возник мир, воплотился мир, который звенел в ушах и рябил в глазах, с животными, людьми и речками, с криками птиц, ведь они были в ушах, крики, где они? речки текли по рукам; у атлета перебита рука, Сана уложила ее в гипс, чтобы правильно срослась, где все? нет ничего вокруг, что было в глазах и в ушах, все стоит грубо и трехмерно, застыло. Остается привести друг друга в чувство для следующего раза, и в следующий раз точно уж сотворить мир, наверняка, и так раз за разом, чтобы в какой-нибудь раз он возник наверняка, мир, ведь не может быть такой бессмыслицы, чтобы он не возник в следующий раз, может быть, в этот раз мы что-нибудь делали не так, мы в следующий раз сделаем, как надо, и он возникнет, этот мир, прекрасно видимый, воплотится, и новое человечество расползется, и будет ходить на радость нам, только радость творения подстегнет нас к следующему разу, и чулки наизнанку, сапоги воспалят воображение, и этот раз будет ни с чем не сравнимый раз, а “раз и два”, и так каждый раз. Сана сошла в бассейн, легла под одеяло, под воду, ни волны, ни одеяла, ни ряби, нет, задвигалось одеяло, под ним гейзер, крошечный фонтанчик, который не заткнешь пальцем, палец дрожит от напора. Отматфеян нырнул под одеяло с головой, “спусти воду”, одеяло под ногой, надо отмываться от потомства, которым мы облеплены, все плохое смыто в прачечной в мыльном потоке, ушло с талым снегом в землю. в Черное море, ... и реликтовый стол, номерной экземпляр, стоит, облепленный с ног до головы именем, которое ему дала мама: стол, он же табль, он же тейбл, зайгмеш, дунтун, где имена взаимоисключают друг друга. И название предмета сходит, как прошлогодний снег с предмета, уходит в землю, впадает в Черное море, вот для чего так много языков, вот для чего! чтобы дать название предмету на

сотне, тыще языках, чтобы названия (языки) взаимно исключили друг друга и предмет опять остался без названия, ведь если бы один язык был на всех и все до одного звали бы стол “столом”, это было бы слишком серьезно, что именно такое сочетание звуков — ст-о-л — характеризует эту материю на четырех ножках, а поскольку тыща языков и стол, как материя, — и табль, и стол, и мук-мук, то можно принять условие игры, что у нашего племени эта штукавина называется стол, но только как условие игры и только у нашего племени! а так все имена на тыще языках исключают все имена, и тыщи глаголов, и мир останется безглагольно-безымянный, к которому не придерешься, он будет давить на слух и мозг чистотой звука и чистотой материи, он сразу будет слух, вкус и взгляд сразу!

Звонок или в ушах звенит? звонок, хотя и в ушах звенит, в каком ухе звенит? звонок, “надо открыть” — “не надо” — “оденься, я пошел открывать”, так много языков, чтобы на каждом языке сказать одно и то же про солнце, звезды и луну, одно и тоже, чтобы сравнить и увидеть, что сказано одно и то же про то же самое, что одно на всех, хотя бы то, что не дело рук человека — солнце, звезды и луна, — было бы похоже на разных языках, одинаково бы звучало, то есть изначально имело одно определенное имя (название), а человек его неопределенно, по-своему изменял, а дело рук человека — стол, кровать — пусть звучало бы как угодно, на каких угодно языках — это было бы серьезно, можно было бы серьезно думать о названии, но и солнце как название у кого-то солей, у кого-то ку-ку, у кого-то му-му, значит, с самого начала предмет называл человек и не один, кучка людей, а язык — дело рук человека, он на языке спит и видит, как пить дать — мыслит, а птица мыслит мелодией — поет, хотя бы синица, хотя бы воробей, белки улетели на юг; человека явно подучили языку тоже люди, но какие-то любители-изобретатели, не мама, совсем язык не естественен для человека, и, если человек насовсем останется один, он совсем забудет язык, но пока человек живет среди людей, среди своих, не иностранцев, он будет продираться сквозь свой язык, чтобы определенным сочетанием звуков как можно более определенно сказать о сердце, чтобы каждому человеку было понятно глазами, ушами и сердцем сразу, что речь идет о какой-то ляйтер со своей туфтой, что им нужно? они замерзли, они тоже самое, им то же самое,

все-таки же самые в то же самое время; чужие люди, не свои, не то что иностранцы, а не “люди”, как мы, скорее — неопознанные объекты, говорят на нашем языке, где, конечно, понятно каждое слово в отдельности, Отматфейн и не говорит, отделяется междометиями, “угу”, “ага”, а все понятно, потому что он не чужой, какой угодно, но свой, и мы не хотим открывать Америку, узнавать этих “новых” людей, как они устроены, где у них живет душа — в мозге, в сердце или у них душа в пятки ушла, не хотим, но они стоят, неопознанные объекты, белые пятна на тундре, у них с собой пиво, стерилизованное, сегодняшнее, 12 оборотов, хранить сто восемьдесят дней, полгода, и через полгода оно будет сегодняшнее? может, и поговорим тогда через полгода, и пива попьем, раз оно и через полгода будет сегодняшнее, нет сегодня, уже говорим... мы были, да, смотрели, да, и нам понравилось, и они были и смотрели, и им понравилось, красивые картины, как кино, но тогда лучше кино, чем такие картины, и они также считают, и любовь, да, как работа на вредном производстве, да, за вредность нужно выдавать молоко, и они также считают, и времени нет, и счастья нет, а покой и воля есть, они тоже так считают, что нет, что есть, и курить вредно, свинец оседает в груди, как пуля Дантеса, и все мы погибнем от пули, а не от времени, и только Пушкин от времени, а не от пули, полгода сидим и пьем сегодняшнее пиво “Шипка”, за пять минут выпили полгода, за час, за дружбу, еще можно купить сегодня и еще просидеть полгода, пока тут рядом продают, туфта покажет, а Отматфейн принесет, а Сана пока лайтеру спортсменов покажет; пока! ушли. Мы вместе, в отдельности, каждый — рядом с непознанным объектом, зачем? чтобы объект стал опознанным и любимым? неужели, как только любой объект станет опознанным, он станет любимым? и любой может стать опознанным и любимым, и лайтер, и туфта! никогда! пусть они лучше не шевелятся и не показывают себя с лучшей стороны — с хвоста.

Даже через миллион миллионов лет и через миллион миллионов раз все н.о. будут шарахаться в темноте, как летучие мыши, каждая при своем ультразвуке, они будут чиркать в темноте, точно так же, как ласточки на свету, но мы будем испытывать страх от неопознанной мыши — в темноте и восторг от любимой ласточки — на свету, туфта стоит перед Отматфейном, на полголовы выше, на каблук ниже, в точке, в сиянье лампочки в сто свечей,

начищенная до блеска, она сверкает, она светится так, что в глазах становится темно, перепорхнула через все лужицы, которые оттаяли — замерзли. Щебечет. Не то, чтобы он не понимает, он вслушивается. И не понимает. Она могла бы быть королевой Франции, чемпионкой мира, великой поэтессой, она могла бы подняться на такую головокружительную высоту, как звезда, чтобы там сверкать, она могла бы, но она не могла бы превратиться сразу из неопознанного объекта в опознанный и любимый, потому что, если и любимым навсегда, он не становится им никогда допустим, она даже приведет Отматфеяна в свою колыбель, и он ее расшнурует и увидит, что она так же, как снаружи, начищена до блеска и внутри, и у нее прямой нос, самый прямой из всех носов за всю историю человечества, и длинный овал лица, но она не уместается в длину на его длине, и его ширина перекрывает ее ширину настолько, что ни о какой глубине чувства не может быть и речи. Но все поверхностно-прекрасное, как прекрасная поверхность, радует глаз всеми цветами радуги, которых, цветов, семь.

Сана провела ляйтера через девственный лес спортсменов, вольтеров и медведей, она показала их ляйтеру еще мокреньких, созревающих под тряпками, “вот это медведь”, и она ткнула пальцем в медведя, где у медведя живет душа? там-то, где вольтера живет душа? там-то, и они живут душа в душу? ляйтер осмелел, он дотронулся до Саны рукой, забарабанил по ней руками и ногами; что она, противоударная, что не разбилась? может, даже и противоударная, что все трещало, главное, ляйтер искал ее губы и не находил, она не подсказала ему, где они, хотя они были там же, где бывают у всех людей, но их сейчас не было на месте, они были не накрашены, они плавали, накрашенные, в бассейне и обсасывали морковку; ляйтер озверел от того, что она в упор не видит его руки, хотя они вделаны, как надо, и ноги приставлены, и голова на месте, он стал грубо доказывать руками и ногами правоту своих рук и ног, он был в чистом виде противоположный пол, который притягивает как противоположный заряд, его лицо пылало, как пламя, он взмок под своими тряпками, как спортсмен под своими, он был накачан какой-то дурью или воздухом, потому что он все время вдыхал в себя воздух и ни разу не выдыхал, “хватит!” — взмолилась Сана, но он был не железный, “душа моя!” — сказал ляйтер. — “ты мою

душу в глаза не видел”, — сказала Сана; у него вместо глаз было два тумана, и, как в тумане, плавали зрочки, “не сейчас же!” — сказала она. “скажи, когда?” — сказал ляйтер, и она так и сказала: “да хоть завтра”. Это было первое, что Отматфеян услышал через дверь. Он стоял с хрустальной башней пива, с бутылочным дворцом в сетке, “а как же ключ?” — спросил ляйтер, — “он будет у меня, а его не будет” — Отматфеян запутался в ее ответе, кто будет у не и кого не будет, ведь не будет же такого, что его самого у нее не будет, значит, он сам будет, а ключа не будет. А ключ на гвоздике, размножается путем деления в каждой мастерской. Отматфеян подтолкнул туфту к двери вместе с остекленевшей сеткой и выскочил с ключом на дикий холод. Это был настоящий мороз по коже. Почему не замерзают глаза на морозе, а слезы замерзают? потому что глаза теплые? потому что слезы холодные? потому что глаза не из воды? потому что слезы из воды? потому что глаза глубокие? потому что слезы мелкие? ключевых дел мастер был мастером на все руки: пока Отматфеян ждал, пока ключ размножится, мастер приделал ему крепление к лыжам и конькам, починил молнию на сумке, смазал, наточил, заправил, Отматфеян шел обратно... потому что глаза двигаются? потому что слезы стоят на месте?

Они сидели втроем и ворковали, ляйтер и туфта — вместе, Сана отдельно, сетка была наполовину опустошена, пиво пенилось, из каждой бутылки из пены выходила Афродита, было очень весело. “Где ты был?” — спросила Сана. “Гулял, — ответил Отматфеян, — прохладжался”. “Ты же замерз”, — сказала Сана. Она подошла к нему и взяла его за руку. Отматфеян промерз насквозь, как птица, которая замерзает налету и падает, как деревяшка. Он, как деревяшка, сел. “Выпей вот это,” — сказала Сана, “дура, — сказал он про себя, — дает мне ледяное пиво”. “Это чай, — сказала она, — он горячий”. У нее в руках действительно была чашка с горячим чаем, который побежал внутрь и стал растапливать вечную мерзлоту. И когда Отматфеян растаял, расцвел и осмотрелся по сторонам, то увидел, что никого нет, что они сидят с Саной вдвоем, звезды убегают за горизонт и выбегает солнце, где ночь, куда она ушла за горизонт вместе с поцелуями? вместе со звездами, луной и сном, и сон ушел за горизонт? нет, сон как раз вышел из-за горизонта вместе с солнцем, утренней свежестью, бодростью, все наоборот: бодро заснуть, вяло проснуться,

голодать на полный желудок, с голода быть сытым, да нет же, не наоборот, просто нужно правильно рассчитать оборот земли вокруг солнца, и сколько оборотов — столько и дней, а так из-за неправильного расчета мы не можем уложиться в оборот и часть переносим на другой оборот, нужно отыскать начало оборота и с этого начала отсчитывать оборот за оборотом, и, как только солнце сверкнет на горизонте, так и мы сверкнем на горизонте, а как только оно пойдет спать — и мы за ним, а на луну нечего смотреть, нечего ее ждать, то она толстая, то она тонкая, то ее вообще нет, но она же красивая, она же самая красивая на небе, как же ее не ждать, как же на нее не смотреть, вот и ждешь ее целый оборот, пока ее светлость покажется, и ее светлость показывается. Ваша светлость, не шутите с людьми, дайте поспать, дайте хоть вздремнуть! Хорошо, что есть земное притяжение, а так бы луна всех к себе утянула; она хоть меньше и слабей земли, а земля больше и сильней луны, у ее светлости есть сладкая привилегия — отталкиваться от земли, а у земли есть сладкая зависимость — притягивать луну, потому что ее светлость — наверху, а земля — внизу, она — над головой, а земля — под ногами, и то, что над головой, всегда кажется больше и сильней, хотя на самом деле меньше и слабей, опять все наоборот.

Все на полу, подушки и одеяла на полу, холодно и страшно рядом с любимым, который больше и сильней, а ему жарко и весело рядом с любимой, которая меньше и слабей..., ведь если он больше и сильней, и у него особенно остро заточены органы нападения: пятки и клюв, он не должен долбать пятками и носом ту, кто меньше и слабей, раз он старше и сильней. Нет, должен долбать, потому что он больше и сильней, но наверху, как луна, а ее светлость меньше и слабей, но внизу, как земля, и он, наоборот, притягивает, как земля, а она, наоборот, отталкивается, как луна, будет долбать, пока будет верх и низ, а не каша, каша — это вещь! тыкаться в любимого, скулить с соплями и слезами, тыкаться, как недельный беременный горностайчик, у которого еще не открылись ушные раковины, и он не слышит, какие непристойности отпускает сорокалетний папа-горностай, прижавшись к стенке, напавшей сзади, что он совсем слепой, что не видит ничего? может, у него до сорока лет не открылись ушные раковины, может, это он старый, но слепой щенок, который ничего не видит, — глазки до сорока лет не прорезались. Все он видит, все

слышит, только ему нравится потом облизывать слезы и сопли, что за страсть такая у человека — довести до слез человека, а потом слизывать слезы со щек, обсасывая щеки до засосов, неужели нельзя просто? что за страсть выдувать из слезных мешочков в один вечер все, что скопилось там за полгода, ведь слезы для того, чтобы соринка из глаз выпала или ресница, а не для того, чтобы размазывать акварель на бумаге, для этого есть вода, но слезами лучше, еще бы! и глину замешивать лучше, а телячий язык — деликатес, бараньи мозги и глаза, птичья печень, кетовая икра — все деликатес, и слезы, и сопли — деликатес.

Сана заснула в зените с солнцем в волосах, с размытыми контурами материков на щеках от потекшей краски, где материки были в одном измерении, а нос в другом, он торчал трехмерной горой между африкой и австралией в океане слез; крылья горы, ничуть не тронутые краской от ресниц, но чуть припыленные пудрой, слегка раздувались, гора дышала. Так Отматфеян и оставил ее спать в ее первоначальной среде с ее дутым глиняным потомством, которое она произвела за ночь, и не стал изучать дутое изображение африки и австралии, ему было ее не жалко, и оставил ключ на гвоздике и дунул домой. Дом был среди домов, квартира среди квартир. Чящяжышын разгуливал по квартире в одних трусах и жевал какую-то засохшую кашу, которую не прожуеть.

— А Шана где? — спросил Чящяжышын сквозь кашу.

— Спит, — ответил Отматфеян.

— Где спит? — спросил Чящяжышын, проглотив.

Отматфеян поковырялся в сковородке и нашел, что Чящяжышын ест совсем не кашу, а жареную картошку с жареным мясом, и все это так ловко поджарено с луком, что как с грибами.

— Где шпит? — переспросил Чящяжышын, набрав.

— Ге жжаю.

— Как это не знаешь, — чуть не подавился Чящяжышын, — я тебя спрашиваю, где она спит?

— Ге жжаю.

Чящяжышын взял сковородку с картошкой и пошел в комнату. Отматфеян дожевал и пошел вслед за сковородкой.

— Так где она спит? — сказал Чящяжышын.

— Ну, не знаю я, — и Отматфеян полез на него с холодным оружием — с вилкой на сковородку. Чящя-

жышын загородился от оружия сковородкой, как щитом, и картошка вывалилась на пол. Отматфеян бросил оружие к ногам и достал белый флаг из кармана, вытер им рот, свернул на кухню — запить битву. Чяцяжышын подмел на поле боя и приперся, как герой, на кухню.

— Где спит? — спросил Чяцяжышын.

Отматфеян надел пальто и вышел на холод, который был, несмотря на то, что кончился пост, но несмотря на пост пост, было холодно.

Он стоял один среди бетонного холодного дня прямо под солнцем, высморкался в свой белый флаг — и пошел сдаваться; в кармане с белым флагом лежал номерок телефона, который он зачем-то начиркал вчера, оказалось, что за тем; Отматфеян позвонил, туфта была дома, он “можно зайдет”, она “конечно, буду рада”, и на самом дне кармана лежал дубликат ключа, почему с такой легкостью размножаются телефоны и ключи и с таким трудом живые клетки?

Не может любимый быть полигамом, он может быть даже крокодилом, но не полигамом, это крокодил может быть полигамом, а крыса гомосексом, а лебедь — моногамом, а лебедь, рак и щука — басней Крылова, и моногамом любимый быть не может, если он не лебедь, но тогда кем же он может быть, любимым, а всем вместе — кашей: поли-моно-лебе-крокодилом.

Туфта открыла крепость одним пальцем. Отматфеян как вошел, так сразу и сдался без всякого сопротивления — чего там сопротивляться. Одежда с него скатилась, так и раскатилась по комнате. Отматфеян присел. Как неохота быть на стороне, даже мозги не шевелятся, чтобы сказать, какая скучища в стороне от дома, по ту сторону океана слез. На стороне, по сути, в стране сменяется строй с регулярностью времен года, с той же нерегулярностью времен года, когда зима царит на подходе лета, и страна, по сути, строй, провожает радостно зиму и встречает радостно демократию, и борется за весну, приветствуя конституцию, провожая весну, выбирая из всех времен года самое любимое время — полнук анархию с мертвым урожаем в прекрасные осенние дни, с матриархатом, по сути, строем, с бабьим летом, по сути, погодой. И строй, по сути, родины, раскинувшейся, как на ладони, с теми же очертаниями берегов, что и страна. Но эти берега не видны в стране из-за моря людей и леса голов, но хорошо интимная жизнь возможна только в рамках рода (родины) — гуляющий н.о. или сразу ста-

новится папой и мамой, бель-пер и бель-мер, бель-сер и бель-фрер или так и останется н.о.

Отматфеян отдышался и пошел прогуляться по стране — от окна к двери; все то же самое, что и на родине: тот же асфальт, он же линолеум допотопный, стол, те же горы шкафов, но туго доходит до сердца, в стране; все так тупо и застревает в глазах! не то, что на родине, где все так и валится в сердце. Ах, какая веселая страна! Может позавидовать любой иностранец, не то что у них — пришел и купил, здесь за всем нужно охотиться, все добывать, это не просто охота, как у зверей, это еще и спорт. Вот скоро будет новый стиль, французы его называли бы а ля люрс, где все плохо раскроено, раскрашено, сшито, ведь если “плохо” — так последовательно, то “плохо” может быть стилем? Нечего делать в стране, только наводить порядок, строить и перестраивать, ходить по струнке, не-а, неохота. Туфта раскинулась от и до. Отматфеян обошел ее стороной, чтобы не задеть. Но она распространялась повсюду. Уже не было места, где бы ее не было. Он отстранился от нее. Но она с самого начала настроилась так, что победа будет на ее стороне. Тогда надо быстро и сразу, чтобы не думать об этом, но думать-то надо, ну нельзя это делать со всеми людьми; еще под большим сомнением, можно ли это делать с одним человеком, но со всеми людьми это делать точно нельзя. “Я только отдам ключ, — сказал Отматфеян, — позвони мне через час”. Туфта посторонилась, пропуская его к столу. Он старательно вывел номер телефона и стал распространяться насчет хозяина мастерской, который ждет его под дверью на морозе, и он должен его впустить для того, чтобы сразу выгнать, что как раз нельзя его не впускать, а выгнать как раз можно.

На морозе было даже жарко от холода. Отматфеян мог лететь на все четыре стороны.

Он подлетел к двери мастерской и стал орудовать ключом. Ключ проворачивался, но дверь не открывалась, он вертел в ту и в другую сторону — все вхолостую, ключ сам по себе, а замок сам. Вышибить дверь ногой, гром среди ясного неба, когда щепки летят, когда смена правительства, парад декабристов на зверском холоде, падение монархии, новая конституция! не надо вышибать дверь ногой, не надо нового правительства, пусть все будет по-старому, лучше еще ключом повертеть, ключ-лилипут от замка-великана, детский ключик от взрослого замка. В такую здоровую щель может еще и

палец пролезть вместе с ключом. Отматфеян сунулся в скважину с ключом вместе с пальцем, и чудо! замок поддался, что он, пальцем, что ли, его открыл? получилось, что пальцем. Значит, любой может пальцем, но такого пальца больше ни у кого нет, у лайтера такого пальца нет, слабо лайтеру пальцем, Отматфеян мог бы расцеловать свой палец с металлическим вкусом на пальце, он единственный в своем роде палец, ему нет равных в мире, он самый первый палец, первый и последний.

Отматфеян не боялся греметь, чего бояться, когда все равно никого нет. А надо было бояться. Надо было вылететь и летать по комнате, а не стучать колодками по мозгам. Он стучал и гремел. И мог бы еще в сто раз сильнее стукнуть и нагрять, все равно — Сана спала. Она спала в общей мясорубке стуков, под трамвайный лязг, автомобильный оргазм. Самолет пропилил, она спала. Он бы не поверил ушам, если бы позвонил, а она не слышала, но он верил своим глазам — она на самом деле спала с треском. На нем были каменные ботинки, чуть ли не каменного века, и, пока он вдоволь не нагрохотался этими булыжниками, он их не скинул. В конце концов он все скинул и сел голый на кровать, совершенно голый, без ничего, без единого перышка. Он сидел, как на берегу озера. Перед ним была вода, именно не H_2O , а вода, именно такая поверхность, которая “как вода” и даже больше, чем сама вода, потому что в этот момент эта поверхность напоминала воду больше, чем сама вода напоминает себя; даже чаще всего сама вода себя и не напоминает, а напоминает, например, асфальт или забор, или газон. Бывает, конечно, такая красота, когда сама вода напоминает воду, но сейчас была полная видимость воды. Это самое приятное ощущение, когда в любой момент можно нырнуть с головой в воду, но именно в этот момент не хочется, потому что больше всего хочется в следующий момент, и так хочется сидеть, и хочется хотеть следующего момента, что каждый настоящий момент становится как бы следующим, самое настоящее счастье. Но счастье имеет конец, как и все имеет начало и конец. Счастье кончилось, как только Сана отвернулась, смутив поверхность воды, это все равно, что вода бы отвернулась. Вода не может отвернуться, а в общем тоже может: спугнет не то освещение, какой-то ветерок, посторонний шум. С ветерком и освещением было все в полном порядке. Но

зато шум — его на дух не было! Спугнуло легкое отсутствие шума. Ни из страны, ни с какой стороны не доносился шум, все заглохло, и трамваи со своими копытами, и машины — абсолютно все! Было полное отсутствие даже звука, не то что шума, ну ничего не было слышно, ни из какой щели — ни писка, ни треска, просто полная расчлененка звука на звон в ушах от такой тишины. Отматфеян подхватил свое барахло, стараясь не шуметь, но с него-то как раз шум посыпался, и он с шумом, с кандалами, со штанами вышел из комнаты. Но далеко не ушел — как безумный зазвонил телефон. Отматфеян скульптурно встал за занавеску вместе с медведем, вольтером и К^о.

Сана шла на звонок, на ощупь, на свет. “А его нет”. — сказала она. Как же она забежала, как заводная. Она проскочила в комнату с ножницами в руках и откромсала себе гриву. Выстригла себе виски и затылок и оставила на макушке пряди, которые зализала наверх. Она выбрила себя всю с ног до головы и зверски взялась за краску. Разукрасила глаза до красноты и черноты, вымазалась в помаде и румянах, не оставила ни одной живой клетки на лице без пудры — она была начищена до блеска снаружи и внутри, как туфта. Отматфеян в загончике с бассейном налепил себе плечи пошире, как у ляйтера, нагородил мускулов, он себя так хлопал по щекам после бритья, как после обморока. У ляйтера были прилизанные волосы, и Отматфеян также обслюнявил ладони и размазал волосы по черепушке; у ляйтера были жидкие усы, и Отматфеян также выщипал у себя львиную долю усов. Теперь он заявится такой молодец, вылитый ляйтер, и Сана ему даст, раз она такая, что могла только сказать по телефону, “а его нет”, и сверху Сана еще перемазалась в креме, раз Отматфеян так хочет, Сана ему даст как самая классная туфта, раз он такой, что дает телефон направо и налево и каждая туфта может позвонить, а она должна отвечать “а его нет”.

Сана вышла на мороз погулять, пока Отматфеян не придет. Чтобы как только он придет, она сразу же придет как туфта. Отматфеян следом за ней — на мороз, чтобы потом войти с мороза, как ляйтер, которого она впустит с мороза. Они оба столкнулись на морозе в дверях, слегка прихваченные морозом. Отматфеян поглядел на Сану, общипанную и разукрашенную, “вот как она разукрасилась для ляйтера”, но не разглядел в ней и тени от туфты. Она смотрела на него, как он измордовал себя для

туфты, но он был насквозь обезображенный, он сам, ничего в нем не было от ляйтера, а как же раньше все так весело играли — в Декамероне-Гептамероне, снял парик-надел парик — и готовый любовник, а тут снимаешь с себя скальп и все равно похож только на себя самого, почему у них все так было весело, а у нас совсем весело не так. Прилипнуть друг к другу так, чтобы не отлипнуть, чтобы только внешность отлипла. “Ты зачем себя так искромсала?” — “Чтобы тебе было приятно”, — “врешь!” — “ты зачем себе такие плечи налепил?” — “ты так захотела”, — “врешь, это тебе звонили, и я сказала, что тебя нет”, — “врешь, это тебе звонили, и ты сказала, что меня нет”. Они докатились до того, что скатились туда, где Сана обстригла себе гриву, которая теперь налипла Отматфеяну на спину и можно было заплетать косички у него на спине. Обстриженные волосы прилипли к ее щекам, было похоже, что у нее щетина на щеках, теперь он был девочкой, а она мальчиком, все равно.

- Ты меня не любишь?
- Нет и никогда не любил.
- И в кружке?
- Нет.
- И во дворце?
- Нигде.
- И на луне?
- Нет, там любил.
- И я тебя.

Ее кожа была масляная от крема, и он катался, как сыр в масле. Зажала ветку в руке, придушила ватку. “Что это у тебя?” — “Белая мышка, уже подохла”. Отматфеян съел тонну краски и пудры, которая хрустела на зубах.

- А ты меня любишь?
- Всегда любила.
- И я тебя.

О чем мы спорим? О названии чувства, которое есть, о слове, которого нет. Ведь “люблю” — это слово, а слово призрачно, оно самый настоящий призрак, который шатается по ночам и пугает воображение, фантом, и больше ничего, “тогда я тебя юблю, потому что такого слова нет, а чувство такое есть, значит, может быть и слово”. Нет, мы не занимаемся словообразованием в два часа ночи, мы просто гоним слово, разрываем его на клочки и спускаем в унитаз, но и в унитазе живая вода. “Что же ты делаешь, так жсал?” — “так я тебя люблю”,

и ляйтеры кругом выглядывают, мешают любить, непознанные объекты, каждый при своем строе. Этот Четвертый пересажал всех на кол, повесил головы на нитку, это ему сушеные грибы, а нам это прадедушка и гранд-меры, и гранд-сёры, и мы будем плакать по ним; другой Первый согнал наших гранд-фреров, чтобы строить новый Амстердам, нет, чтобы завоевать старый, сначала выход к морю, потом вход, и так целая история человечества — это только вход и выход — дырка. Пусть кто-нибудь один завоюет весь мир, и пусть он будет хорошим, а мы будем его слушаться и любить; нет отца, есть папа Римский, но он не отец, есть мать божья, но она не мама, некого слушаться и любить! давайте тогда все вместе писать по чуть-чуть, по капле в море один текст и читать друг друга, как возлюбленного, вот это будет литпроцесс! а разве это литпроцесс среди толстых пупсиков, которые сидят на горшках и грызут карандаши? давайте читать Толстого, как своего возлюбленного, и Достоевского, напишем и подпишемся все вместе под одним текстом, написанным всеми вместе как самим собой, чтобы любить его всем вместе, как себя самого, это можно? нельзя? А бель-фрер говорит, что лучше трахаться, чем писать, он купил слепой ксерокс, это молитвы Беме, а не песенник, за сто рублей и не молится, тогда зачем купил? чтобы подарить своей бель-сер на день рождения, и она не молится, тогда зачем взяла? чтобы затрахать молитвами друг друга. Все в этом мире построено на соплях, и держится мир на соплях, ба-бах и взорвемся, но наше "ба-бах" не будет светить как солнце, которое взорвалось и своим "ба-бах" нам светит и греет.

— Не любишь меня?

— Не-а.

— И я тебя.

— А ты меня любишь?

— Ага.

— И я тебя.

Вот самый классный ответ на "любишь-нелюбишь" — это "не-а-га", потому что в "не любишь" столько же "не-а", как и в "любишь" — "ага", потому что любовь состоит не только из любви, но еще — из нелюбви, и нужно сильно-пресильно любить, чтобы еще и не любить, и самый ясный ответ на этот неясный вопрос — "любишь" — это "не-а-ага", он ясный, как ясный день, — "не-а-ага".

Напились какой-то дряни, какого-то компота со

спиртом. Теперь все заспиртовано внутри: желудок — отдельно, печень — отдельно, сердце — отдельно. Ничего не разлагается, все — в спиртовом растворе в памятнике. И поцелуй заспиртован для вечности у каждого в мозгах. Красота.

— Пошли на улицу!

— Пошли.

Выйти и влипнуть в снег, который облепил с ног до головы и сделал из двух одного. Вдвоем — один на один под кристаллической решеткой снега, который свалился, как снег на голову. Так и ввалились домой к Чящяжышыну. Пьяные и горячие под снегом, который не отрезвляет и не охлаждает. Чящяжышын открыл злой и — жуткая вещь — не узнал памятник. Он не узнал наши какашки, слезы и сопли, заваленные снегом. "Никого нет", — сказал он и захлопнул дверь. Потоптались еще перед дверью, спустились на этаж ниже, почему мы никогда не стояли в подъезде у батареи, чтобы потечь, не стояли в собственной луже, вот теперь стоим под снегом, тычемся общипанные и размалеванные, и нос, холодный и мокрый, как у собаки, значит, мы не только живы, но и здоровы. Но снег не тает, то есть вода сходит, а кристаллическая решетка от каждой снежинки остается. Нас можно раздолбать, но разлучить нельзя. И стоим себе — памятник в подъезде себе.

V

И тут ему пришел конец. Несмотря на всю его философию, которую ему удалось распространить среди людей: что если ему дать насосаться и улететь, то не будет чесаться. Отдельные положения этой философии уже отмечались: не будет чесаться, если послушаться, если поставить ногтем крестик. Все равно будет чесаться! поэтому сразу надо убивать — на месте. Они особенно зверствуют, скоты, в свой брачный период, всаживают свой хобот по уши, они говорят, что если дать им упиться, они сами отвалятся и умрут своей смертью. Нет, только убивать! не отвалятся и не умрут, а здоровехонькие протрезвеют на потолке за ночь, и, если просто прихлопнуть, они воскреснут, поэтому надо прихлопнуть и растереть. Они говорят, что на одну кубическую единицу camarad(ов) приходится ровно столько-то и не больше, и если их всех перебить, то в этой единице

объема они исчезнут как класс. Потому что пространство для них со времен Эвклида разделено на кубы, и они не имеют представления об искривлении пространства, они сосут каждый в своем углу, в котором сидит человек в центре, центр мироздания, имеющий пять литров крови, и в этом углу можно значительно сократить их плотность, если хлопнуть себя с частотой, равной писку, как в идеально поставленной чеховской пьесе, когда действие происходит в сумерки и реплики сопровождаются хлопками по щекам и по ляжкам, в сущности, аплодисментами каждого героя самому себе.

Можно устать, когда действие вообще — бах, предмет вообще — дядя. Кое-что уже известно: что рамку картины, это придумали японцы, что линия выражена светом, а матери фактурой, это придумали итальянцы, что фон составляет часть визаж, а фейс часть фона, лица как такового нет, что все состоит из кубиков, а кубики состоят из всего, это придумали французы, бельгийцы и другие великие умы сразу. Здесь не плохо, куда не глянешь, там все. Гора, море, небо, видно дно. Здесь запрещено жить законом, ну и что? чем явная жизнь не пародия на тайную жизнь? Если за все платить, можно сразу вылететь, жизнь стоит миллионы, жизнь за щитом, а на щите черным по белому: штраф за проход — 5 рублей, за курение — 30 рублей, за ночлег — 50 рублей.

“А мне надоело прятаться по кустам, я сыта этой тайной жизнью, я хочу жить с тобой открыто”, — “тише ты, обход, сюда идут”, — “чтобы выкурить сигаретку, надо заплатить тридцать рублей!” — “не кричи ты, ты хочешь, чтобы нас выставили отсюда?” Не жизнь, а штраф за жизнь, уже давно проштрафились. Там перед щитом, где поворачивают назад все папы и мамы, жены и дети, бабушки и дедушки, ползти на четвереньках только вперед, чтобы в запретной зоне, обойдя представителя закона — лесника, — тайно любить друг друга, ведь любовь — это тайна, о ней не должен никто знать, даже лесник, даже... по ту сторону горы живут Коля и Вова, они едят из одной миски, они что, тоже тайно любят друг друга? нет, им просто здесь нравится: втащить на гору ящик пива и обрубиться, проснуться на раздавленных помидорах, полдня нырять за очками и штанами, которые отнесло в другую бухту, им здесь хорошо.

Здорово следить за лесником, который следит за нами, чтобы нас здесь не было, за которыми мы следим,

чтобы все-таки нам здесь быть, когда его нет. Нетрудно его и вычислить. Он просыпается в восемь, и пока он доходит до того места, где мы проснулись в десять, мы ныряем в воду, чтобы ему было видно, что самое подходящее время для нас — до пяти часов убедиться, что мы все-таки есть. Можно смело вылезти из воды, показаться на свет с руками и ногами, полоскать горло, твердое расписание, никто не может подстрелить, даже когда взлетишь. Чтобы взлететь, нужно нырнуть и плыть под водой, это и есть полет, единственно доступный человеку, передвижение в однородной среде. Летишь под водой, не думаешь о рыбах, мечта о птице настигает как только начинаешь "парить" под водой, застыв в одной точке. Полная близорукость в воде, бесконечная голубая муть с бесформенными увальнями на дне. Грубые резиновые приспособления, подводные презервативы "предохраняют" от полета: ласты, обгрызанная трубка, диоптрическая маска, это инородное существо в воде, пародия на рыбу, человек, с резиновыми рыбьими конечностями шлепает галошами по воде с соской во рту, жадно всасывая воздух. "Ныряй!" — сказал Отматфейн, — правда идут". Как птица чувствуем себя как рыба в воде. Лесник миновал. Можно даже обсушиться. Размозжить кофейные зерна булыжником в такой каменной ступочке, как в каменном веке, а еще лучше сходить в магазин, который стоит на границе света и тени, еще хуже, дует норд-вестный сортирный ветер, мутит от воды, которую мутит от дождя. На прилавках только черное и белое, никаких оттенков, никакой гаммы цветов: хлеб черный, соль белая, сахар белый, спички черные с белым, жир белый, что-то черное в банках, здесь нечего делать фламандцу с его персиками, виноградом и грудями рыбы, дохлый натюрморт, мертвая натура: засохший хлеб, спички, соль. В море нет рыбы, в лесах нет дичи, даже нет птиц и зверей, где все? куда все вылетело? в трубу!

Дел по горло. Создать полную видимость стерильности. Растолкать вещички по всем щелям, цветами вправить головы, которые у них оторвались за ночь, на цветах не спать! собрать окурки и взлететь. Сверху видно, что полянка, как новенькая, вычищенная до блеска, у представителя закона не может быть никаких подозрений, что здесь кипит жизнь. Но зачем же так сильно защищать эту гору от нормальной жизни, люди занимают не больше места, чем ежи и чайки, и долбить

ее изнутри, прокладывая туннель. Ведь приходит какому-то козлу в голову мысль проложить туннель из Симферополя в Ялту, зачем? чтобы сразу приезжать в Ялту, а Симферополь упразднить, этому козлу не под силу подогнать море к Симферополю, и он разгребает горы, двигая Симферополь к морю, что только щепки летят. Дельфины выбрасываются из морской воды, потому что теперь ее химическая формула наполовину состоит из дерьма, крабыдохнут по той же причине, а мы платим полтинник за то, что съели одного краба. Но мы же самые обычные хищники, которые ловят чтобы съесть, как те же самые крабы, как лисы и ежи, квинтэссенцию зла. Вырубают поголовно деревья, а потом приводят леса в чувство, освещая саженцы прожекторами, потому что на свету они быстрее растут. Гору кастрируют с лесом и птичками, она не даст потомство, а если это сделает человек, то неохота тоже быть человеком, потому что у нормального человека не поднимется рука, даже чтобы кастрировать кошку. Человек дал так много имен всем, кто бежит в шкуре на четырех ногах, сколько разновидностей: и львы, и тигры, и леопарды, собаки, лисы и прочие шакалы. А все остальное, что передвигается на двух ногах, помимо кур и страусов, что не может летать и быстро бегать, называется человек. Все свое воображение человек растратил, чтобы надавать имена кому угодно, только не себе, оставив себе одно имя — человек, бедное воображение, когда дело касается человека. Допустим, расы, это он еще выделил, по цвету кожи: черные, белые, желтые, голубые, но дело не в цвете, дело в сорбоне и мантие; вот дети, они же не люди. Их любишь именно ни за что, потому что любить их не за что. Исключишь детей, людей останется еще меньше, когда заодно исключишь всех козлов, автоматов и полуавтоматов, всех птишек, ласточек и пуль. Сейчас поймем попутку и въедем на колесах на курорт. Ехать пятнадцать минут, а ловить час. Грузовики, жигули, пауки. Дельтапланы свистят, как доисторические ящеры, ящеры вымерли, дельтапланы родились, какая эволюция. "Подвези, друг, до города". Сели. "Стой, мужик, ты пьяный! а, поехали". Какая хрупкая конструкция — человек, кости ломаются, все трещит по швам, на него же дышать страшно, на человека, только тряпкой смахивать пыль. Машину мотает из стороны в сторону, сейчас начнется морская болезнь, посреди шоссе, автодорожные волны. Вот сейчас разобьемся, вот

сейчас, на следующем повороте точно, вот сейчас точно. Приехали. "Три рубля, как договорились".

Вот место, курорт, грязный мираж. Пластмасса, отсутствующая в природе, культивируется здесь вместе с целлофаном: пластмассовые козырьки, целлофановые упаковки, пластмассовые чехлы, под которыми переодеваются, размножаются — "тся". Все орут, молчат, это не напоминает человеческую речь вообще плюс речь автобусов, катеров плюс музыка. Вон тоже человек занимается делом — драит выпотрошенный корпус "Победы", потом покроет ее эмалью, и она будет новая, как кастрюля. Полоска у моря, поделенная полотенцами и тряпками на квадрат, оплеванная косточками и пробками. Человек — существо вертикальное. На курорте он теряет вертикального себя, толпы лежат на уровне мирового океана, горизонтальные люди, к вечеру их смоем волной. Все вместе, это что? человеческие клетки, первоначальная человеческая материя, из которой можно будет потом слепить человека, если смешать всех вместе, а потом разделить на равные части, будет полное равенство, все будут сделаны из всех, а не только из себя самого; многоклеточные, одноклеточные, многоцветные, многодетные, каждый сам по себе, на собственном острове собственного матраса. "Здесь?" — "Пошли подальше". Курорт — это должно быть такое место, где цивилизация рассована по щелям так, что ею пользуешься, абсолютно ее не замечая: вычищенная пещера с искусственным подогревом внутри стен, как бы солнечное тепло, которое камни как бы скопили за день и отдают ночью, ночник в трамвае, при полном отсутствии мух и блох, с несколькими декоративными ночными бабочками, утром яйцо всмятку и для контраста черная горка жареных мидий, стакан белого вина, чтобы бармена на дух не было, чтобы чувствовался только его заботливый дух, лучше всего его замаскировать; вот за такое место можно заплатить на самом деле миллион, почти за такое же, за которое мы на самом деле не платим. "Может, здесь?" — "Пошли еще подальше". Куда подальше? за границу света, берега, гор, за границу видимого? Это так далеко, эта граница тоже ведь воображаемая линия, как горизонт, как овал тучи, как круг солнца, ничего на самом деле этого нет, нет ни одной границы, только между государствами, даже нет между реками и морями, и сушей, только между людьми, значит, за границу людей? Иногда в линиях света отсутствует прямизна,

что эквивалентно прямоте души. Птицы готовятся к зиме, мы тоже готовимся, собираем чемоданы, скоро перелет в Москву, накопи жира и будем сосать лапу; со всеми местами гнездования покончено до следующего лета. Видимо, все-таки здесь. "Ты хотела открыто!" — вот открыто, среди металлических тел, которые плавают на солнце, тыща рук и ног, животов, которые не держатся на руках и ногах, вот это явная жизнь? в общей свалке тел, они уже дымятся. Неужели это жизнь, и она состоит из анатомии, физики, математики, химии и каждодневной жизни, из которой состоит жизнь вообще? Нет, каждодневная жизнь страшнее жизни вообще и математики. В жизни вообще любят вообще и умирают вообще, разлагаются физически и химически, а в каждодневной жизни можно умереть каждый день и любить каждый день. Может и удастся жизнь выразить формулой, как удавалось папе выразить эпиграф к "Анне Карениной" математической формулой, которую вполне можно переварить. Но в каждодневной жизни столько погрешностей приходится на постоянную величину, и эта величина с утра сводится к величине прямо противоположной к вечеру, что папа не будет биться над формулой каждый день, он будет изучать постоянные величины. Вова тоже великий математик, он считает на машине то, что потом в министерстве пересчитывают в столбик, и вершина этого искусства — совпадение, когда цифра на машине совпадает с цифрой от руки, и награда за этот великий труд — два столбика, которые выдают Вове, чтобы он свел концы с концами, но не ел сладкого, "на сладкое портвейн".

"Пойду искупаюсь, подожди меня здесь". — Отматфеян постепенно погружался в воду: сначала ноги указались под водой, он еле держался на них, они переломились, их стало развеивать светом, он зашагал на двух винтах, вкручивая их в песок. Солнце и вода стали играть с ним, расчлняя его тело — он поплыл.

Сана растянулась на полотенце и стала невидимой из-за ровного яркого освещения — прямо над ней было солнце, и эта вспышка длилась вечность; цвет отсутствовал полностью, едва различались отдельные формы, по которым трудно узнать человека. Отматфеян вышел из воды и растерялся, ничего не обнаружив, кроме кругов и треугольников, ничем не отличающихся друг от друга. Некоторые фигуры были вполне объемные: паллелелепипеды, обрубки кубов; среди всего этого пляж

ного столпотворения Саны не было, он ее не видел. Он стал ее искать, панически натываясь на различные формы, и ни одна из них не была она. Измучившись, он перестал искать ее как человека, он представил ее тело в виде геометрической фигуры и стал искать фигуру, которая по его представлениям была она. Похожих фигурок было много: несколько соблазнительных треугольников с хорошенькими шариками на длинных прямых, но каждая из них была не она. Отматфеян стал грубо переворачивать формы: кому-то он отдал ногой часть света, разок ему надавали по шарам. В самих по себе формах не было ни капли юмора. Свет классически тушевал эти неклассические формы, вкладывая в них столько юмора, сколько (если бы!) вкладывали антики, отбивая Нерону и Калигуле носы и шары Лаокоону.

Сана, повалившись на полотенце, бухнулась в воду, потому что по ее подсчетам прошло уже часов сто и голова Отматфеяна должна уже катиться к берегу. Но именно его головы у берега не было. Легкая волна выбрасывала сотни других голов, пока другая волна не откатывала их обратно в море. Его головы не было и среди редко разбросанных голов, подальше от берега, ни у самого горизонта его не было тоже, он в воде, как сквозь землю провалился. Сана поплавала, поискала, ее выкинуло на берег вместе с остальными, которые расползлись по своим углам, по своим местам под солнцем. Она осталась лежать, даже не в силах, чтобы встать и лечь. Солнце тоже двигалось, оно отодвинулось за гору, пляж поредел.

Отматфеян вышел на дорогу, чтобы поймать машину, которая довезет живым. "Не дождалась и ушла!" Машины были или набитыми или пролетали мимо. "Даже не стала ждать и ушла". Его подвез самосвал, который все делает сам: сам валит, сам сваливает.

Шоссе едва коснулось пляжа, к которому Коля и Вова даже не прикоснулись, расположившись в таком месте, откуда виден не только пятачок воды, откуда видно сразу все, на что хочется смотреть сразу. Жизнь была прекрасна, как факт жизни. Они тянули из канистры. Открывался вид неподъемной красоты. Из этой точки они увидели Сану как точку, точь в точь такую же, как остальные точки. Она двигалась по шоссе, удаляясь от моря, грубо-зеленого с желтым налетом на рыхлых волнах, "не дождал и ушел", которое шумело за спиной,

ударяя в спину, "даже не стал ждать и ушел". Вова и Коля сидели, как птицы, когда она увидела их снизу. Ей показалось, что они уже клюют. Но они еще не клевали. Они помахали ей сверху, чтобы она летела к ним снизу вверх. Она еле доползла до места, куда им ничего не стоило взлететь.

— Не дождался и ушел, — на ней не было лица, которое на ней было всегда, которое Коле и Вове никогда не требовалось, — даже не стал ждать и ушел.

— Да ты, главное, не тушуйся!

Сана отхлебнула глоток. К морю вернулся цвет, оно стало цвета морской волны. Облако парило над головой, начисто лишенное веса дождя в нем.

— А придем сюда еще, если не будет дождя?

— "Дождя" теперь будет всегда.

Вдали виднелась их гора, драгоценная в тумане, полудрагоценная издалека, которую можно довести до абсолютной красоты, инкрустировать ее драгоценными камнями, и она будет марки "палеолит Буль", если разобратить ее на части и заново сложить, бедную, кастрированную туннелем, и не надо добиваться качества, закапывать ее в землю, чтобы она новая была, как старая, как икона, напустить свору мышей, чтобы они приложились зубками, и на ней появлялся отпечаток древности, она стоит совершенно юная в тумане, ей всего несколько миллионов лет, "пошли?"

Есть одно дело, которое нужно сделать, пока не стукнуло десять, и вместо белого не начался синий цвет, когда синим становится все: камни, сливы и порселеновые поганки. Они взяли машину, которая с троих взяла меньше, чем с одного. Вышли. Это была бухта, где накануне Коля и Вова потеряли все. Здесь росли редкие экземпляры сосен, сюда добирались только самые редкие экземпляры, поэтому Коля и Вова не боялись за вещи, которые были разбросаны по камням, как на клумбе в их собственной квартире. Полотенце, халат, нож, шорты, майка, несъеденная банка консервов, "уже погибла", еще, еще, все. На дне было столько же, и они стали нырять. Бухта была неглубокой. Редкой красоты полотенце, с выбитыми цветами, вписалось в водоросли, как цветы. Сквозь очки на дне еще лучше было видно дно. "Теперь давай ты ныряй". — "Холодно". — "Ныряй, в воде тепло". Сана нырнула. В воде не было ветра, он остался в воздухе. "Дай-ка маску". "Диоптрическая". —

”Давай все равно”. Сана нацепила маску и увидела человека под водой. Во-первых, сразу было видно, что он мертвый, и, во-вторых, что он человек. В нем не было ничего от Вовы: ни лица, ни пола, он был в принципе человек, как рыба в принципе рыба, все на одно лицо и на один пол. Он пластично двигался под водой, совершенно бледный, с прилизанными волосами, тощий, как скелет. Среди камней вписались даже полотенце и очки, только не он. Быстро сразу видно, что он из другой среды, что он не оставил бы камня на камне от этой среды. Здесь не было верха и низа: он шел головой вниз и стоял на голове ногами вверх, стоял на ушах и ходил на руках, внизу воды? Вверху земли? Если неподвижной точкой была Сана, неподвижной относительно, потому что ее постоянно сносило течением, то Вова относительно нее был внизу и был вверху относительно своих очков даже на суше. На поверхности воды Сана была на плоскости, под которой Вова в воде был в объеме. Это было редкое сочетание полной бедности плоскости по сравнению с богатыми возможностями объема, по сравнению с супервозможностями какого-то еще измерения, которое не так-то просто обозначить. Может быть, это и была красота, в которую уходят с головой. Технические возможности красоты не были ограничены двух-трехмерным измерением, она была и там, куда не ступала нога человека, и во всех щелях, куда только проникал луч света, преломляясь на поверхности воды и растекаясь в воде. ”Тогда давай по домам, а ночью встретимся”, — Коля и Вова двинули к себе, в свою щель, Сана — к себе: из всех щелей были выдернуты вещички, которые Сана и Отматфеян замаскировали накануне, кусты и камни были задрапированы в тряпки чьей-то недоброй рукой, чьей? — ”ты меня не дождал и ушел!” — ”ты даже не стала ждать меня и ушла!” — Рукой лесника, оснащенной трезубцем, которым выковыривают из щелей крабов, лесник распотрошил кусты с интимным гардеробом, ”в наше отсутствие?”. А вот и он сам. ”Ваш паспорт. Эта девушка с вами?” — ”Нет, я один”. — ”Эта девушка не с вами?” — ”Я ее не знаю”. — Получите квитанцию на штраф, освободите место. А вы, девушка,

не знаете, что здесь запрещен проход? Вернитесь в зону отдыха. Или эта девушка с вами?" — "Я ее не знаю". — "И чтоб через час вас здесь не было. Возьмите квитанцию".

Зря он так, через час уже никого не будет, и ничего не будет через час, не будет даже такого понятия "час" через час. Вода черная, как небо без звезд, посыпались искры дождя, гора самая черная в небе, а вода самая черная на земле.

— Ты любишь меня?

— Не скажу.

— Скажи, что ты любишь меня.

— Сказал, что не скажу.

— Ты не скажешь, что любишь. Не скажешь, потому что не любишь, и ты не полюбишь меня ни за какие деньги. Ты не скажешь ни за какие деньги, что ты любишь меня. Тогда заплати мне деньги, раз ты все равно не полюбишь меня ни за какие деньги.

— Да ты что!

— Да, я хочу, чтобы ты заплатил мне деньги.

— Сколько?

— А столько. — Сана назвала астрономическую сумму, какая бывает только в космосе, если заложить всю землю со всем ее бараклом: недрами, спутниками и луной.

— Ты смеешься?

— Нисколько.

— Конечно, я люблю тебя и нечего говорить.

— Нет, ты так говоришь, потому что тебе просто нечем заплатить.

— Да ты что!

— Ты никогда мне не говорил, что любишь меня.

— А ты меня любишь?

— Никого и тебя нет, ты отбил у меня любовь к человеку вообще.

— Скажи, что ты меня любишь!

— Тебе мало было, когда я тебе говорила, что люблю тебя больше жизни.

— Мало, потому что это я тебя люблю больше жизни, и мне все равно этого мало. Мне мало каждый раз каждого раза.

- Тогда пусть будет в последний раз.
- Пусть будет в последний раз, как никогда еще не было.
- Все уже было.
- С мертвой не было. Я хочу, чтобы это сейчас было и чтобы ты любила меня больше смерти, раз ты говоришь, что любишь меня больше жизни.
- Я не умру от этого.
- Ты умрешь, потому что я умираю от любви, я хочу тебя больше, чем ты хочешь меня больше жизни.
- Я тебя больше хочу, но больше жизни больше, чем больше смерти.
- Нет, больше смерти тоже больше, не закрывай глаза.
- Дыхания не хватит.
- Тогда на одном дыхании, не закрывай глаза. Открой глаза.

”Лежат, как бездыханные трупы, — сказал Вова, когда они с Колей спустились к пещере, — обрубались и не могли нас подождать!”

- ты смотри сам не нажрись, как я тебя отсюда поведу.
- дурак, это ты мои очки разбил, давай мне свои очки.
- ты дурак, у меня минус четыре, а я тебе разбил минус два, ты все равно в них ничего не увидишь.
- давай мне мои тогда.
- твои разбились.
- тогда я тут ничего не увижу.
- а тут и не на что смотреть, купайся и пошли.
- ты смотри, они не выпили то, что мы им купили! давай, Коля, мы сейчас с тобой ее выпьем, а завтра им новую купим.
- а сами завтра не будем.
- да, сегодня в последний раз, а завтра будем купаться... ровно наливай!
- ты не видишь, что ли, что ровно?
- ладно, давай выпьем, чтоб ты не сдох!
- Вовка, а помнишь, как Тарасик умер.
- да и черт с ним.
- дурак, Тарасик умер!
- от чего он у тебя умер, от почек?
- от камня в почках.

— я помню, ты мне тогда звонишь и говоришь: Вовка, Тарасик умер, мы его с Юркой помянули, пропили сто рублей. Ты его где похоронил?

— где, на Черной речке, рядом с Пушкиным, в кустах. Мы с Юркой вышли из дома, дошли до Черной речки...

— там, где обелиск, что ли?

— там рядом. Ветеринар, сволочь, сказал, ничем не могу помочь, мы камни не удаляем, как он, Вовка, мучился! Он высунул язык, смотрит на меня и так жалобно мяучит. Тарасик!

Шепот шума

1

Дул ветерок. Была жара. Шел дождь. Была. Стояла нелетная погода. Люди скопились. Никто не летал. Никто. Трагически ни один самолет. Даже поезд не летел. И теплоход. Все сидели и ждали. И все сидели как все. И все как один. И Вера сидела. И народ, который сидел, он, народ, одновременно ходил, лежал, спал, ел и бодрствовал. Трагедия нелетной погоды могла произойти только в одной стране, только в одной, во всех других странах все летало великолепно: летали поезда, теплоходы и велосипедисты. Трагедия нелетной погоды произошла в стране, где было полно хорошей погоды, где сама по себе погода была просто великолепна, но трагедия произошла на семидесятом году власти, которая за восемьдесят лет так замучила и изуродовала погоду, что в каждой точке союза стояла нелетная погода. В магазинах тоже ничего не летало, ни мясо, ни хлеб, ни рыба, при полном отсутствии видимости, все скисло, шла Саша по шоссе и сосала сушку. На аэродроме Вера думала о вокзале. Она думала, как же я тебя люблю, вокзал, какие же вы, поезда, хорошие люди, какие душевные. А самолет — это идеал, самолет — это коммунизм, наша цель, вперед к самолету. Самолеты орут, они ругаются плохими словами, к ним нельзя подпускать детей, самолеты надо вызвать на дуэль и убить. Не надо на дуэли убивать самолеты, они такие же бедненькие и грязненькие, как все советики, их плохо кормят, им не дают бай-бай, но кого тогда нужно вызвать на дуэль и убить? ну кого? ну-ка, ну-ка, ну-ка?

Напротив Веры сидела идеальная семья: замученные и бедные, так они друг к другу жались, и так любили друг друга, и дети спали, а мать их обнимала, а отец смотрел по сторонам и обнимал мать, которая тоже спала, и даже если бы отец тоже заснул, то все это грандиозное сооружение из матери отца и детей все равно бы не раз-

валилось, потому что все они были абсолютно точно подогнаны друг к другу и их отец тоже спал на вершине. И власть, которая состоит из почтмейстера, губернатора и полицмейстера надо отодрать за уши и отправить обратно в ту бедную крестьянскую семью, из которой они вышли, чтобы их там научили как следует пахать, чтобы они не пахали в черной тачке и в кресле, потому что они ничего не умеют делать; кроме того, что они делать не умеют ничего.

Прокричал петух и объявили посадку. И всё потекло, люди грязненькими ручейками потекли к трапу, и там в общей мясорубке криков, под рев мотора, все втиснулись в самолет, и на последнем дыхании он взлетел. И он полетел. И он летел и летел. За окном плыли чистые облака, море облаков, и в абсолютном великолепном небе летел самолет. Вот это было очень странно — там, где нет человека, там все чисто и великолепно, а там где есть человек не так чисто и не так великолепно. Вера стала засыпать и при ровном постукивании колес и проносящихся огоньках на просто потрясающих мертвых вокзалах в тамбур вышел покурить вот такой человек: на голове у него имелись волосы, седые и очень жесткие, а на бледном лице проступала щетина нелетной погоды.

И, проснувшись, Вера увидела рядом с собой именно этого человека на фоне блестящего, абсолютно синего неба, которое было невероятно синим и невероятно блестящим. И Вера сказала ему, что вот только сейчас она видела, что как будто во сне они едут как будто в поезде и как будто за окном ночь и мелькают станционные огни, "и как будто бы вот именно вы, — выходите в тамбур покурить". И он сказал, что он действительно курит, и она, — что она тоже, но мало, и он, что он много и что хочет бросить курить, и она сказала: "не в этом дело", потому что она имела в виду, что сначала нужно присниться, а потом уже выйти покурить во сне, а он как будто бы только покурив во сне, но не приснился. И он сказал: "действительно, не в этом дело". И Вера опять заснула. И как только она проснулась, как только самолет прилетел, как только все подхватили чемоданы и с чемоданами вывалились на улицу, и как только вот тот отец тех троих детей, как только он оторвался от жены и детей, как только он сделал несколько шагов вперед, как только отъехал автобус, как только он стал перехо-

доть дорогу, и как только из-за автобуса выскочил мотоцикл, и только этот мотоцикл выскочил, и только отец сделал два шага назад, — автобус его раздавил. И как только все это случилось, такой раздался крик, и не только крик, крик был только в самом начале, а потом был рев какого-то животного ужаса.

Жена бросилась к мужу, а люди не пускали детей, они их держали и дети кричали; скорая помощь, почему-то подъемный кран, и солнце во всем блеске, в лужах крови, и Вера слышала такой жуткий крик, и она не сразу поняла, что это ее собственный крик, и она обнаружила, что у нее нет руки. Ее рука была в совершенно чужой руке одного человека, который стоял рядом с тем человеком, который у нее во сне вышел в тамбур покурить. Это и был Нижин-Вохов, и оба они были очень похожи. Но только тот, кто был старше был похож на себя, а тот, кто был моложе, был похож на того, кто был старше. И все это было на самом деле. И только сидя на самом деле в машине, она поняла, что она на самом деле сидит в машине. И машина поехала. После того, как ее спросили "как вас зовут", она сказала "Вера". После того как она сказала, что ее зовут Вера, она спросила "как вас зовут?". Действительно, это оказались отец и сын. Действительно, сын приехал встречать отца. И действительно, произошел несчастный случай. И сын вел машину, а рядом с ним сидел отец, которого он называл Свя..., у которого полное имя было Святослав, но его так никто не называл, а почти все люди называли Свя, хотя он им был и не отец.

И вот эти три человека, абсолютно здоровые: Вера, Свя, Н.-В., ехали мимо леса, в котором росли земляника, сыроежки, орешник, береза, дуб, сосна, но не росли еще тридцать видов кустарников, деревьев и трав, поэтому можно сказать, что лес этот был не здоровым, а больным.

— все здоровы? — спросил Свя.

— все заболели, — сказал Н.-В., — сначала Снандулия, а потом Василькиса, но уже выздоравливает.

— ей нельзя болеть.

— ей как раз можно,

— а с мальчиком все хорошо?

— это, оказывается, девочка.

— но с ним все хорошо, то есть с ней?

— пока хорошо.

В совершенно прозрачной березовой роще, которая была

прозрачна от дождя, потому что пошел дождь, Вера плавала от какого-то туманного разговора о какой-то Василькисе, которая болеет и Снандулии, которая выздоравливает и каком-то мальчике, который оказался девочкой, и разговор этот так и остался в прозрачной роще, где вдруг загредел гром, и в молнию, прямо блеснувшую на шоссе, — врезалась черная собака, и когда Нижин-Вохов резко затормозил, собака уже была мертва. Первым вышел Н.-В. и увидел, что она уже мертвая, и когда Свя наклонился над собакой, он сказал: "она мертвая", и когда Вера посмотрела на собаку, она увидела, что она мертвая. И всем вместе показалось, что эта черная собака и выскочила на шоссе, уже будучи мертвой. То есть сначала она умерла, а потом уже выскочила, а не сначала она выскочила, а потом уже умерла. То есть она уже мертвая бежала к тому месту, где и умерла. Эта собака была уже давно мертвая. И всем вместе показалось, что этот миг, когда собака выскочила на шоссе и умерла, произошел не в тот миг, когда машина остановилась. Просто в этот миг они все вместе наблюдали тот миг, когда собака выскочила на шоссе и умерла. Но этот миг был намного раньше, может, утром, а может, еще вчера. Жизнь висит на волоске, но я хочу спросить, из чего сделан этот волосок, на котором висит эта жизнь? это натуральный волосок, на котором висит эта натуральная жизнь?

И как только Нижин-Вохов привез Свя домой, и как только он сказал Вере: "я вас отвезу домой", и как только он привез ее домой, и как только они вошли, и как только Вера сказала: "спасибо", и как только Нижин-Вохов ушел, и как только она осталась одна, и как только она услышала звонок в дверь, и как только он вернулся и сказал, то есть как только он ничего не сказал, он не только не собирался ничего говорить, он собирался только стоять и молчать. И только.

Вот удивительно, как один человек может к чему-то одному пристраститься: есть голубятники, кошатники, собачатники, нумизматы, бабники, а есть такие маленькие пауки-каракурты, и один каракурт может убить одного верблюда, а один грамм никотина — одну лошадь, эти пауки, почти мыши, они живут в норках, они почти суслики, они не живут на паутине, как все пауки, они почти крысы. И Нижин-Вохов стоял и молчал.

Квартирка, как войдешь — сразу кухня, и сразу на кухне туалет с ванной, и сразу же комната, и сразу еще одна

комната. Все сразу! комплексный обед, перерыв на обед, потом сразу спать, потому что уже пора спать, потому что уже пора вставать.

Нижин-Вохов стоял и у него блестели глаза, и полностью отсутствовал цвет у глаз, был только блеск. Какого цвета блеск? блестящего. И вот так, блестя глазами, он сказал одну вещь. Это секрет. Его секрет. И вдруг, открыв свой секрет, он сказал: "ты девушка моей мечты". Пустая фраза. Банальная. Пошлая. Пусть. Пускай. Но ведь надо суметь сказать. Редкий дар. "Нежный ветерок", "ласковое солнце", "чудесное море" — тоже ведь банальные слова. Их тоже надо суметь сказать. Также особый дар. Он сказал. Получалось, что у него была, есть мечта. И у него в мечтах была, есть одна девушка. И вот эта девушка, о которой он мечтал, мечтает, стоит напротив него. Вот и все. И ничего сложного. Все так просто и банально. И они стояли напротив друг друга: мечта и мечтатель. Владеющий мечтой и предмет мечты. Владелец и его собственность. И то, что он всегда делал со своей девушкой в мечтах, то, о чем он мечтал, он эту мечту стал осуществлять. И он не торопился. И вообще все было каким-то замедленным. И спасибо за это времени, что оно не торопилось. Большое спасибо. Ему жутко хотелось дотронуться до нее. И он дотронулся. До щеки. И когда он убрал свою руку, она сделала такой жест, она как будто смахнула его прикосновение, как смахивают со щеки пушинку. И он улыбнулся ее жесту, потому что ее жест был нежностью. Великой нежностью. И только потом он увидел, что она разглядывает его. Не смотрит, не присматривается, а именно разглядывает. Она разглядывала его как существо. И взгляд ее говорил: "кто ты?" А правда, кто он был такой? А ты-то сам, кто такой? А мы все, кто такие? Ну, люди. Ну, жители. У нас есть тело и вес. Ну, пол. Душа. Мы населяем планету. Мы живем на земле. Едим, спим, пьем. Потом мы умрем. Все. И он такой же как все, житель, человек, мужчина, душа, ест, пьет, и умрет как все, он родился и живет. И это немало. Но это значит почти ничего не сказать. Этого мало. Это все знают. Почти все.

И так больше ничего и не сказав, так и не продвинувшись из коридорчика ни на шаг, он ушел, и это обозначало только то, что он ушел с а м.

Номер квартиры, номер дома, название улицы, которая носила имя одного русского писателя, которому не сладко было в жизни, но он жил и прославился, и в честь

него называли улицу, а люди, которые жили на этой улице, им тоже не сладко было в жизни, но они жили и ничем не прославились, их было несколько тысяч этих людей, и, когда они умрут, сразу тысяча улиц не будет названа их именами. Отсюда следует, что прославившийся человек потом становится улицей, бывает даже, что потом он становится городом. Его имя мусолят после смерти. Нижин-Вохов вернулся к Свя, а Свя мастерил ужин. Он мастерски его мастерил.

— отвез? — спросил Свя.

— ты и картошку сварил, — сказал Нижин-Вохов. И заглянул в кастрюльку и понюхал картошку, у которой запах был совершенно святой.

— хорошая девушка, — сказал Свя.

Свя мелко стругал огурчики и делал салат. Он все понимал в своем салате. И Нижин-Вохов даже размечтался, глядя на Свя, потому что Свя трудился над салатом, как пчелка над цветком. Он над ним очень вкусно трудился. Нижин-Вохов присел. То есть его поза явно говорила, что он в любой момент может встать и сбежать, если только Свя сейчас начнет о д и н р а з г о в о р. Между ними был один такой разговор, который они никак не могли договорить. В этом разговоре не было ясности. То есть то, что Н.-В. было абсолютно ясно, Свя было совершенно не ясно. А то, что Свя было ясно, Нижину-Вохову было совершенно не ясно. И каждый старался прояснить. Тогда Нижин-Вохов убежал от разговора. В буквальном смысле сбежал. Причем э т о т р а з г о в о р имел свой момент, и мог даже начаться в момент другого разговора, совершенно не имеющего отношения к э т о м у р а з г о в о р у. Собственно, этот разговор имел какое-то свое собственное право на Свя и Нижина-Вохова. Мало того, э т о т разговор был именно и х разговором, он мог происходить только между Свя и Нижиным-Воховым, и это разговор уже знал их абсолютно. Получалось, что даже не они имели этот разговор, а этот разговор имел их. И вот когда он их имел, им даже некуда было деться от этого разговора. И они разговаривали. И этот разговор вытряхивал из них душу. Он их, действительно, имел. И всласть поимев их, этот разговор обрывался, когда, например, Нижин-Вохов сам сбежал, но на самом деле сбежал с а м разговор; может быть, даже в самый важный момент разговора сам разговор сбежал и все. До следующего момента. И присев,

Нижин-Вохов сел поудобнее, догадавшись, что э т о г о разговора не будет.

И действительно, они просто так между собой поговаривали, можно сказать, даже ворковали. И вот так, поворковав, поужинав, немного выпив, они разошлись по комнатам, которых было две, одна из которых была побольше, но места в ней было поменьше, потому что беспорядка было больше, чем места, зато другая комната, в которой жил Свя, хоть и была поменьше, места в ней было побольше.

А Вера совсем не находила себе места. Этот денек ее поразил. Есть вещи, которые можно перенести и которые перенести нельзя. И она не могла перенести смерть вот того отца тех троих детей, которого раздавил автобус. То есть она могла это перенести как Вера, но никак не могла это перенести как трое детей и его жена. Чуть только подумав, что она его жена или она — его трое детей, она теряла всякую способность жить. И она гнала от себя мысль о том, что она — жена и что она — трое детей. Но картина смерти была такой ясной перед глазами, она была как на картинке, что может быть поэтому она казалась чуть-чуть нереальной. Уж очень натурально все было, даже не верится. Но если поверить в эту натуральность, то как дальше жить. Вот смерть. Она ведь бывает и просто как смерть в конце жизни, то есть когда просто жизнь кончается смертью, когда человек к этому готовится всю жизнь. А бывает вот такая смерть прямо посреди жизни. То есть человек прямо в жизни умирает, да еще прямо в жизни своей жены и троих детей, прямо на улице. Только убиваться. И горе — оно всегда натуральное, в нем всегда есть детали. И от этих деталей не хочется жить. А любовь — ведь совсем ненатуральная, абсолютно никаких натуральных деталей, полный провал в памяти во время любви, лунатическое занятие, какая-то приманка, чтобы человека куда-то приманить и что-то ему показать, но куда? но что? полная неизвестность, абсолютная ненатуральность.

Вера была бедной девушкой. Но что такое бедность? Очень относительная вещь. По сравнению с богатыми людьми она была, конечно, бедна, но по сравнению с бедными она была, конечно, богата. А что такое богатый человек в Союзе? По сравнению с действительно богатыми людьми вообще все нищие. И если хиппи ездят в

плацкарте (3-м классе), жрут какую-то дрянь, не имеют денег, то бедные советики, которыми набиваются поезда, которые по-скотски ездят в плацкарте, они что, тоже хипуют? Тогда у нас в стране все хипуют, все до одного, кроме номенклатуры, потому что все они чистые экологи, т.е. зеленые. Они живут, как правило, в сосновом бору за бетонным забором и как правило сохраняют этот бор для потомства и не дают советикам в нем гадить, потому что все советики — свиньи, а бор надо охранять, что они и делают. И экологически чистая среда только там, где обитает номенклатура, а вся остальная среда засрана советиками.

У Веры была даже маленькая квартирка, потому что в нашей стране нет бездомных и безработных. И все люди работают, но выглядят как-то странно. Как безработные. Такие серенькие, такие какие-то. Совершенно какие-то бездомные. И даже если будет больше, то все равно будет меньше и хуже. И там и там не будет. И здесь. "Лишь бы только" — это путеводная звезда, это стихи. Лишь бы только не было войны. Лишь бы хлеб был. Лишь бы не было дождя. Может, у нас просто климат холодный? Может быть. И у нас бесплатное лечение и обучение тоже. Но лучше бы было платным. Лучше бы заплатить и лечить. Заплатить и жить. Лишь бы зажило. И люди все время удивляются. А что тут удивляться? Если вся власть принадлежит народу, то все бесплатное принадлежит только власти. Это порочный круг. Это извращение. И в системе групповушка. А может они кролики, если у кроликов тоже групповушка? Лишь бы только не заебли.

Но ведь и сами по себе люди вообще не привлекательны, они или пашут, как лошади, или скучают. И больше всего какому-то одному человеку нравится унижить другого человека. И за это нужно платить большие деньги, чтобы это выглядело прилично. А также за большие деньги можно качественно скучать. И вообще людям скучно чувствовать себя хорошо, и они стараются почувствовать себя плохо, для этого и допинг, чтобы все болело, чтобы побыстрее скинуть от этой жизни. Вот и не заметишь, как жизнь пройдет. Но вот розочки трепещут на ветру, абсолютно розового цвета, две розовых розочки в абсолютной тишине, которую нарушает только ветер, но слава богу, не человек. И нет ничего противней человеческого шума. Потому что он членораздельный. Шум состоит из слов, слова составляют

смысл, а шум есть полная бессмысленность. А в шуме моря нет смысла, и в шуме ветра смысла нет.

И когда Вера стала засыпать, когда она уже выключила свет и в каждом углу стало темно и ни в одном углу не было ни огонька, в одном углу прямо без света как есть прямо в темноте что-то зашевелилось, как будто там была птица в этом углу, даже как будто это была птичка, и когда Вера присмотрелась получше, она увидела вот того отца, которого раздавил автобус. Он сидел на корточках и вытягивал вперед голову, которую ему отдавил автобус и обратно втягивал ее. И вот так, вытягивая и втягивая голову, он сказал: "я воробей-малобей". Он пошутил чуть-чуть, а потом упрыгал в угол. Назад. К себе. А ведь Нижин-Вохов был совсем не мечтатель. Он хотел от жизни то, что жизнь ему давала, то он и хотел. И его желания исполнялись. Даже так: исполнение желания опережало само желание, а может быть даже было так: сначала желание исполнялось, а потом он уже его желал. А ведь есть люди которые хотят от жизни больше, чем она им может дать, и они мечтают о другой жизни. А Н.-В. жил своей жизнью и он ее проживал. Одни люди ходят на работу и за эту работу получают маленькие деньги, и даже если они будут бегать на эту свою работу, даже если они будут на нее летать, никто им не заплатит больше. Им раз и навсегда платят столько-то и никогда больше. И почему-то они на это соглашаются. И может быть, все обман и мираж, и может быть в этом мираже одни ходят на работу, а другие получают деньги. Вот как раз именно все так и есть — надо или ходить на работу или получать деньги. Потому что ходить на работу и получать за это деньги просто невозможно. И каждый человек в этом мираже должен для себя сразу решить, как ему жить: или ходить на работу или получать деньги. И в этом мираже есть какие-то особые миражные проценты, которые и получает тот человек, который раз и навсегда для себя решил на работу не ходить. Н.-В. из этих миражных процентов получает только 20%. Но ведь это были 20% от очень миражных денег. И когда утром Н.-В. допил чай и вышел из дома, у него на расходы был один рубль. А что такое рубль? это просто мираж, это чья-то фантазия, это относится к области... а собственно, ведь нет такой области, к которой можно отнести рубль. Н.-В. шел в один магазин. Даже в магазинчик. Нет, даже в отдельчик одного магазинчика, где его рубль не требовался. Как неохота говорить о политике, да и никто бы

не стал о ней говорить, такая скучная тема, просто серая скучища, но ведь политика даже в автобусе, где слишком много... даже в магазине, где слишком мало, на пляже, где слишком много... от этого сочетания тошнит. А правда странно, что человек все время сталкивается с людьми, и по отношению к человеку — они все эти люди — люди, а он по отношению к людям — человек. Но на самом деле все очень хорошо! И на самом деле люди, они не все состоят из людей. Ровно столько же, сколько видов животных, столько же и видов людей, но может быть, чуть меньше, может, чуть больше. И даже среди видов есть различные названия людей — есть кролики, кошки, зайцы, но вот среди животных нет ублюдков, а среди людей — есть. И если среди животных попадаются мутанты, то это, как правило, феникс или сфинкс, которых полно в Ленинграде, но они все каменные, а живых сфинксов в Ленинграде нет, зато мутантов — полно, они живут в коммуналках, они уроды, они еле держатся на ногах, из них вырастают советики, которые становятся неграми и сами хотят выехать в Африку собирать бананы или работать посудомойками в Австрии. Это чистая правда. И в этой правде много грязи.

Нижин-Вохов шел вяло и уныло. И солнце в небе было вялым и унылым, и улицы вялые и унылые под дождиком, который шел. Несмотря на то, что у Н.-В. был один рубль на расходы, у него имелись некоторые другие купюры, на которые действительно можно что-то купить. И в этом отдельчике этого магазинчика он купил на маленькие деньги: три баночки пива и пачку сигарет, и коробочку конфет и все такое маленькое и хорошенькое, что этих маленьких и хорошеньких денег было не жалко на все это маленькое и хорошенькое. И на одной купюре был изображен Дебюсси, а на другой Делакруа. Все-таки изысканные, эти французы. У них на купюрах — художник и композитор. Их знают и любят, потому что один написал красивые картины, а другой красивую музыку, и это осталось для вечности. А у нас кто на купюрах, что он сделал такое красивое, что осталось для вечности? что? что-что?

С баночками и коробочками Нижин-Вохов шел прямо к Снандулии, которая жила прямо рядом с этим магазинчиком, то есть, если выйти из этого магазинчика и идти все время прямо, то как раз там и будет дом, в котором жила Снандулия. И хорошо, что не было соседки. Хотя соседка была сама по себе хорошая, но все-таки

хорошо, что не было дома хорошей соседки. И хорошо, что Снандулия жила в центре. Все-таки в центре Москвы жить намного лучше, чем скажем, на юго-западе или на юго-севере. Конечно, хорошо бы, если бы соседки не было вообще в природе, но в природе ее не быть не могло, и она была. Ее не было сегодня. Оказывается, ее не будет целую неделю.

— а потом она обещала позвонить, — сказала Снандулия.

— хорошо выглядишь, — сказал Н.-В.

Снандулия была не просто женщина, которая была хороша собой, ведь она была его жена. И он ее любил, но у них были очень веселые отношения. А сегодня — сердце. Оно как-то не так стучит. Но это не сердечные муки. Оно болит не от любви. Оно побаливает. Оно ноет, как зуб. А после пива вдруг прошло. А вторую баночку она потом выпьет. Он бы и сегодня женился на ней. Как и десять лет назад он бы на ней женился. И когда он на ней женился десять лет назад, ей было двадцать лет, и сейчас, через десять лет, он бы на ней женился, как и тогда. Она задремала. И у нее были волосы, которые были почти розовыми, и это было от природы, и от природы она была несомненно красавицей, которой он пришел сказать одну вещь.

— Снандулия, - позвал Н.-В. — ты спишь?

Она пошевелилась

— я вчера встретил девушку моей мечты, — сказал Н.-В. У нее был приоткрыт рот, когда она повернула к нему голову.

Она что-то хотела сказать.

— в раю? — сказала она.

— нет, на самом деле.

— где? — сказала Снандулия, — дай подушку.

Н.-В. дал ей подушку и хотел сказать, где, и сказал.

— вчера на аэродроме.

— ну и как там?

— где? — спросил Н.-В.

— в раю, — сказала Снандулия. И отвернулась.

— я пошутил, Снандулия, ну-ка посмотри на меня, Снандулия. Прямо на глазах у одной девушки задавили человека, вот и все.

— принеси чаю.

— сейчас принесу, это была трагедия.

И Н.-В. пошел на кухню за чаем и услышал, как кто-то открывает дверь. И дверь открыла именно соседка, ко-

торая уехала на неделю, но внезапно вернулась. И он шел к входной двери и видел, как соседка открыла дверь, захлопнула ее, поставила сумку, села на пол и умерла. Когда Нижин-Вохов подошел к ней, она уже умерла. И когда он к ней подошел, ему показалось, что и вернулась она уже мертвая. То есть она уже мертвая открыла дверь, поставила сумку и села на пол. Она внезапно вернулась, уже будучи мертвой. И когда он вернулся к Снандулии, он сказал:

— ничего страшного, там вернулась мертвая соседка. Как Снандулия оказалась уже рядом с соседкой, было просто непонятно. Перепрыгнула? Она склонилась над соседкой, но соседка была уже абсолютно мертвой. В коридоре двери сидела какая-то нереальная соседка, т.е. пока она была живая, она была как раз реальной, но как только она умерла она стала как раз нереальной. даже было непонятно, сколько ей лет. Тридцать? Это была мертвая молодая соседка.

— у нее был кто-нибудь? — спросил Н.-В.

— надо вызвать врача, никого у нее не было.

— ты же помнишь, какая она была, очень некрасивая, — сказал Н.-В., — посмотри на нее сейчас.

Снандулия посмотрела прямо на соседку, прямо на ее лицо.

Перемена, которая произошла в лице соседки, была просто поразительной. Эта мертвая соседка просто стала хороша собой

— поразительно, — сказал Н.-В. — как она изменилась. Пока ехал врач, Н.-В. смотрел на мертвую соседку, как она сидит и не шевелится, как она сидит, как кукла.

— разве такое может быть, — сказал Н.-В. — чтобы вот так изменилось лицо? Снандулия, ты слышишь меня? Но Снандулии не было рядом. Н.-В. пошел в комнату, но и там не было Снандулии.

— Снандулия, — позвал он, — ты где?

Он дернул дверь в ванную, но дверь не открылась.

— открой, Снандулия, ты что? — сказал Н.-В.

Снандулия мылась под душем, и пока она мылась все время под душем, за это время похоронили соседку, и хоронить соседку помогала другая соседка по дому, и эта другая соседка по дому взяла вещи мертвой соседки и комнату опечатали, и вот те розочки, которые трепещут на ветру... Время, когда время стоит, и никаких дел. Кроме одного дела. Но это дело можно и не делать. Например, отдать пакет. И если этот пакет отдать, то это будет дело. И если

его не отдать, то это тоже будет дело. Электричка покачивалась — мимо с одной стороны завода, — мимо, с другой стороны, реки, тоже отравленной.

Вот станция. Вот киоск. Вот варезки в киоске. Которые зимой можно носить, а летом покупать, чтобы до зимы потерять. Нижин-Вохов шел к даче, которая стояла в таком просторном лесочке. И дача была тоже просторная. И лесок тот рос с большим вкусом, в нем сочетались разные деревья, и полянка перед дачей тоже была с большим вкусом расположена перед дачей, и на полянке было три пенька, и один пенек был побольше, и он был как бы столик, а два пенька поменьше, как бы стульчики. И было солнце. И можно было загорать. И можно было все. И когда Н.-В. подошел к калитке, он увидел Василькису, которая одета была тоже с большим вкусом. На ней было такое простенькое платье, которое нарочно было так сложно сшито, чтобы выглядеть простым. И полянка и дача, и даже платье были куплены отцом Василькисы, который жил и работал в Европе. И получалось, что по отношению к Европе Василькиса живет и работает в Азии. Василькиса даже летом работала. У нее был ученик, и она учила его французскому языку. И этот ученик не шел. И когда скрипнула калитка, Василькиса увидела вместо своего ученика Нижина-Вохова. И она даже не сразу обрадовалась, то есть она конечно обрадовалась сразу, как только поняла, что это не ученик, а Н.-В. И они поцеловались. Скорее нежно, чем страстно. Скорее просто, чем сложно. Конечно, Н.-В. любил Василькису, то есть конечно он бы на ней женился, если бы не было Снандулии, но не мог же он на ней жениться раз он уже женился на Снандулии. И он ее обманывал. И она ему верила. Разве это не счастье? Н.-В. открыл бутылку вина, и первый глоток совершенно открыл глаза на невероятную красоту места в данный момент. Это место было прекрасно, как первый глоток, даже три сосны и домики вдалеке и абсолютно некрасивая дорога, но тоже красивая, потому что на ней не было ничего некрасивого

в данный момент: ни собаки, ни человека, ни грузовика. Даже не шел ученик. Его тоже не было на дороге.

— с утра его жду, — сказала Василькиса.

— а я за тобой, — сказал Н.-В., — я раньше не мог.

И он рассказал про соседку. Как она внезапно умерла, и как Снандулию так потрясла ее смерть, что она не хотела, но он настоял, чтобы все неделю, пока соседку

не похоронят, Снандулия жила у них с отцом. А теперь уже похоронили. И теперь уже Снандулия вышла на работу.

— значит, ты ей об э т о м ничего не говорил? — спросила Василькиса.

Об "этом" — и было как раз о том, что Н.-В. хочет жениться на Василькисе. То есть Василькиса хотела, чтобы Н.-В. хотел на ней жениться и чтобы он поговорил об этом со Снандулией. Но Н.-В. никогда об этом со Снандулией не говорил, а говорил об этом только с Василькисой. Со Снандулией он не хотел об этом говорить. И не мог. И не мог, и не хотел.

Они посидели еще чуть-чуть на полянке и перешли в дом, где все тоже было устроено с большим вкусом. Каждая вещь была на своем месте, и если окно выходило в сад, то сад радовал глаз, а если другое окно выходило в лес, то уже лес начинал радовать глаз. И так, переходя из одной комнаты в другую, все время можно было радоваться. А потом стало темнеть. И казалось, что все еще рано, но уже стемнело, и в Москву уже было возвращаться поздно. И Н.-В. с Василькисой устроились на веранде, и Василькиса его все время кормила, а он все время ел. И не потому, что он все время хотел есть, а просто это было такое занятие: она занималась тем, что она готовила, а он занимался тем, что ел. И она опять заговорила о своем ученике, что она боится, что он утонет на экзамене, что он все-таки слабенький ученик, нет, что если его, конечно, не топить он может быть и сдаст экзамен, "но ведь знаешь, язык такая вещь, легче всего утопить".

— почему ты думаешь, что его будут нарочно топить? — спросил Н.-В. без особого интереса.

— даже если и не топить, — сказала Василькиса, — он очень смущается, у него неважно с произношением.

— а может, он в тебя влюблен? — спросил Н.-В., — мальчики часто влюбляются в учительниц.

— может, ты ревнуешь? — сказала Василькиса.

— может быть, - сказал Нижин-Вохов.

Так они приятно болтали, и Василькисе было приятно, что Н.-В. ее ревнует к ученику, а Н.-В. было тоже приятно, потому что он видел, что это приятно Василькисе. И время приятно шло, как вдруг на дороге за калиткой раздался какой-то неприятный шум. Говорило сразу несколько человек, и голоса их были какие-то визгливые и неприятные.

— пойду посмотрю, что там, — сказала Василькиса.

— не надо, не ходи, я сам.

Они вместе вышли на этот неприятный шум за калитку. Там стояло несколько человек на дороге, и лиц их было почти не видно, а голоса их были очень неприятные. "говорят в два часа"

было не совсем понятно о чем говорят эти люди, но было понятно, что что-то случилось, что-то неприятное. Случилось. Вот тот ученик, который не пришел к Василькисе, он действительно утонул в речке. "Говорят судороги". И никто его нарочно не топил.

— не думай об этом, — Н.-В. повторил эту фразу уже несколько раз, потому что Василькиса не могла об этом не думать, и сам он не мог об этом не думать, об этом ученике. И когда они вместе об этом заговорили, было не так страшно, но когда каждый начинал об этом думать про себя, было очень страшно. Но Н.-В. было даже страшнее, потому что он думал еще о том отце троих детей, которого раздавил автобус, но он не мог об этом сказать Василькисе, потому что тогда нужно было бы сказать ей о Вере, а о Вере он ей сказать не мог. И когда Василькиса говорила ему: "о чем ты думаешь?" он говорил:

— я не об этом думаю, и ты не думай об этом.

И Н.-В. заснул уже под утро, а Василькиса никак не могла заснуть, и она смотрела на него и видела, как он постанывает во сне. И она видела, что ему снится какой-то сон. И после этого сна, Н.-В. был очень сонным, потому что сон этот не давал ему спать и мучил его во сне. Потому что когда Н.-В. вышел к мыльной реке, там мылись какие-то мыльные люди. И когда он присмотрелся к этим людям, то увидел, что они вроде бы и не люди. То есть они только выглядели как люди и именно с д е л а н ы были как люди, но сразу было видно, что это не настоящие люди. Это были какие-то дураки, и эти дураки мылись. И мылись они тоже как-то по-дурацки. И потом он увидел какую-то фигуру на берегу. И он сразу подумал, что эта фигура пасет этих людей. Эта фигура была женской фигурой. А эти дураки были ее стадом. И эта женская фигура сказала ему, что это стадо людей, она так и сказала — с т а д о людей, и у них отсутствуют все пять чувств. То есть у них есть глаза, но они не видят. Они совершенно слепые, глухие, они даже немые, у них даже нет органов обоняния и осязания, и вкуса они не чувствуют. И вся эта мыльная река с этим стадом людей и женской фигурой вдруг стала уходить у него из под ног.

И когда он взглянул вниз, он увидел у себя под ногами, где-то далеко внизу такую мыльную канавку, где копошились какие-то мыльные козявки. А когда он проснулся, он стал гнать от себя сон. И пока он гнал его, он был сонным. И сонным он был, пока его окончательно не прогнал.

2

Главное — заняться делами. Но главное, сделать наконец одно важное дело. Из-за этого несделанного дела невозможно заниматься другими делами. И главное, по этому важному делу невозможно дозвониться. Никто не подходит. И Вера опять позвонила, и опять никого. А дело-то, хоть и было важным, было простым. Ей рекомендовали одного человека, который может помочь в этом деле. Ей сказали: "Все, что от него зависит, он сделает, только к нему надо прийти со слайдами". И если все будет удачно, она должна будет заплатить ему двадцать процентов. И Вера сказала: "А если у меня нет слайдов?" — "Ну, вы можете с ним договориться, может быть, он придет и посмотрит ваши картины". И вот уже три дня по этому важному делу невозможно дозвониться. Может быть, найти другого человека, но другого тоже ведь надо найти. И на это может уйти не три дня, а еще больше. И, просидев весь день дома, еще несколько раз позвонив, Вера разозлилась к вечеру и на этого человека, который не подходил к телефону, и даже на того, кто ей этот телефон дал. И вот, так разозлившись, она решила позвонить еще раз. И вдруг дозвонилась. И сказала. И сказала она, что звонит по рекомендации такого-то и ей нужен такой-то. И мужской голос сказал: "Ну, я слушаю". И Вера сказала, что она хотела бы устроить свою выставку и, может быть, несколько работ продать, и мне сказали, что как раз вы можете в этом помочь.

— Скажите, как ваша фамилия?

— А я никогда не выставлялась, вы меня не знаете.

— Все-таки скажите.

И Вера сказала. И действительно такую фамилию он не знал.

Даже не слышал.

— Вы можете показать мне слайды?

— У меня нет слайдов, - сказала Вера, — может быть, вы посмотрите картины.

— Тогда сделайте слайды, а потом позвоните.

И Вера зло сказала: "Не буду я делать никакие слайды".

— А где вы хоть живете?

И Вера назвала улицу, дом и квартиру. Была небольшая пауза, потому что, когда девушка назвала именно ту улицу, тот дом и ту квартиру, Нижин-Вохов просто не мог поверить, что эта девушка и есть Вера.

— Простите, а как вас зовут? — спросил он.

— Вы уже спрашивали.

— Имя? Ваше имя?

И Вера сказала: "Вера".

— Сегодня, - сказал Н.-В.

— Что, действительно сегодня?

— Через полчаса.

И он приехал. И он был действительно Нижин-Вохов.

И как только Вера открыла дверь, и как только увидела в дверях того человека, который вез ее с аэродрома, и как только вспомнила и про того отца, которого раздавил автобус, и про ту черную собаку, она не только забыла про делового человека, которого она ждет, она забыла и про само дело. С тех пор как тот человек привез ее с аэродрома, прошло две недели, и она думала, что тот человек ей позвонит, но он так и не позвонил, и она подумала, что он забыл о ней, и теперь она подумала, что он о ней вспомнил. А Нижин-Вохов стоял и смотрел и ничего не говорил, потому что Вера тоже смотрела на него и ничего не говорила. И наконец Вера сказала:

— Вот это да! Вспомнили обо мне.

Ее слова дошли до него мгновенно. Ее слова говорили о том, что она не понимает, что он тот, с кем она говорила полчаса назад по телефону, но что она думает, что он тот, с кем она виделась две недели назад. И это восхитило его. Значит, было бы так же восхитительно, если бы он приехал сам, а не по делу. Но все-таки он не приехал сам, а приехал по делу. И сейчас должно было произойти совпадение двух людей: того, о ком она помнит, и того, кого она сама добивалась по важному делу. Эти два человека должны были совпасть. И Н.-В. сказал: "Удивительное совпадение, я хотел позвонить, но не знал телефон, и тут ты звонишь сама".

— Что-что? — сказала Вера.

Ну конечно же, как она сразу не поняла, что Нижин-Вохов и есть тот самый человек, которого она ждет. Но в то же время он и тот, кто привез ее с аэродрома. То есть все-таки получалось, что их два. Но все-таки это был

один — Нижин-Вохов. И она сказала совершенно уж бессмысленную фразу:

— Я вас перепутала.

Но что она на самом деле перепутала? Просто она перепутала того Н.-В., который вез ее с аэродрома, с тем Н.-В., который ей нужен был по важному делу. И вдруг это оказался все один и тот же человек. И Вера окончательно запуталась. Теперь она не знала, какой человек ей больше нужен, тот, который вез ее с аэродрома, или тот, который пришел по важному делу. Ей было приятно, что тот человек говорит ей "ты". Но она не понимала, почему этот деловой человек, новый Нижин-Вохов, говорит ей "ты". И Вера совсем не знала, как ей вести себя с ним: как с тем или как с этим, говорить ему "ты" или "вы", и тогда она сказала "мы". Она сказала:

— Мы будем смотреть картины?

Все в жизни занятие. И еда — занятие. И сон. И живопись. И стихи. Да и сама жизнь — тоже занятие. А все помимо этих занятий — освещение. Залаяла собака. Это она что-то хотела сказать. А на улице лаялись люди, тоже что-то хотели сказать своим лаем. Один и тот же лай. Хотя собака лаяла по-человечески. А люди лаялись по-собачьи. Одно и то же.

— Прошу тебя, говори мне "ты", — сказал Нижин-Вохов. Он смотрел на Веру, которая стояла прямо посреди комнаты, и комната была освещена электрическим светом, но и на улице еще было светло, хотя уже начинало темнеть. И на улице был серый свет, а в комнате желтый, на улице было естественное освещение, а в комнате неестественное. "Еще светло", — сказал Н.-В. и выключил свет. И без света в картинах пропали кое-какие детали. Но кое-какие новые детали даже появились. И в Вере без света появилось что-то новое. И лай стих.

— Но мне-то все это зачем? — сказала Вера.

— Не бойся.

Вот он, этот поцелуй. Нужно бояться. Чтобы потом не было страшно. И когда идешь, и когда спишь, и когда плывешь, а в Индийском океане надо бояться гамадриад, потому что их яд в двадцать раз сильнее яда кобры. Зачем у них такой сильный яд? Ведь если кобра укусит, то мгновенно умрешь. А если гамадриада укусит, то в двадцать раз мгновенней умрешь? Но ведь это невозможно — в одно мгновение умереть в двадцать раз мгновенней. Это было самое настоящее опьянение от поцелуя. То есть были все признаки опьянения, даже

головокружение и тошнота. И даже трудно было сориентироваться — что где? Все везде. Даже как будто заблудились. Как будто туда была какая-то дорога, а обратно не было. Как будто даже не знаешь где.

— Где? — сказал он.

— Вот, — сказала Вера.

Почему-то потом оказалось, что свет горит. И почему-то свет горел не только в той комнате, где все это было, а даже и в той, где ничего не было. И в туалете, и на кухне — везде горел свет. Как будто бы это все — у них было везде, даже в туалете и даже на кухне. И почему-то жутко хотелось спать. И спать хотелось без света. И свет раздражал. И почему-то все началось сначала, только не сразу, а когда действительно уже не было света и было темно абсолютно везде. И почему-то потом все кончилось.

И они заснули. И как только они заснули в одной комнате, в другую вошла черная собака. Она вошла и легла. Но легла не как мертвая собака. Совсем не так, как тогда, когда ее раздавил автомобиль. И за собакой вошла молодая соседка, которая в момент смерти вдруг похорошела. И они стали ждать. И соседка погладила собаку, а собака лизнула ей руку. И ждали недолго. И в комнату вошел отец тех троих детей. И на шее, где у него была кровь, кровь у него так и осталась, но она не капала и не струилась, она была как бы под такой прозрачной пленкой, как под целлофаном, и этот целлофан не давал ей вытекать, но это был натуральный целлофан, а не целлофановый. И этот отец держал за руку мальчика, но это был не просто мальчик, а тот ученик, который утонул. И когда они все вместе встретились, они поцеловались. Это у них была такая одна семья, как у живых людей. Как будто молодая соседка заменила ученику мать, а отец как будто стал ему отцом, а черная собака стала их собакой. И, добравшись всей семьей, они пошли посмотреть, как спят живые люди. И они бесшумно вошли в комнату, где спали Нижин-Вохов и Вера. Они смотрели, а потом вернулись. Назад. К себе.

Просыпаются птицы, дети, лифты. Кто первый проснется, тот и прав. Вера первая проснулась и первая поразилась, что рядом с ней спит человек, о котором она ничего не знает как о человеке. Бывает собака — хороший человек, бывает птица — хороший товарищ, даже бывает кошка — друг детства, и даже в детстве бывают такие зверюшки: кролики или дрозды, такие милые,

которых любишь почти как маму. Этого кролика можно поцеловать. И где этот миг сейчас? Прекрасно, что каждый миг прекрасен в свой миг. Потому что для этого мига только и есть один миг. И если в этот миг нет этого мига, то этого мига может и не быть. Никогда. Будет другой миг. Но этот — никогда. Почему нельзя в жизни сделать что-то одно раз и навсегда. Вот если мама одна, она раз и навсегда одна, и только маму можно любить как маму, то разных людей можно любить по-разному как людей. Даже любимый. Но он всего-навсего один из мужчин. Как это грустно. Но самое невообразимое то, что можно любить даже не один раз (а просто невозможно вообразить), даже два раза или даже несколько раз. Но ведь любят даже параллельно. Тоска. Может, любят даже перпендикулярно. Почему невозможно раз и навсегда родиться, влюбиться, жениться, почему нужно каждый раз еще раз, почему все происходит все время. И жизнь очень даже бурная. А телефон — это такая фигура в каждом логическом рассуждении, которая данную логическую мысль делает абсурдной. Когда звонит.

И если к тому, что было вчера, отнести просто, то все, конечно, не просто, но намного проще, чем если к тому, что было вчера, отнести не просто. И вдруг Н.-В. проснулся. И проснулся он совершенно по-деловому, и по-деловому осмотрелся, и совершенно по-деловому сказал: "Особенно вот эта" — и он показал на картину, которая висела среди других картин, но все равно Вера сразу поняла какая.

— А мне эта и вон та.

— Та тоже хорошая, но особенно эта.

— А эта? — сказала Вера и показала на север, где было холодно, и куда люди уезжали на заработки, чтобы заработать побольше денег и прожить. И в Африку тоже уезжают люди, чтобы заработать побольше денег и прожить. Потому что больше всего денег платят, когда очень холодно или очень жарко. А потом заболеть и умереть. Потому что в Африке много болезней и они пристают к человеку. И если бы Рембо не поехал в Африку, он бы не заболел и не умер, а так он поехал, заболел и умер. И если бы он не умер, то написал бы много стихов. Но все равно бы не заработал много денег. Потому что одни люди пишут стихи и им за это почему-то дают деньги. А другие пишут и им почему-то за это не дают. А почему? — Почему эта незаконченная? — сказала Вера. — Ты встань и посмотри.

Н.-В. встал , посмотрел и опять лег. Конечно, лежа — незаконченная, и сидя — незаконченная, только стоя законченная. Особенно сзади незаконченная. И особенно картина была незаконченная в такой позе, в которой Вера оказалась после того, как Н.-В. опять лег. Потому что лег он не так, а наоборот.

— Ну что, законченная?

— Законченная, законченная.

Живопись располагает. И особенно в левом углу, и особенно под одеялом.

— Ты только не вставай, — сказал Н.-В., — я сейчас вернусь.

— А куда ты?

Н.-В. сбегал и принес. И пришел он даже быстрее, чем ушел. Потому что покупал он тоже сзади. Потому что страна была необыкновенная. Это была редкая страна, может быть, единственная среди других стран. Где существовал как бы перед и зад. И все необыкновенное делалось сзади. Сзади продавали сигареты, вино и мясо, даже дома, даже... Но, собственно, речь сейчас шла о...

— Ничего другого не было, — сказал Н.-В., — только коньяк. И он был вкусный. Потому что если его пить часто, то он невкусный, а если редко, то вкусный, а если его совсем не пить, то он французский коньяк. Почему-то смех приходит вместе с опьянением: то ли опьянение смешит, то ли смех опьяняет. Особенно много смеялись обсуждая возраст. Сначала Вера себе немного сбавила, а Н.-В. ничего не сбавлял, и получилось, что он старше. А потом Вера себе накинула то, что сбавила, и даже прибавила еще один год и получилось, что она старше его на год. И тогда Н.-В. накинул себе несколько лет, и получилось, что он намного старше, и это было особенно смешно. И потом они уже вместе скинули то, что прибавили, и получилось, что Вере столько же, сколько и Н.-В., только они никак не могли разобраться с армией и с зимой. Потому что, если Н.-В. родился зимой в таком-то году и чтобы его не забрали в армию, ему на месяц изменили дату рождения и получалось, что он родился не в эту зиму, а тоже зимой, но в следующем году. Но трудно было разобраться, в каком следующем. И получалось, что у него два дня рождения: одно настоящее, а другое официальное. И сначала он родился по-настоящему, а потом уже через 18 лет официально. И чтобы по-настоящему не умереть официально, он не служил в армии совершенно официально. Потому что

учился в таком институте, после которого в армию не берут. "А куда берут?" — "Сразу на работу". Но на работу, на которую берут, Н.-В. сам не пошел, а на которую хотел пойти, его не взяли. И он сам себе нашел работу, на которую не ходил.

— Но других же забирают, — сказала Вера.

— Куда?

В армию. И там избивают. Их не кормят, бьют и убивают. И чтобы в армии не сойти с ума, нужно до армии притвориться сумасшедшим. Нужно стать педерастом, которых тоже не берут, наркоманом, уголовником, заикой, с нарушением вестибулярного аппарата не берут, нужно быть левшой, квашней, дураком, политическим. Или сходить, отслужить и вернуться. И вернуться заикой, педерастом, дураком... или мертвым.

И утро то такое, а то такое, и то люди, то воробьи, и те мысли и те эти. И если жить, то столько, а если умереть, то во сколько? В сто лет. А что здесь делать-то в сто лет, на этом свете. А если умереть в тридцать. То что там делать в тридцать лет, на том свете? Начать новую жизнь. А может, у смерти нет возраста. Все молодые. Только у жизни есть возраст — все старые. И земля как-то быстро состарилась. Ее съели. И съели ее люди. Все съедобное. И человек жует сам самого себя. А вот как речь зашла о Снандулии, было просто непонятно. Сначала они просто говорили о редких именах. А у Веры было простое имя. И у Н.-В. простое. И пусть его простое имя останется тайной. А у Снандулии непростое. И Вера сказала: "А помнишь, как звали ту женщину, которая выздоравливает? Кто она тебе, помнишь, ты говорил в машине". И Н.-В. сказал: "Снандулия". "И кто она тебе?" — опять спросила Вера. И Вера совсем не удивилась, что Снандулия его жена.

— И сколько ей лет?

— Почти столько же, сколько тебе.

— Почти столько же больше или почти столько же меньше?

— Почти столько же, столько же.

— Зачем ты на ней женился?

Зачем люди вообще женятся. То ли так выходит. То ли по-другому не выходит. Есть браки по любви и по расчету. И в браке по расчету расчет только один, что это будет брак. Это и есть личная жизнь. Которая никому лично другому не понятна, кроме того, у кого эта личная жизнь есть.

— Она была девушка, — сказал Н.-В., имея в виду Снандулию.

— А ты? — спросила Вера.

— И я — девушка.

Они лежали обнявшись, и оба были немножко пьяненькие, грязненькие и бедненькие. И им было хорошо. А если бы они были трезвые, чистые и богатые, может быть, им было бы и плохо. Кто знает? Тот, кто об этом знает, тот пусть и скажет. Пусть напишет. Один писатель пишет: "П. пошел, П. пришел", ясно, что это он пишет о себе, это он пришел и ушел, а другой писатель пишет: "П. заснул", ясно, что это он сам заснул. Все пишут о себе. И Лев Толстой бросился под поезд, а не Анна Каренина, Анна по-прежнему живет с мужем. Все пишут о себе. Но кто же напишет о других людях? Сами и напишут. Эти другие люди и напишут опять же сами о себе.

И потом стали приходить второстепенные мысли. Нужные, но незначительные, как второстепенные герои, и даже если всех второстепенных героев соединить вместе, то не получится одного главного. Эти второстепенные мысли были, конечно, второстепенными по отношению к главной мысли. Но главную мысль как-то трудно было сформулировать, и поэтому все мысли казались второстепенными, а главной так и не было.

— Вот, что я тебя хотела спросить, — спросила Вера, и она привстала.

— Что?

— Забыла, — сказала, и она опять легла.

— Вспомнила, — сказала она, когда легла, — ты что, влюбился в меня?

— Ты сама меня в себя влюбила, — сказал Н.-В.

— Кто?

— Ты сама.

— Что?

— А кто закричал на аэродроме, кто сел ко мне в машину?

Ты.

— А кто схватил меня за руку и усадил к себе в машину?

Ты.

— А кто ко мне приехал?

Ты.

И трудно в этом разобраться. Это труд, который не стоит труда. Это нелегкий труд. И неблагодарный. Но ведь это и есть счастье — не знать кто — в кого. Кто влюбил, а кто влюбился. Кто первый, а кто второй. Кто дает, а кто берет. Кто кого кто. И, кажется, наступил вечер. Потому

что, кажется, стемнело. И есть захотелось точно. И суп был холодный. Потому что в нем было много сыра. И в супе было все, что надо для человека. И Вера пока резала зелень, она ее одновременно и жевала. И про зелень не в супе, а в природе говорят — листья или трава, а про барана в супе говорят — баранина, а корова в супе — говядина, а индюшка в супе — индейка, а свинья в супе — свинина, а теляенок в супе — телятина. И суп — это вещь. А человек, который ест суп, — это человек, который ест.

Все-таки замечательно, что в жизни не устаешь удивляться жизни. Самой жизни. И розочки, которые трепещут на ветру, и они там тоже где-то серые от сумерек. И где-то там за горизонтом граница моря заходит вместе с солнцем на горизонте. И люди размножаются вокруг одной удочки. И эта удочка не просто удочка. Эта такая леска, а на ней крючки, а на крючках мясо. И нужно на матрасе уплыть далеко в море. И рыба, которая ест мясо, так и остается рыбой, а мясо ест траву и так и остается мясом. И люди, которые ловят рыбу, — разговаривают. Они говорят:

- Гыр-гыр-гыр — буюк.
- Гыр-гыр-гыр — зажигалка.
- Гыр-гыр — дискотека.

В их языке не нашлось слов для буйка, зажигалки и дискотеки, потому что их язык, на котором они говорят, — старый, а эти слова — новые. Даже не юные, и не молодые, и не молоденькие, а — новенькие. Эти слова даже не успеют состариться, так и умрут новенькими. И рыба уснула и не стала есть мясо, и люди уснули и не стали есть рыбу.

И после зеленого супа, после белого захотелось кого-нибудь убить. Кого-нибудь живого. Живого барана или живую корову, даже курицу. Но в комнате их не было — живых. Их не было даже мертвых. Они, мертвые, были только в магазине. И только сзади. Но не хотелось сзади идти в магазин. Только в ресторан. Но и в ресторан — сзади. Или сзади заснуть. Но заснуть можно и не сзади. Можно просто заснуть. И никого не убивать. И ничего не есть. Потому что, когда спишь, не хочется есть. А когда живешь, хочется. А когда спишь, нет. Значит, во сне не живешь. Во сне спишь — когда уже поел. Зато во сне не хочется спать. А в жизни — хочется. И в жизни — хочется жить. И вот что еще удивительно. Пока один человек живет, другой ведь тоже живет. И этот другой

человек живет своей жизнью, а этот своей. А потом вдруг, когда они вдруг встречаются, каждый преподносит друг другу свою жизнь. Вот это сюрприз! Сюрпризом для Н.-В. оказалось то, что у Веры есть дочка. "Никогда бы не подумал". — "Она еще маленькая". — "А муж?" Оказывается, и муж есть. И мама и папа, и бабушка и дедушка. "И где они?" Все на своих местах. Все — у себя. Мама — у себя, папа — у себя, муж — у себя. А дочка — у бабушки с дедушкой. А потом все вместе соберутся. "Никогда бы не подумал, удивительно". А что тут удивляться? Удивительно то, что, когда человек живет, ему кажется, что только он один и живет. А все остальные — это как бы фон для его жизни. И все остальные служат ему фоном. Что, они ему действительно служат?

— А у тебя?

— Что? — спросил Н.-В.

— Есть дети?

— Почти, — сказал он.

Это было самое неприятное. Что, кроме Снандулии, у Н.-В. есть еще и Василькиса и что у нее должен быть ребенок.

— Твой? — спросила Вера. — Но это же ужасно.

Нет, вообще это, конечно, прекрасно, что дети рождаются, потому что это все-таки новые люди. Но когда жена — это одна женщина, возлюбленная — другая женщина, а мама ребенка — третья женщина. Разве не может одна женщина быть и женой, и возлюбленной, и мамой ребенка. Не может. Не получается. Получается, что, когда возлюбленная становится женой, она перестает быть возлюбленной, а когда жена становится мамой ребенка, она перестает иногда быть даже женой. Вот именно так и получается. А по-другому не получается.

— А у Снандулии? — спросила Вера.

Не получился ребенок. И она так и осталась женой и не стала мамой ребенка.

— Это твоя жизнь, — сказала Вера, — и не впутывай меня в свою жизнь.

— Но никто не запрещает влюбиться, — сказал Н.-В.

А сердце — это мышца.

А скелет — конструкция.

А душа — есть.

А глаза — зеркало души, которая есть.

И кое-кто читал в детстве книжки "У меня в доме собака", или "Как ухаживать за рыбками", или "Домашние птицы — зимой". Но нет таких книг "У меня в доме муж",

или "Как ухаживать за женой", или "Возлюбленная — зимой". А ведь это тоже важно, это часть жизни — летом и зимой. И нужно знать, как с ними обращаться. Мертвые все прибывают, а живые убывают. И мертвых становится все больше, и они такие умные, и талантливые и близкие. А живым надо еще доказать живым, что они умные и талантливые, потому что они живут среди живых. И живые будут умными и талантливыми, когда умрут, а пока они живут, они просто живые. Им и так хорошо. Но ведь даже среди живых людей есть люди, у которых никогда не было такой страстной жизни, и страстной любви, и страстной смерти, а была просто обыкновенная жизнь, которую они и прожили. Пили, ели, спали, ходили на работу, сидели, скучали и писали письма. И спали. Главное — вовремя заснуть. И главное — вовремя не вставать. И главное — вовремя поесть. А потом вовремя умереть, чтобы не быть в тягость. А думать надо столько же, сколько и писать. А больше не думать. Чтобы мысли не пропали. Чтобы все, что подумаешь, надо подумать в следующий раз и в следующий раз записать. Что: люди живут мирно, но вот из-за какого-нибудь пустяка навсегда поссорятся: кто-нибудь не так закурил или не так пописал, а если оба так закурили и так пописали, то придет какой-нибудь третий и скажет, что кто-то из них не отдал долг. И это ссора. Это войны, танки и убийства.

А чтобы жить мирно, нужно все делать так. И даже найти время для работы. И чтобы лучше работалось, надо пить домашнее вино, чистый сок чистого винограда. И если пить вдвоем, надо выпить утром полбанки, а больше не пить и вечером работать, а остальное оставить на завтра, а завтра, наоборот, утром не пить вино и работать, а вечером выпить полбанки. Или сразу выпить целую банку и совсем не работать, только разговаривать, зато завтра совсем ничего не пить, а только работать. Или совсем не связываться с банкой, а просто выпить стаканчик. И стаканчик этот — чистый сок, а совсем не вино, совсем не пьянит, тогда лучше выпить сок, который совсем не пьянит, тогда лучше выпить все-таки стаканчик не для пьянства, а для вкуса и не разбавлять его водой, потому что это значит, что греки разбавляют вино водой, так они и употребляли его в качестве воды, а воду в чистом виде совсем не пили, а когда вино пили в качестве вина, то совсем не разбавляли водой, потому что вино — это кровь Христова, а

хлеб — тело Христово. И то, что вместе с Христом распяли еще двух, тоже не случайно, потому что всех вместе их должно было быть ровно три. И не четыре, и не пять, и не один. Потому что по обе стороны Христа были распяты вместе с ним и Бог-отец и Бог-святой дух. И потом они воскресли. То есть в этих разбойниках и были Бог-отец и Бог-святой дух. То есть была распята вся Троица. Только Бог-отец и Бог-святой дух уже сразу были боги и не должны были натурально воскреснуть. А Бог-сын еще был пока человек. И воскрес натурально. Потому что этих разбойников не могло быть два — случайно. И не могли они быть случайно по обе стороны Христа. Значит, получается, что все не случайно. А если не случайно, то Бог-отец и Бог-святой дух не оставили одного Христа на кресте. И по обе стороны от него были тоже на кресте. Но кто все это сказал? А никто не сказал. Тогда нужно взять и сказать об этом, "и я, правда, в это верю", но ведь, правда, не могли же они Христа оставить одного на кресте, совсем одного, где они тогда были? А как раз и были они по обе стороны Христа, тоже распятые.

3

Кончилась бочка, пора начинать новую, кончилось лето, пора начинать новое. И новая бочка будет в этом году, а новое лето будет только в следующем году. "Здравствуй, лето", и как только здравствуй, лето, здравствуй, уже следующее лето. У Веры был муж. Самый настоящий. И он был сделан из мужа. Это не игрушка. И это нельзя сломать. И с этим надо считаться. А вообще мужья и жены в литературе самая неинтересная литература, самая тусклая. А мужья и жены в жизни? Ведь из этого состоит жизнь. Неужели она тоже самая неинтересная и тусклая? Жен и мужей в литературе или обманывают, или не замечают, или даже убивают, а именно: травят, душат, закалывают ножом, а в жизни? Что с ними делают в жизни? В жизни с ними живут. И никто еще не описал счастливый брак, потому что читать про счастливый брак скучно, зато жить в счастливом браке интересно и даже хочется чего-нибудь еще, каких-нибудь приключений. Потому что счастливый брак — это и есть приключение. Это и есть приключение в жизни. И если несчастный брак, то можно покончить

с этим приключением и начать счастливый брак. А если счастливый брак, то с этим приключением покончить, конечно, можно, но это значит покончить со счастьем. Это приключенческий роман — счастливо покончить с собственным счастьем. В таком случае лучше всего жениться на девочке тринадцати лет, чтобы не разочароваться в браке, чтобы было счастливое приключение, чтобы всегда была молодой и не постарела. Или выйти замуж за старика, чтобы он так и был молодым стариком и никогда не состарился. Так и умер молодым. А если жениться в двадцать лет, то потом придется жениться и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят, и даже в семьдесят — все равно придется жениться. Все равно придется жениться. Все равно придется жениться всю жизнь. Даже у классиков, даже у Шекспира — ни одного счастливого брака, Дездемона задушена. А как она его любила! У Пушкина — все сплошное несчастье. У Достоевского вообще не доходит до брака. И у Лермонтова — не доходит.

У Флобера — несчастье.

У Мопассана — несчастье.

У Толстого — счастья нет.

Но "Капитанская дочка"!

Но зато все несчастья до брака. А где счастливый брак? Нет его в романе. Как будто неизвестно, что было с ними после брака. Может быть, Петрушу Гринева убили на войне, а Маша Миронова отравилась, кто знает? Нет, все-таки есть счастливый брак — в "Старосветских помещиках". Но они же как растения, как зверюшки. Это же не приключение в жизни. Они пьют и едят, спят и встают. И они не мучаются.

А у Шекспира — мучаются.

И у Толстого — мучаются.

И у Достоевского,

И у Пушкина,

И у...

И у...

И у...

И...

И мучиться — это приключение?

Но счастливый брак — это особое приключение. Даже имя у Веринаго мужа было приключенческим. Его звали дон Жан. И это секрет, почему именно дон. Абсолютно не потому, что он был испанцем. Абсолютно не поэтому. Хотя он мог быть и абсолютным испанцем, он мог быть

даже абсолютным итальянцем, но мы бы никогда не стали называть его синьором. А кроме приключения, все абсолютно ужасно, и абсолютно неабсолютно, и совершенно несовершенно. И евреи здесь абсолютно ни при чем. Ну при чем здесь евреи? Если все люди должны быть скромными, а правительство — бойким. Но те и другие должны быть бедными. Но люди должны быть бедными в своей скромности, а правительство бойким в своей бедности. Но несмотря на то, что дон Жан был абсолютно русским, он был абсолютно доном Ж ином. Разве это не приключение?

Тогда нужно приготовить ужин. Потому что все остальное есть. И даже есть из чего приготовить ужин. И ужин должен быть не обыкновенный, чтобы съесть и забыть, а необыкновенный, чтобы съесть и запомнить. И для этого нужно постараться. И дон Жан старался. Он старался, чтобы успеть. Чтобы Вера приехала, а у него все готово. И нужно приготовить то, что она любит. Он резал на кубики баклажаны и складывал их в кастрюльку. И потом он резал помидоры, лук, чеснок и складывал их в отдельные мисочки. Он все старательно резал и складывал, потому что это было блюдо, а для блюда надо постараться. И когда он уже все потушил, поджарил, посыпал блюдо сыром и поставил его запекать в духовку, он подумал: вот сейчас она придет. И когда он достал блюдо из духовки, чтобы оно чуть-чуть остыло, он подумал: вот именно сейчас она придет. Но она все не шла. И она все еще не шла, когда уже блюдо стало остывать. И оно остывало все больше и больше, и времени проходило все больше и больше. И вдруг он подумал, что она уже не придет. Но она должна прийти. И он подумал, что именно сейчас она придет. Именно сейчас. Когда уже все готово. И ему вдруг страшно захотелось есть. И вдруг он забыл. Он забыл, что к этому блюду у него есть мясо. Которое нужно сразу пожарить, чтобы сразу съесть. И не ждать, пока оно остынет. И как только он его пожарил, и как только он подумал, что как только он его уложит вместе с блюдом на такое большое блюдо, так сразу Вера и придет. И правда, как только он уложил, как только все было готово, она вдруг пришла.

— Чем это у тебя пахнет, — сказала она, — чем-то вкусным.

И тут она сказала, что не хочет есть.

— Что, совсем?

Она сказала, что совсем не хочет. Что вообще-то съест

кусочек, чтобы его не обидеть, но что есть не хочет вообще. Но это же очень обидно, что другой человек ест, чтобы не обидеть.

А чтобы ему совсем было не обидно, она сказала, что она вообще-то на минуту, что у нее еще есть одно важное дело, которое она не успела сделать.

— Ты не обиделся?

— Что за дело?

— Я заехала за одним пакетиком.

— Что еще за дело?

— Ты не видел такой синий пакетик?

И она пошла мыть голову. И когда она вышла из ванной, нет, когда она вошла в комнату, когда в комнате никого не было, когда она позвала его, и когда он не откликнулся, и когда на кухне его тоже не было, и когда она испугалась и опять вернулась в комнату, и как только она вошла, началось приключение, о котором она сначала не хотела и слышать: "Пусти меня, у меня правда важное дело", но он был азартен среди такой пустынной местности, где вообще никого не было, там была только одна девушка, и вдруг она увидела лодку и из нее вышли два рыбака. И когда они увидели эту девушку, они велели ей быть послушной и делать то, что они ей велют, и они ей велели... "Не хочу про эту девушку" — "А про что?" — "Про ту девочку в кино". Она сидела в кино, и вдруг к ней в кино подошел один хулиган, а других зрителей не было, и вместе с этим хулиганом оказалась еще одна его подружка, и еще вместе с двумя хулиганями, и фильм показывали очень хулиганский. И они все стали вести себя с этой девушкой по-хулигански, и вдруг включили свет, и даже не в конце сеанса, а прямо посредине, и девушка была посреди зала среди одних хулиганов, и когда выключили свет и один хулиган вдруг опять стал обнимать девушку, вдруг свет включили опять, и все увидели, как он опять ее обнимает, "включи свет", — и дон Жан включил свет, и Вера прямо на кровати, которая и была в самом центре приключения, прямо на подушках, и кровать эта стояла в таком пансионе на берегу моря среди других кроватей, и на всех этих кроватях лежали девушки, и дон Жан пробирался под кроватями, чтобы найти нужную ему кровать, на которой лежала Вера, и он полз и старался не шуметь, чтобы его не застукала смотрительница пансиона, и все девушки спали, а Вера на своей кровати не спала и ждала, пока он доберется до нее, и когда он добрался до

ее кровати, когда его так никто и не заметил, когда даже Вера не заметила, как он уже устроился рядом с ней, и они стали тайно шептаться, чтобы их никто не услышал, и они дошептались, и оказалось, что у нее есть ушки, и она улавливала такие слова, и они, эти ушки, были требовательными, и требовали еще и еще, и слов было мало, а ушек много, и потом слова стали гулом, а ушки телом, и все.

Все равно всегда кто-то один из двух всегда приготовит ужин, а другой придет и съест. И один всегда ждет, а другой всегда опаздывает. И один зарабатывает деньги, а другой тратит. И один рассказывает истории, а другой слушает. И один любит, а другой дает себя любить. И один берет, а другой дает. И кто из них счастливее: тот, кто сам дает себя любить, или тот, кто сам берет и любит. Ведь тот, кто сам берет и любит, всегда более с а м, чем тот, кто сам дает себя любить. Зато тот, кто сам дает себя любить, всегда более прав. И он всегда прав, когда опаздывает, тратит, слушает и дает.

— Ты мне не даешь заниматься делами, — сказала Вера после того, как опоздала, послушала, дала и съела.

— Ты не права.

Но все равно она была права, потому что дон Жан ее сам полюбил и она сама дала ему себя любить. И она была жертва его любви. А ведь так и есть. Всегда тот, кто любит, выбирает себе жертву, хотя ему кажется, что он приносит себя в жертву своей любви. Но это не так.

Неужели до того, как Бог принес Христа в жертву, было хуже, чем сейчас, и люди тогда были хуже? А может, и не хуже? Разве язычники сами по себе были плохие люди, когда играли в хулиганские игры и рассказывали хулиганские истории, неужели уж такие плохие, что Бог принес Христа в жертву, чтобы искупить их грехи. Нет, христиане не лучше язычников, христиане нехорошие люди. Какие-то они совсем нехорошие. Просто язычники грешили и не замаливали грехи, грешили от чистого сердца, от всей души, а христиане грешат, а потом каются, и хорошо знают, что хорошо, а что плохо, и все делают плохо, зато каются хорошо. Значит, христиане отличаются от язычников только раскаянием? И значит, если сделаешь что-то плохо, а потом раскаяешься, это будет хорошо? Но ведь это правда, что Христос независим от того, любим мы его или нет, — все равно нас любит, а человек, если его не любишь, докучает своей

любовью, а Христос — нет, а человек не докучает, только если его любишь.

Нет никакой определенности и никакой уверенности в завтрашнем дне. Но мысли о завтрашнем дне уже сегодняшние. Потому что о завтрашнем дне нужно думать уже сегодня. Так делают все люди. Они думают: куда мы пойдем завтра? Что мы будем есть завтра? А куда пошли сегодня и что ели сегодня — об этом они думали вчера. И "завтра" — это серьезное понятие, это трансцендентная категория, это жемчужина абсурда. С завтрашнего дня можно бросить и начать. И бросить все плохое и начать все хорошее. С завтрашнего дня можно жить по-новому. А сегодня еще можно жить по-старому. Хорошо, что люди умеют плавать, — и это очень хорошо, это большая радость, и не умеют летать, и в этом нет ничего хорошего, никакой радости. И Шелли не умел плавать и утонул, и Писарев утонул, и даже "Титаник" умел плавать, а все равно утонул.

Нет, Шелли тоже умел, а все равно утонул. Потому что чаще даже тонут те, кто умеет плавать, потому что гибнут не от того, что не умеют, а от того, что умеют. И сколько бы разбилось поэтов, и рабочих, и сердец, если бы они умели летать. Не так взлетел, или не так приземлился, или что-нибудь не так, сколько умерло бы прямо в полете, и они бы мертвые падали на землю точка как листья точка, и это бы уже была осень. И люди, когда им хорошо, хотят, чтобы им было еще лучше. Еще немного выпить, немного прогуляться. Не надо, чтобы было лучше, надо, чтобы было не хуже.

Дон Жан был историк, и у него были труды. А вот странно, что люди, которые делают историю, — это все случайные люди, они бы никогда не стали историками, хотя история так и идет к ним, но ведь и историки никогда не стали бы теми, кто делает историю. Это совсем разные люди. И у него был один труд о неполноценности вождя. Что все вожди, которые делают какие-нибудь революции, все они неполноценные люди, они или калеки, или педерасты, или импотенты, чаще всего они заикаются или картавят, чешутся, страдают недержанием мочи, у них может быть страсть к фекалиям или фимоз. И примитивность всякой революции состоит в ее изобретательности, а изобретательность в примитивности. И редкое сочетание примитивности и изобретательности приводит к тому, что революция удается. А если она слишком примитивна, то может не удалиться, и

если слишком изобретательна, тоже может не удался. А поскольку революция — всегда насилие, поскольку власть не дают, а берут, поскольку она делается во имя... от которых не остается даже имени, и поскольку ни в одной революции ничего хорошего нет, кроме плохого, и, оказывается, существуют еще такие животные, которые могут так укунить свою жертву, и даже не убить ее, а своим укуном просто заморозить, и она будет замороженная и слегка живая, и она будет живая, но слегка замороженная. И эти животные, когда захотят есть, съедят свою жертву, когда захотят, и им не надо будет рано вставать и на голодный желудок бежать и охотиться, они встанут, умоются и позавтракают, и когда эти животные — животные, они просто животные, а когда эти животные — люди, они просто скоты. А когда такие скоты стоят у власти, общество становится скотским. Потому что люди становятся укушенными, полуживыми, полумороженными и их в любую минуту можно съесть.

А еще он собрал "Записки замечательных людей". И существует, оказывается, такая рыбная ловля, когда целый кортеж машин едет на рыбалку, и в этом есть какая-то странность. Ведь правда, сначала рыбу ловят, а потом ее едят? Так делают рыбаки. А этот кортеж машин останавливается в далеком поселке в конце пути, прямо на берегу моря, и останавливается прямо у одноэтажной школы. И в школе этой почему-то нет детей и там пустые классы. Зато во весь длинный школьный коридор стоит такой длинный-длинный стол. И как только люди вышли из машин — а стол уже накрыт. И есть даже уха, настоящая, а для настоящей ухи надо убить настоящую индюшку. И на столе так всего много и все так красиво и вкусно приготовлено. И больше всего жареного, но есть и тушеное, есть даже вареное. И есть нарезанное и целенькое. И кто любит целенькое, ест целенькое, а кто любит нарезанное, ест нарезанное. И очень много сортов. И все едят и шутят, а после того, как съели и пошутили, пошли спать в классы. И пришли какие-то невидимые люди и все убрали со столов. И после того, как гости рыбу съели, они пошли ее ловить. Но вот, что странно. Даже после того, как они ее поймали, они ее опять почему-то не стали есть. Потому что и ловили они ее не для того, чтобы съесть, а чтобы... как же это сказать? Как бы это лучше сказать, как бы так сказать, чтобы было понятно, как бы так лучше выра-

зиться, даже нет такого подходящего слова... ведь понятно, что если бы кто-то из них был богат и владел землей, и к нему приехали гости, и он их угощал, это понятно. Но школа эта была ничья, и земля ничья, и все, что было на столах, тоже было ничье, и не было ни хозяина, ни гостей, и даже машины не были их собственными, и шофер тоже не был их собственным, поэтому даже не знаешь, как сказать, какая-то одна странность да и только, чтобы все это было ничье и чтобы все это было, чтобы были какие-то невидимые люди и были видимые, и невидимые — пришли, накрыли и ушли; а видимые — пришли, съели и тоже ушли. И никто ничего не видел, и никто ничего не знает. И еще есть такие муравьи, и среди этих муравьев есть рабочие муравьи, рабочие и колхозники, и у них даже есть армия, у муравьев. Похоже, они живут тоже как люди. Как это весело! Но, похоже, люди тоже живут как муравьи, как это грустно.

И пасмурно, и к тому же дон Жан был не ангел. И у него в жизни были симпатии и антипатии, а у ангелов, наверное, нет антипатий, хочется верить, что нет, хочется верить, что ангелы есть. Но ведь есть же что-то такое, что люди подразумевают под ангелами, что-то такое, что сделано не из человека, а из чего-то еще. Из чего? И на востоке люди очень много чего-то жуют и много молятся, но они молятся потому, что жуют, или жуют потому, что молятся?

— Но ты в чистую молитву веришь?

— Верю.

— А веришь, что они жуют?

— Может, и жуют.

И она подумала, что она его не любит. Что вот он лежит рядом с ней, а она его не любит. Что совсем не любит. Нисколько. Даже чуть-чуть не любит. И ей стало так жалко, что она его не любит, потому что это был готовый человек, которого можно любить. И никогда уже не полюбит. И с этим все ясно. И что она и не любила его никогда. И тут она ясно вспомнила, как иногда она его любила. И тут она вспомнила, что любила его, только когда его не было, а когда он был — никогда. Значит, она просто по нему скучала, когда его не было. А когда он был — она скучала с ним. Какая-то бессмысленность. И она подумала, что она его не любит, потому что ей все с ним ясно. Но ведь и с теми людьми все ясно, и с теми, и с теми, и со всеми, со всеми людьми, со всеми до одного, совер-

шенно абсолютно со всеми. Абсолютно совершенно все ясно. И ей показалось, что никогда абсолютно и совершенно никого она не сможет любить абсолютно и совершенно.

Ведь если кроме дона Жана у Веры был еще Н.-В., а у Н.-В. были еще Снандулия с Василькисой, а у Снандулии тоже мог быть кто-то еще (если это допустить), а у дона Жана тоже кто-то еще, а у той, которая была у дона Жана, еще кто-то, а у того кто-то еще, значит, все были друг с другом связаны, а раз все друг с другом связаны, значит, все отвечают за всех. И если среди женщин вообще есть проститутки и бляди, значит, все женщины вообще немножко проститутки и бляди, даже честные бабушки, мамы и невесты. И если среди людей вообще есть убийцы, значит, все люди вообще немножко убийцы. И если есть воры, то все вообще немножко воры. Какой же это ужас, что вообще так все и есть. И ведь как просто вообще поправить, стоит только не быть блядью, проституткой, убийцей и вором — и никто из людей вообще не будет ни блядью, ни вором. Но как это сделать? Как бляди отказаться быть блядью, а вору быть вором, если ей охота давать, а ему охота воровать. А может, и не охота? Ведь даже если по-блядски убить убийцу и обворовать проститутку, все так и останется. И все, как было, так и будет? И вдруг отключили свет. Прямо на глазах, как будто из света вышел воздух, как будто лампочка над кроватью одновременно с телевизором, как будто они сдулись, вот именно так свет отключился. И там было огромное стадо коров среди людей. И коровы жевали. Но это были не просто коровы, потому что они по-настоящему пережевывали настоящих людей. Они также беззлобно, как свою жвачку, жевали людей. Они их также отправляли в рот, как пучок травы, и, неторопливо двигаясь, они все-таки прихватывали какого-нибудь человека и отправляли его в рот. И все поле было в крови. Они даже не до конца съедали людей. Но за первыми коровами шли остальные коровы и медленно дожевывали то, что не съели первые. И люди были сытные, а коровы здоровые. И коровы мычали, а люди кричали. И в самих по себе коровах не было ничего от хищников. Глаза их были добрые и честные. Просто люди были их пищей, и поэтому они их пережевывали. И им надо было постоянно жевать людей, потому что это была их пища. У них была опять потребность их жевать. Это был даже не сон, это была пастораль.

Нелюбимый муж. Нелюбимая жена. Нелюбимый любимый. Любимая еда. Любимое занятие. Любимое время года.

— Иди сюда, — сказала Вера дону Жану.

— Тебе страшно?

И когда нет другого допинга, страх тоже допинг. Есть одинокие люди, есть семьи, бедные, богатые, талантливые, всякие люди, но вот вообще люди, зачем они? Получается, что жизнь — она просто для жизни, она сама для себя, и человек тут совершенно ни при чем, просто на него распространяется жизнь и все, жизнь его имеет, а не он имеет жизнь, потому что он умирает, а жизнь остается, это правда, и жизнь больше человека, и все вранье.

И тут дали свет, его просто так взяли и подали. Сначала они его отключили, а потом они его подали, что хотят, то и делают с человеком, хотят — воду отключат, хотят — свет, захотят — не будут топить, захотят — вообще могут голодом морить, могут убить, и никто ничего не знает, и никто — ничего. А кто знает, тот ничего не скажет. Ничего.

И вдруг ей захотелось, чтобы дон Жан исчез, чтобы он вдруг испарился; не так, чтобы он встал, оделся и уехал, а чтобы лежа он просто растворился, и тогда бы она сама встала, оделась и уехала. А он бы об этом ничего не знал и никогда бы не узнал и не догадался. Но он материально лежал и материально смотрел. И ей стало жалко его как материю, не как человека, а просто как тело, которое лежит. И тогда она своим телом прижалась к его телу, и, немного полежав, они заснули.

ЗАПИСКИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

Шекспир — Розанову

Ты говоришь опять мне об изгнании? К черту философию? ведь философия твоя Джульетты мне не создаст? и города она не передвинет с места? приговора не переменит? так зачем она? на что годна? не говори о ней мне.

Розанов — Шекспиру

После книгопечатания любовь стала невозможной.

Какая же любовь с книгой?

Суворов — Розанову

Терентий вместо дела упражняется только в поэзии. За что ж я 500 рублей в год плачу? Ни одного дела как надо не сделал.

Розанов — Екатерине

Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо и никакая мысль не прививается.

Суворов — Потемкину Г.А.

Святлейший князь

Милостивый Государь

С наступающим новым годом Вашу Светлость всенижайше поздравляю.

Служу я, Милостивый Государь! больше 40 лет и почти 60-ти летний, одно мое желание, чтоб кончить Высочайшую службу с оружием в руках. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей, был щастлив, потому что я повелевал щастьем.

10 декабря 1784 году с.Ундол

Розанов — Екатерине

Не выходите девушки замуж ни за писателей, ни за ученых.

И писательство, и ученость — эгоизм.

И вы не получите "друга", хотя бы он и звал себя другом. Выходите за обыкновенного человека, чиновника, конторщика, купца, лучше бы всего за ремесленника. Нет ничего святее ремесла. И такой будет вам другом.

Шекспир — Розанову

Плохой уж повар, который у себя пальцев не облизывает; не вкусно значит, готовит; я потому и не приведу таких, которые пальцев у себя не облизывают.

Розанов — Шекспиру

Я хочу, чтобы люди "все цветы нюхали", и больше, в сущности, ничего не хочу. Понюхал. Умер. И могила.

Шекспир — Суворову

Случается порой за миг до смерти, становится вдруг весел человек, что окружающие называют предсмертной молнией.

Суворов — Шекспиру

Месяц я ел очень мало, был на ногах. Видя огневицу, крепко наступившую, не ел почти ничего 6 дней, а наконец осилившую, — не ел вовсе 12 дней и в постели. Чувствую, что я ее чуть сам не осилил, но что проку....

Розанов — Екатерине

Все очерчено и окончено в человеке, кроме половых органов, которые кажутся около остального каким-то многоточием или неясностью.

Суворов — Екатерине

Всемилоостивейшая государыня!

Великие щедроты Вашего Императорского Величества

ко мне изъявляемые, коими и юный сын мой имел
частье быть удостоен, приемля с глубочайшим благо-
говением, осмеливаюсь принести Всеподданнейшую
благодарность. Повергая себя к освященнейшим стопам
Всемиловитейшая государыня!

Нашего императорского Величества
всеподданнейший

Граф Александр Суворов-Рымникский
сентября 28 дня 1795 года.

Розанов — Шекспиру

Одни молоды и им нужно веселье, другие стары и им
нужен покой, девушкам — замужество, замужним —
"вторая молодость"...

И все толкаются, и вечный шум.

Шекспир — Розанову

Я знал одну девушку, которая обвенчалась в самый
полдень, выйдя в огород за петрушкой для начинки
кролика.

Чехов — Ломоносову

Мой сосед рассказывал мне, что его дядя Фет-Шеншин,
известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в ка-
рете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет:
— тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз,
проезжая мимо университета, останавливался.

Суворов — Розанову

Русский бог велик... охают французы, усмеваются це-
сарцы... а здесь, хоть и победно, но тяжело... Наши лучше
нельзя; цесарцы долго ровняются; французы горячи, им
жарко: побили их много, сберечь трудно... И в Англии
мною довольны, и шифр мой на праздниках, и Семен
Романович меня хвалит... а у меня чулки спустились.

Чехов — Римскому-Корсакову

1-го июня были на Ваганьковском кладбище, и видел там
могилы погибших на Ходынке.

Суворов — Римскому-Корсакову.

Я обязан лишь порекомендовать Вам никакое препят-
ствие не считать слишком большим, никакое сопротив-
ление — слишком значительным; но ради достижения
неукоснительной цели счесть, что великое намерение,
ради которого мы соединились, должно быть достигнуто
и с самым великим самопожертвованием — ничто не
должно устрашать нас, и мы должны быть убеждены в
том, что только решительность и стремительный натиск
могут решить дело, — а то и другое сейчас тем более
необходимо, что малейшее промедление дает против-

нику средства оказать сопротивление, а нам создаст новые препятствия, которые будут ежечасно увеличиваться в связи с трудностями доставки провианта в этой стране без дорог.

Розанов — Римскому-Корсакову

Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?

Шекспир — Розанову

Как? вы дрожите? испугались вы?

Увы, я не виню вас: все вы люди,

А взгляд людской без силы перед бесом.

Розанов — Шекспиру

Что я все надавил на Добчинских. Разве они не рады бы были быть как Шекспир? Ведь я, собственно, на это сержусь, почему "не как Шекспир", — не на тему их, а на способ, фасон, стиль. Но где же набраться Шекспиров, и неужели от этого другим не жить?

Пушкин — Шекспиру

Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей — наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками — даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если бы они оставляли нам свои признания.

Лермонтов — Шекспиру

И скучно, и грустно, и некому руку подать.

Шекспир — Лермонтову

Признаться, я и сам не понимаю, чего я так печален. Грусть и вас томит, как вы сказали мне, но право, я все еще узнать стараюсь, как я эту грусть поймал, нашел яль встретил, и из чего она сотворена.

Ломоносов — Ивану Грозному

Страстию называется сильная чувственная охота или неохота, соединенная с необыкновенным движением крови и жизненных духов, при чем всегда бывает услаждение или скука.

Ломоносов — Петру

Радость есть душевное услаждение в рассуждении настоящего добра, подлинного или мнимого. Сия страсть имеет три степени. В самом начале производит немалое, однако свободное движение и играение в крови, скакание, плескание, смеяние. Но как несколько утихнет, тогда

переменяется в веселие, и последует некоторое распространение сердца, взор приятный и лицо веселое. Напоследи, как уже веселие успокоится, наступает удовольствие мыслей и перестают все чрезвычайные в теле перемены.

Ломоносов — Наполеону

Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение.

Ломоносов — Пушкину

Животных природа на два пола разделила — на мужеский и на женский. Оттуда и имена их во многих языках суть двух родов: господин, госпожа; муж, жена, орел, орлица. Пристойно кажется, чтобы бездушным вещам быть ни мужского, ни женского, но некоего третьего рода, каков есть у нас род средний: море, небо, сердце.

Пушкин — Вяземскому

Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная пизда — род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит.

Пушкин — Вяземскому

Когда-то свидимся! Заехал я в глушь Нижнюю, да и сам не знаю, как выбраться? Точно еловая шишка в жопе; вошла хорошо, а выйти так и шершаво.

Гоголь — Жуковскому

и полетел я в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. — Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...

Пушкин — Вяземскому

Грех гонителям моим! И я как Андре Шенье могу ударить себе в голову и сказать:

”Извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру. Мочи нет сердит: не выспался и не высрался”.

Пушкин — Вяземскому

Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и бордели, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство.

Пушкин — Вяземскому

Жуковский со смехом говорил, что говорят, будто ты пьяный был у девок, и утверждает, что наша поездка к бабочке-Филимонову, в неблагопристойную Коломну, подала повод к этому упреку.

Филимонов, конечно, пиздюк, а его бабочка, конечно, рублевая парнасская Варюшка, которую и жалко, и гадко что-нибудь нашего ебануть. Впрочем, если б ты вошел и в неметафорический пиздеж.

Пушкин — Вяземскому

Конечно, я бы не допустил к печати ничего слишком горького, слишком озлобленного. Но элегическую хуйню — жопе позволено сказать, когда невтерпеж приходится благородному человеку.

Пушкин — Вяземскому

Я начал также еть; на днях испразнился сказкою в тысяча стихов, другая в брюхе бурчит.

Пушкин — Дельвигу

Плетнев, наш мизантроп, пишет мне трогательное письмо; жалуется на меня, на тебя, на твой гран-пассианс и говорит:

”мне страшно думать: это люди!” Плетнев, душа моя! что тут страшного? люди — сиречь дрянь, хуйня. Плюнь на них, да и квит.

Пушкин — Дельвигу

Я совершенно разучился любезничать: мне также трудно проломать мадригал, как и целку.

Пушкин — Дельвигу

А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт — и таким образом прилепляюсь к добродетели и гнушаюсь сетей порока — скажи это нашим дамам; я приеду к ним еть полно.

А утром было утро. И дон Жан был мужем. И по отношению к мужу у Веры были обязанности: поговорить, накормить, проводить. И, немного поговорив, кое-чем покормив, она его проводила. И началось. То есть как только Вера услышала телефонный звонок, она подумала — началось. На самом деле началось. Это был Нижин-Вохов. Он быстро объяснил, что они должны быстро встретиться и быстро ехать к одному деловому человеку.

— Лучше от меня, — сказал Н.-В.

— Это почему это? — сказала Вера.

— Не спорь, так лучше, — сказал Н.-В., — не спорь.

И она больше не спорила. Она быстро собралась и быстро приехала. На самом деле.

И она увидела платье. Это было редкой красоты черное платье. Оно было абсолютно черное, но поскольку оно было сшито из бархата, кожи и шелка, то шелк был

прозрачно-черным, кожа матово-черной, а бархат совершенно-сумасшедше-черным. И оно было коротким, это платье.

— Надень его, — попросил Н.-В.

”Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она увидела ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней”.

— Ну, я готова, — сказала Вера, — поехали.

— Сейчас, — Н.-В. подошел к ней вплотную, — сейчас поедем.

И он нашел то, что искал, мгновенно. И это был ее рот. И там был язык. И он захватил его своим ртом мгновенно. Что он только с ним не делал. Наконец они потеряли точку опоры. Потому что Н.-В. опирался на Веру, а Вера опиралась на него. И какое-то время они балансировали, пока не упали куда-то туда, где что-то стояло, кажется кровать.

И там они совсем потеряли голову, то есть совсем ни о чем не думали. И платье, которое было на Вере, совсем уже не скрывало то, что было под платьем. Это платье нарочно открывало то, что было под ним. Это было такое сладкое мученье — мучить друг друга. И так мучительно хотелось мучить еще и еще. И Н.-В. был мучитель. И он ее мучил. Но Вера тоже была мучительница и тоже его мучила. И они мучились от невозможности прекратить это мучение, потому что его хотелось растянуть. И вот еще что: как будто они были малыши, они называли части тела и добавляли слово ”дай”. И вот еще что: все, что они давали друг другу, было сейчас общим, и все приличные части тела, и все неприличные были общими. И особенно те части, которые считаются приличными, так себя вели, даже хуже самых неприличных, например ладони. Совершенно неприлично. И когда Н.-В. вдруг замер, чтобы не в сию же секунду отмучиться, чтобы мучить себя и Веру еще и еще, и Вера тоже замерла под ним и они даже слышали, как они не дышат, они вдруг услышали, как кто-то открывает дверь. Н.-В. просто выпрыгнул из Веры и, перепрыгнув через комнату, успел закрыть дверь в комнату. Это был Свя. Он неожиданно вернулся домой, конечно не думая застать

Веру с Н.-В. дома. Н.-В. как сумасшедший оделся. А Вера и была одета. Оказалось, что они оба одеты. И все прилично.

Н.-В. вышел и поздоровался со Свя, а Вера оставалась все еще в комнате у Н.-В., она стояла у окна спиной к двери, и, когда она отвернулась от окна, она увидела в комнате Свя, который стоял и смотрел на нее, и вдруг она увидела под стариком в нем как бы подростка, т.е. как будто стариковское тело с самого начала было безжизненно, и под этим безжизненным телом просвечивал живой подросток, и получалось, что Свя был даже моложе Н.-В., который был просто натуральным, без старческого покрова и юной сердцевины, потому что то тело, которое проглядывало сейчас внутри Свя и которое Вера видела, было совершенно юным. На самом деле, внутри Свя стоял на ногах мальчик лет четырнадцати, и как раз этот мальчик и смотрел на Веру, а стариковский покров был как бы домиком для этого мальчика. Вот именно это Вера и увидела, повернувшись от окна к Свя. И тут в комнату вошел Н.-В. и совершенно по-деловому сказал, обращаясь к Свя:

— Я тебе не говорил, Вера — художница, я ей помогаю устроить выставку.

— Ты мне не говорил, — сказал Свя.

— Не успел, — сказал Н.-В., — просто не успел сказать. И Свя с Н.-В. стали говорить о машине. И Свя сказал:

— Она мне не нужна, только один пакет, я съезжу, и ты можешь ее взять.

— Ладно, ты устал, — сказал Н.-В., — скажи, куда съездить, и я отвезу.

— Тут недалеко, — и Свя сказал адрес. И Н.-В. уехал. И Вера со Свя осталась вдвоем.

И как будто Вера вынула этого подростка из Свя, и этот подросток был очень сильный и страстный, и он мало что умел, он только умел "раз-два", но это "раз-два" было очень мужественно, и он пользовался "раз-два" всю, и хотя этот подросток прижимался к Вере через старенький покров Свя, это было неважно, ведь люди обнимаются и в одежде, и на этого мальчика как раз был натянут состарившийся покров Свя в брюках и пиджаке. И как будто он сказал: "Иди сюда", и как будто она подошла, и он сказал: "Ну, руку дай". И она дала, и вдруг он сам куда-то делся, а вместо него остались брюки и пиджак, и вдруг она куда-то втянулась под пиджак к нему, и прошло какое-то время, и буквально она вы-

нырнула на Земле такой же, как Земля, но только маленькой и круглой, и она закруглялась уже через несколько шагов от них, и он уже стоял там, а она вынырнула через горло пиджака, и они там осуществились. И вот что еще было удивительно: если бы и они сами уменьшились во столько же раз, во сколько уменьшилась земля, то ведь они бы и не заметили, что земля такая маленькая, а поскольку они замечательно сохранили свой рост, то сразу увидели, какая маленькая Земля, на которой они вдруг оказались, вот что.

А вот правда так бывает, что вот, например, услышишь какой-нибудь звук или шум, и вдруг ясно вспомнишь, что уже такое было, вот именно этот звук (шум) уже был, но когда-то раньше. Или вот еще что, кто-то что-то скажет, и даже неважно что, а точно вспомнишь, что уже это было. Или вот приедешь в какое-нибудь незнакомое место, в котором точно никогда не был, а тебе вдруг в этом месте знакома какая-то деталь, и так знакома, что точно знаешь, что когда-то ты ее здесь уже видел, но когда?

И Свя вдруг сильно обнял Веру и сказал:

— Ты девушка дорогая, знаешь что, быстренько давай-ка иди домой.

И после этого он поцеловал Веру прямо в губы и сказал:

— Давай-ка, давай, милая девушка, — и он оттолкнул ее от себя, и так сильно, что она пролетела даже несколько шагов назад.

— А что будет? — сказала Вера.

— Вот то и будет... это твое? — и Свя сунул Вере в руки ее брюки и свитер, — беги скорей.

И сама не зная почему, Вера выбежала из квартиры, и, мало того, она бежала оглядываясь, чтобы по дороге вдруг не встретить Н.-В. И она даже пряталась, когда бежала.

И, даже прибежав домой, Вера все еще продолжала бежать. И, не обнаружив дна Жана дома, "слава богу", она на всякий случай выключила телефон, чтобы не позвонил Н.-В. И даже когда она снимала платье, она бежала; и бежала даже тогда, когда прятала это платье, "куда бы его деть". И, только переодевшись, выпив чаю, она, кажется, прибежала. И, прибежав, она опять стала вспоминать, как она убегала. И она тут же вспомнила одну картинку. Эту картинку она увидела из окна машины. Она перед этим долго уговаривала частного, чтобы он ее отвез, он не соглашался, а она уговаривала. Наконец он зло согласился. Они ехали по городу, он зло вел ма-

шину, а она смотрела в окно. И они выехали на площадь. И на этой площади ее впервые поразило то, что КГБ стоит напротив "Детского мира", и что "Детский мир" и КГБ абсолютно одинаковой величины, и в "Детском мире" пять этажей, и в КГБ пять этажей, и там коридоры, и там — коридоры. И как будто окна КГБ прямо в упор смотрят в окна "Детского мира", и на одно окошко "Детского мира" приходится по одному окну КГБ. И все это нарочно так построено, чтобы "Детский мир" был нарочно на глазах у КГБ. И победит что-то одно, т.е. пересидит или "Детский мир", или КГБ. Какой примитивный смысл. И какой наглядный. Простота.

И когда Н.-В. вернулся домой, он увидел на кухонном столе и танк, и кухонный ножик. И этим танком Свя ездил по мясу, и получалась каша, и у него были руки в крови, а глазки его запотели от лука и налились кровью, и кухонным ножиком он вырезал сердечки из овощей, и по ним тоже гонят на танке. И он сидел весь в этой каше. И каша его засасывала, "папочка, ты куда мою девочку дел?" — "А я ее съел, мой маленький", — "Зачем же ты ее съел, мою маленькую девочку?" — "А чтобы она тебе не досталась, ты себе найдешь другую девочку, а эта девочка — моя, я ее буду лизать и облизывать, сосать и обсасывать", — "Ты вышел из ума, папочка, раз ты кушаешь маленьких девочек", — "Нет, я остальных девочек не кушаю, я только одну девочку скушал, а ты сам еще глупенький и не видишь, что твоя девочка сама меня скушала и ушла домой, а если она еще придет, то пусть опять меня кушает, пусть она меня до конца скушает".

И Свя обтер руки и ножик о тряпку. И Н.-В. ему ничего не сказал.

"И что она понимает в картинах, твоя Вера, пройдишь-ка по улице, что там продают — одна хурма, "от хурмы слышу", да вы все девочки, и ты, мой маленький мальчик, ты тоже — девочка, и тебя надо съесть. Гусь, который выйдет из меня после того, как я съем тебя, — это будет совсем не тот гусь, какой выходит из меня, когда я смотрю в окно и кушаю продукты, это будет очеловеченный гусь и одухотворенный, и человек переварит человека, и твоя Вера такая же дурочка, как и все вы, деточки, и вас все папочки, и большие дяди, и дядьки, и чужие дяди — они вас съедят, один я вас не съем, я последний из отцов не скушаю вас, я лучше вам дам себя

скушать, чтобы вы попробовали — какие мы вкусные, дяди. Жрите меня, дети мои. Дрите-меня-и-брите мной, да возродится из гуся Родина.

4

Утренним утром по-утреннему с утра на следующее утро с утречка. Любое утро противно как понятие,
как тема
как мероприятие.

Но утро как подвиг! Да оно и есть подвиг — утро. Тарханы — это Михайловское Михаила Юрьевича Лермонтова,
а Ясная Поляна — это Михайловское Льва Николаевича Толстого,
а Рим — это Михайловское Николая Васильевича Гоголя,
а Америка — это Михайловское Владимира Владимировича Набокова,
а Михайловское — это Михайловское Александра Сергеевича Пушкина.

Вера обожала свою дочку. Свою маленькую девочку. И дочка была почти куколка. Почти кисонька. И дочка была Вере мамой и папой. И дочка тоже ее любила. И в дочке было все самое хорошее, что вообще есть на земле, хотя почти ничего хорошего вообще на земле нет. И Вера любила дочку как, конечно же, не просто как человека. И она боялась за свою маленькую девочку. И это был страх даже пострашнее, чем просто ужас какого-нибудь несчастья. И даже когда ее дочке ничего не грозило, она все равно боялась, как бы с ней чего-нибудь все равно не случилось. Как будто она могла вдруг куда-нибудь деться, ее маленькая девочка. И вот если бы какой-нибудь злой карлик или просто злющий, ну, например, злодей пригрозил ей, что отнимет у нее дочку, то она бы отдала ему всех людей, не задумываясь, всех до одного, но только чтобы он оставил ей ее маленькую девочку. И этому злющему, если такой имеется, козлу, она отдала бы ему не только любимого мужчину, но даже и папу, и даже свою маму тоже, но она бы выпросила у него оставить ее маленькую дочку.

А дон Жан ничего не понимал в этой любви — в любви Веры к дочке. Он называл это "женскими штучками", он даже сказал, что в этой любви нет ничего

оригинального, что в этой любви даже нет и самой любви. И когда Вера сказала дону Жану: "Ты просто не любишь мою дочку, хотя она и твоя дочка", — он ей сказал: "Да, я люблю тебя, а ее — нет, потому что детей глупо любить. Их вообще нет в природе", и Вера сказала: "Ты злой, потому что ты не целуешь мою девочку", а он сказал: "Ее будет целовать ее жених".

И еще Вера любила свою дочку за то, что вот, например, она сейчас маленькая девочка, и она маленькая только сейчас, а потом уже никогда, она никогда не будет маленькой. И этот миг Вера особенно чувствовала как миг сам по себе. А дон Жан в этом миге тоже ничего не понимал. Он сказал Вере: "Да ты сама маленькая девочка". И когда он так сказал, Вера не поняла, что он этим хотел сказать. А может, он просто так это сказал, может, он и сам не понимал. И однажды произошел такой случай. Однажды Вера вернулась домой, а дома никого нет: ни дочки, ни донна Жана, а время было позднее — семь часов вечера. И сначала она подумала, что они пошли погулять. И она стала их ждать. И когда прошел час и они не вернулись, она забеспокоилась. А потом наступило девять и даже десять часов вечера, а их все не было. И на улице было темно. И Вера заплакала. Она плакала, потому что не знала, где ее дочка. И ей даже показалось, что ее уже нет в живых, ее маленькой дочки. Что дон Жан увел ее куда-нибудь в лес и там бросил. Или куда-нибудь пошел с ней в лес и там потерял. Или она поскользнулась и упала в речку и утонула. А потом ей показалось, что дон Жан ее нарочно убил, потому что он не любит ее маленькую девочку, и что он ее убил, чтобы отомстить Вере за то, что Вера дочку любит больше, чем его. И Вера еще больше заплакала. И она еще больше говорила и говорила: "Что же это", и она шла в другую комнату и говорила: "Что же это такое". Но, слава Богу, время шло. И сколько бы она ни говорила, что бы она ни говорила — время-то шло. И время это дошло до того, что было уже двенадцать часов ночи. И Вера даже перестала плакать, когда увидела, что уже столько времени. Это был настоящий конец. И она заговорила со своей дочкой, как будто бы та могла ее слышать. И Вера спрашивала: "Где же ты?", и как будто бы дочка отвечала: "Да вот тут я". И Вера смотрела по сторонам и говорила: "Где же?" А дочка как будто бы пряталась и говорила: "Я вот тут". И Вера бегала из одной комнаты в другую и говорила без конца: "Где же ты есть?" И так

прошел еще час. И когда был уже час ночи, она услышала, как дверь открывается. И она увидела свою дочку с совершенно черным личиком и черными ручками. И когда дон Жан сказал: "Мы жгли костер в парке", Вера даже не посмотрела на него, потому что, кроме своей дочки, она ничего не видела. И она понесла ее в ванную и там стала ее мыть. И она ее мыла и мыла. И когда уже дочка была чистая и теплая, она стала спрашивать Веру: "Ты почему, мамочка, плачешь?" — и Вера сказала: "Я не плачу". И она унесла свою дочку в постель и легла с ней вместе, и дочка сразу заснула, вот бегают дворовый мальчик в салазки Жучку посадив, себя в коня преобразив, малыш уж отморозил пальчик, ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно — в этом стишке не один пальчик, а два пальчика: один пальчик, который отморозил мальчик, а второй пальчик — мамы, которая грозит из окна, и хотя про мамин пальчик прямо не сказано — пальчик, но ведь она грозит своему мальчику, конечно же, пальчиком, хотя грозить можно не только пальчиком, можно грозить кулаком, топором, гранатой, атомной бомбой, но мама грозит ему, конечно же, пальчиком, потому что этот пальчик, который отморозил мальчик, так болит у мамы, как будто она его сама отморозила. Нежное слово "пальчик". Есть сами по себе нежные слова — хотя бы "снежинка", мужики не употребляют такое нежное слово, они говорят: "Е... снег" — или даже они говорят: "Е... в рот снег", чистый абсурд, как будто у снега есть рот и какой-нибудь извращенец совершает оральное действие с этим снегом. Хотя все проще — мужик выругался и ушел. Мужик ушел, а ругательство осталось.

Надо сказать (а может, об этом и не надо говорить, нет, все-таки если этот оборот "надо сказать" так распространен в повествованиях, то об этом сказать надо), что пока не появился Нижин-Вохов, у Веры действительно, кроме дон Жана, никого не было, то есть не было такого мужчины, про которого она могла бы себе сказать, что она его любит; более того, даже не было такого мужчины, которому она могла бы сказать, что она его любит (а ведь в двух этих признаниях — в признании себе и признании ему — есть некоторое отличие). Ведь иногда легко можно объяснить мужчине в любви, но так и не признаться себе самой, что он действительно любим тобой; и в то же время можно бесконечно признаваться себе самой, что он любим тобой, но так ему об этом и не сказать.

Ну что за жизнь! Жизнь ради искусства. А искусство? А искусство ради искусства.

— Ты будешь вкрутую или всмятку?

И за завтраком дон Жан стал рассказывать Вере одну историю. Историю про одну книжку. И Вера ничего не отвечала, и дон Жан думал, что она его внимательно слушает. Но она думала обо всем сразу и поэтому молчала. Автор книжки — гомосексуалист. И Вера, не дослушав историю, спросила: "Если бы тебе пришлось выбирать, ты бы каким был — пассивным или активным?"

— При чем тут я?

— Нет, важно.

— Ну активным.

— А Петр Ильич каким был? А Михаил Алексеевич?

И Вера сказала, что из всех гомосексуалистов она любит только Михаила Алексеевича, а дон Жан сказал, что из всех евреев он любит только Отто Вейнингера. Как раз про него он и рассказывал историю: что как будто он ненавидел женщин, потому что был гомосексуалистом. А Вера сказала, что нет, что, поскольку он был евреем, он любил женщин, что женщины так же затраханы, как и евреи, и он сказал, сказала Вера, что есть два пола — "мужской и еврейский", — "Он этого не говорил", — "Он сказал, что женщины — это не пол, а нация", — "Он этого не говорил", — "Он сказал, что это мужчины борются за то, чтобы женщины перестали быть нацией и стали полом", — "Он этого не говорил".

Вот так и поговорили.

Вера выехала из дома и, позвонив Н.-В., узнала, что его нет дома. "Но он скоро будет, — сказал Свя. — Заезжайте". И Вера заехала. Там сидел Свя и Тютюня. Этот Тютюня и был как раз соперником Веры. Н.-В. сразу сказал Вере, что по его плану она будет выставаться с одним художником, который при этом немного слабее ее, но при этом намного известней. И Вера по отношению к Тютюне должна была вести себя соответственно, и Н.-В. по отношению к нему соответственно, а по отношению к Вере — соответственно. План Н.-В. был прост до гениальности. Он выставит художника очень известного и даже в некотором роде способного, то есть такого, который уже внушен публике, потому что у Н.-В. была очень простая теория, что картину написать, конечно, сложно, но, может быть, не менее сложно в н у ш и т ь эту картину публике. И это особое искусство. А написать

картину — уж это особое искусство. И вот этого Анатолия, а ласково Тютюню, публика за что-то очень любила. И на фоне известного, но малоталантливого Тютюни, талантливая, но совсем неизвестная Вера должна была выиграть выставку. Впрочем, на этой предстоящей выставке Вера с Тютюней должны были и немного поделиться: Тютюня должен был поделиться с ней своей известностью, а она с ним своим талантом. Но Н.-В., решив, что таланта у нее не убудет, решил на эту выставку. Но больше всего он опасался за Веру, что она начнет ругать Тютюню как художника и все этим испортит. Но неожиданно для него Вера повела себя совершенно по-другому. Как о художнике она не сказала о Тютюне ни одного плохого слова, зато разным людям стала говорить — какой Тютюня "милый человек". То она говорила, что он "чудесный" человек, то такой "простой", то она говорила, что в нем есть что-то симпатичное, а то она говорила просто "очень симпатичный". А когда речь заходила о его картинах, то она просто смотрела и как-то неопределенно кивала.

И, увидев Свя с Тютюней вместе, Вера очень удивилась. И когда Вера пришла, Тютюня не собирался уходить. И вместе с Верой пришел еще аГусев — сосед по дому. аГусев был непонятный человек, с виду русский, а фамилию имел какую-то абхазскую. Сначала он был врачом, потом работал в морге, последнее время работал в одном кооперативе, а в последнее — вообще не работал. Почему-то его любили женщины, этого аГусева. аГусев зашел к Свя прямо из аларька. И аГусев принес с собой одну гадость, даже две, потому что одна у него была в руках, а другая припрятана. Ту, что в руках, он сразу поставил на стол, а ту, что припрятана, поглубже припрятал.

Комната Свя и так была небольшая, а когда все сели у столика, оказалось, что она просто маловата для хозяина и гостей, и даже казалось, что в комнате не четыре человека, а больше. И получилось так, что Свя оказался рядом с Верой, а напротив оказались аГусев и Тютюня. Вера про себя сразу решила, что такую гадость она пить не будет, а аГусев сказал, что это не гадость, а коньячная настойка.

- Ну это как что, например? — спросила Вера.
- Ну для меня, например, как сок, — сказал аГусев.
- А просто соку нет? — спросила Вера у Свя.

— А если вот такой сок, — сказал Свя и достал бутылку вина.

— Я красное не люблю, — сказал аГусев.

— Почему красное, — сказала Вера, — это же белое вино.

— Все равно, — сказал аГусев, — у мужиков любое вино — красное, а белое — водка.

”А вот еще у меня такой случай был, — сказал аГусев, — я тогда в морге работал. Да. А после этого приходит к нам его жена. Бывают же такие вещи”.

”А еще был такой случай с Гагариным. Я тогда в больнице работал. Да. Оказалось, изнасиловали ее детской ракеткой с Гагариным. Их всех посадили, а девушка умерла”.

”А недавно приходит тут ко мне один. Звонок в дверь. Стоит парень. Да. Оказывается, он тогда не утонул”.

”У одних моих знакомых собака была. Да. Жалко, конечно, хозяйку, но она ведь не знала”.

”А прошлой весной мальчишку нашли. Да. Ведь родная бабка, а какая сволочь оказалась”.

И вдруг аГусев ни с того ни с сего как скажет:

— Любишь его? — он показал Вере на Свя. — Смотри люби его, смотри, как он тебя любит, святой человек.

И Свя на это ничего не сказал аГусеву, а Вера даже и не знала, что сказать.

— Я тебя на сколько лет младше? — сказал аГусев Свя и сам же ответил: ”Лет на десять. Мы с тобой сколько лет знакомы? Лет восемь”.

”У меня тогда как раз такой случай был. Одна моя подруга собралась замуж выходить. Я ей помогал вещи перевозить, ее жених был на пять лет ее моложе. Да. Откуда же она тогда могла знать. А год назад все-таки вышла за другого замуж. И ребенка родила?

Тютюня совсем разложился — он меньше всех говорил и больше всех подливал себе. И он даже не весь сразу ушел, а уходил как-то по частям. И несмотря на то, что основная его часть уже ушла, кое-какая его часть все еще присутствовала. Шея его стала длинной, и на этой шее у пояса висела дохленькая головка. Даже казалось, что он сидит совсем без головы. А Свя, наоборот, сидел очень прямо, он как бы одеревенел и был бледный. И уже с утра время клонилось к вечеру.

”А вот еще у меня такой случай был, мне тогда двадцать лет было. Да. Я потом на этой женщине и женился”.

”А Гагарин, говорят, не летал, а Гитлер не сгорел, а

Есенина два раза повесили". — "Глупости говорят, и Гагарин летал, и Гитлер сторел, а Есенина два раза повесили".

И, сложив по частям Тютюню, аГусев стал прощаться. Тютюня все распадался на части, и удержать его было нелегко, в нем было столько веса, что, если бы его взвесить, он явно бы себя перевесил. Вера такое зрелище видела впервые и поэтому отнеслась к этому как к зрелищу. Но тут и аГусев возмутился такому ее взгляду со стороны как бы со стороны.

"У меня как раз такой случай был. Я тогда как раз не работал. И у меня как раз дочка родилась. Да. Оказалось, дочке уже шесть лет". Они ушли и больше никогда не придут. И, начиная с этого мига, никогда больше ничего не изменится. Все так и застрянет. И когда последние части Тютюни были вынесены аГусевым и дверь хлопнулась, Свя посмотрел мимо Веры, но даже там, в этом "мимо", Вера была. И они сели. Но сидеть было страшно и надо было встать и уйти, надо было просто сбежать, скатиться с лестницы, провалиться в шахту лифта, но нельзя было сидеть. Романтическое начало. Сентиментальный человек. Свя ни слова не понимал из того, что Вера говорила. Свя сказал: "Расскажи о себе". И Вера сказала: "Могу в стихах". "Родители у тебя есть?" — "А как же". Старших надо уважать. А младших любить. А ведь так и было. Он ее любил, а она его уважала. Бред. Все бред и кошмар. И в этом кошмаре надо все довести до бреда. Ничего особенного. И ничего неприятного. И ничего страшного. И хорошо, что темно. И хорошо, что он Гёте. А Н.-В. — сын Гёте. Страшно. Потому что э т о страшно делать даже с Гёте. И никакого чувства, кроме чувства неловкости. И точно известно, что это нельзя. Это нельзя просто потому, что нельзя, и все.

"Или мы должны быть папуасами". — "Можно и папуасами". — "Они не спрашивают". — "И ты не спрашивай". — "Я уже спросила". — "Ничего страшного". — "Ты отвечаешь?" — "Я за это отвечаю", — "А ты сможешь?" — "Что? Лучше вот так". — "Ответить за это?" — "Как?" — "Сейчас сломаешь". — "Нет, правда?" — "Говорю, сломаешь". — "Нет, ответить?" — "Все".

И такая нищета в воздухе.

И просто невозможно дышать этим нищенским воздухом.

И за далеким горизонтом, далеко-далеко за небом, где

нет ничего, что хотя бы что-то напоминает, ну ничего из того, про что можно было бы сказать: "штаны", "е...ля", "сосиска", даже хоть что-нибудь похожего на чего-нибудь, где нет сравнения ни с чем, а значит, и ничего нет, потому что то, что ни с чем нельзя сравнить, этого и нет. Это правда.

А вот правда бывает, что человек кого-нибудь убьет в состоянии аффекта, а государственная машина его наказывает, трезвая и холодная. Он убил горячий, а машина холодная. Пусть она наказывает его, эта машина, тоже в состоянии аффекта, а не взвешивает все "за" и "против". Она тоже должна стать сумасшедшей, эта гос. машина, она не должна ходить, как Раскольников, с топором, она должна наброситься на преступника, как Отелло, и задушить его. Вот тогда будет честно. И надо эту государственную машину все время держать в состоянии аффекта. Не давать ей есть, бить ее, надо ей плевать в глаза, изменять ей, унижать и заставлять раздеваться и ходить без трусов, и надо у нее отнять возлюбленного, а ее детей не кормить. А так она, эта машина, сытая и здоровая, а человек голодный и больной. И доверчивый, как Отелло, а машина рассудительная, как Раскольников, и они друг друга не понимают.

"Смеется она, что ли, надо мной", — Свя так подумал, потому что Вера засмеялась. Э т о дело может быть каким угодно, но только не смешным — даже ужасным, но только не смешным, потому что если это смешно, то это конец, нет, вот если, например, сначала смешно, а потом не смешно, то это не конец, а вот если и в начале смешно, и в середине, и в конце, то это конец.

Птички летают, вороны-ласточки-воробьи-журавли-страусы не летают и поют, синички-соловьи, вороны не поют, "О чем ты думаешь?" — "О птичках", И строят гнезда ласточки-грачи-собаки-медведи гнездо-нора-дом-берлога-место жительства, "Хочешь еще вина?" — "Нет, А завтра будет другой день", "Пошли в кино", — "Куда-куда?" — "В цирк", в зоопарк — на каток — в бассейн — на край света, что будет в конце концов? Конец, а если бы мы жили на необитаемом острове, мы бы сами были необитаемы, в нас бы не было ни одной обитаемой мысли, кроме необитаемой, ну было и было, все равно теперь уже нельзя так, как будто бы не было, раз уже было, а может, один раз не считается, а сколько раз считается, сколько раз надо для того, чтобы счита-

лось, — для сюжета, хотя бы еще раз, если еще раз, то это уже сюжет, а если больше не будет ни разу, то это просто случайность, а если три раза, то это уже роман, а если сто раз — страсть, а если тыща раз, то это уже быт, "хочешь воды?" — "Чего-чего?" — "Просто воды". — "Хочу воздуха и огня", — "Как ты сказала?" — "Хочу земли", — "Это я, наверное, хочу земли".

— Вы самые нечеловеческие люди, — сказал Свя.

— От скольких?

— От двадцати пяти до тридцати пяти.

— Да, мы оживоченные и оперначенные.

Чтобы быть человеком, надо прежде всего быть, и для этого много надо — ожить, быть ожившей спермой и покрыть землю, но стоит солнцу чуть больше заблестеть, и все человечество высохнет, такое милое бедное человечество высохнет, как лужица, и не спасут ни мамы, ни герои. А у одной мамыши-героини, у которой было восемь детей, она сделала такое, и эту мамашу-героиню приговорили к смертной казни, а она сама хотела, чтобы ее посадили на десять лет, а потом выпустили, нет, она даже хотела, чтобы ее посадили на десять лет, но чтобы она просидела три года, а потом ее выпустили, она, эта мамаша, со своей дочкой убила одну маму с ее маленьким ребеночком, и этой маме было всего девятнадцать лет, а ее ребеночку несколько месяцев, а мамаше-героине было уже много лет, больше чем сорок, а ее дочке, тоже убийце, было, как и той маме, тоже девятнадцать, и они убили эту маму с ребеночком так, как будто ни одна из них не убивала, как будто убила не она, потому что мамаша только кляп в рот засунула и больше ничего не делала, а дочь только простыню накинула, и все, а мамаша только петлю на шею накинула, и все, а дочь только эту петлю затянула, и больше ничего, а мамаша только убитую в огород вытащила, и все, а дочь только дров принесла, а мамаша только спичку кинула, и ребеночка они также убили, только и всего, и больше ничего, и их за это расстреляли, за это, и мамаша и дочка были крещенные и верили в бога, они были православные, они были не просто ожившей спермой, они были религиозной ожившей спермой, даже набожной.

И когда Вера уходила от Свя, она уходила, чтобы быстрее уйти. Событие в жизни. А вот и событие. Потом она ехала домой, чтобы быстрее приехать, и она пришла домой, чтобы быстрее прийти. И потом позвонил Нинжин-Вохов, который, оказывается, звонил ей с утра. И

он сказал, что ему надо ей что-то сказать. И когда он приехал, он сказал, что с Василькисой происходит нечто необъяснимое.

У Василькисы рассасывается плод, уже этот плод определили как "мальчика", и тут он раз — и рассосался до какого-то недельного зародыша. Но в этом рассасывании и вновь созревании была своя система. Этот плод все чувствовал, сидя внутри: и когда у Василькисы с Н.-В. все было хорошо — и ему было хорошо, и он преспокойно развивался, но, как только Н.-В. ссорился с Василькисой, этот плод сворачивал свое развитие и совершенно рассасывался. И так уже в третий раз — пока хорошо, то хорошо, а чуть что не так — и опять его нет, и это длится уже почти два года, так он может на свет появиться пятилетним и сразу пойти в школу. А если все зародыши так будут делать, все эти "мальчики" и "девочки" тоже не захотят появляться на свет, потому что корыстные мамы и папы и вообще дяди и ждут мальчиков и девочек для своих корыстных целей. Чтобы мучить их на этом свете. А "мальчики" и "девочки" уже приспособились, они раз — и их нет, им и так хорошо. И вот этот зародыш у Василькисы и был как раз такой первой ласточкой. Как они, эти сперматозоиды, ведут себя в момент акта? Ну как?

Наверное, самый сильный, умный и красивый расталкивает и оплодотворяет клетку. Да, если бы! Как раз все не так, как раз все эти самые сильные, умные и красивые гибнут на поле боя, они сражаются между собой, не жалея себя, как рыцари, бандиты, гусары, интеллектуалы, и когда все поле боя в крови, когда море трупов, выходит какой-то один и женится на этой клеточке.

И именно этот сперматозоид может быть даже индифферентным, рефлекторным, он может быть прагматиком, догматиком, пацифистом, мазохистом, моралистом, экзистенциалистом, альтруистом, но только не первым солдатом.

То, что Н.-В. сказал о Василькисе, было, конечно, необъяснимо, но необъяснимо просто как первый такой случай. Потому что такого еще не случалось. Но как раз в этом случае не было случайности. Такое могло случиться не только с Василькисой, а еще с кем-нибудь, да со всеми могло такое случиться. Потому что человек внутри уже созрел для того, чтобы самому решать — появиться ему на свет или рассосаться, быть или не быть. Все-таки человек мало живет, чтобы что-нибудь до

конца понять. Потому что только-только начнешь что-то понимать и тут как раз умрешь. И опять не поймешь. Нет, в начале жизни все яснее, а потом — все туманней. Фокус в том, что как будто меняется фокус, как будто в этом механизме что-то съезжает куда-то и все ясное становится смазанным. Под новый год дочка как-то спросила: "Как называется такой один праздник, которых два?" Рождество. Католическое и православное. Потому что мы христиане. Верим в Христа. "А сам-то он каким был?" — "Кто". — "Ну Христос?" Это дочка спросила в четыре года, каким был Христос, католическим или православным. Это сложный богословский вопрос. На эту тему написаны целые поезда томов. Не знаю.

Н.-В. приехал к Вере, и ему хотелось все сначала. Он был сыт, но ему хотелось, чтобы она его покормила. Чтобы одетого одела и раздетого раздела, чтобы чистого вымыла и бритого побрила. Как же все странно, что ни одному человеку даже нельзя посвятить свою собственную жизнь. Свою единственную и бесценную. Дорогую. Самую неповторимую. Потому что даже у самого маленького человека есть своя самая дорогая и неповторимая. Бесценная. И ему ее хватает, и никому не нужен такой дорогой подарок, как чужая жизнь. Хватает своей. Мама подарила жизнь. Сделала самый дорогой подарок. Спасибо. Тебе подарили жизнь, и ты живи. Плачь и радуйся — живи. Ешь и ходи в магазин — живи. Люби и давай себя любить — живи. Вот. Вот и все. Все правильно.

Что-то не видно счастливых людей. Куда-то они все спрятались. Куда? Может, там, где они спрятались, — там и счастье? Может быть. Зато несчастные все на виду. Вон тот, и та, и те — все. И все они вместе. И все несчастливы своим собственным несчастьем. А те счастливые скрываются в своем счастье. Они его прячут от несчастных, они его берегут, они на него не дают наступить. У Н.-В. были оторваны две пуговицы на рубашке. И на груди был засос. Неприятно смотреть на засос. Завтра он будет синяком. Нехорошее пятнышко. В этом пятнышке — избыток любви.

Хотя речь все время шла о каком-то Олеге, и от него опускались тени. Этот Олег был живой, и он хотел есть. Он ходил есть. И у него были причины. И были еще вещи и предметы. И у них были отличия — у предметов от вещей. И Олегу можно было позвонить. И он бы обрадовался. И когда о нем шла речь, он всегда был на месте:

и даже если у него не было адреса, то у него был телефон, но даже если не было телефона, то всегда кто-нибудь находился, кто-нибудь, кто мог показать место, где сидит Олег. И он иногда был женат. И у него была дочь. Один ребенок. Мальчик. Его тоже звали Олег. И этот Олег размножился.

И еще было странно то, что вот если убийство происходит в красивом месте, и убивают красивым ножом или дают выпить красивого яду из красивого стаканчика, и говорят красивые слова, то это эстетическое убийство совсем не вызывает жалости.

Даже жалче человека, убитого в подъезде. Отвратительно. Но жалко его на грязной лестнице, когда он падает в замызганном пальтишке и у него слюни текут. И он противен и жалок, когда он что-то бубнит предсмертно-некрасивое и подыхает на заплыванной площадке. И он не Клеопатра.

Но даже если и это не странно, то вот что странно: что верующие мужчины, которые ушли из мирской жизни — совсем ушли, — расцветают, а женщины, если они тоже насовсем ушли, дурнеют (отцветают?), становятся какими-то серенькими мышками, серенькими и дохленькими, а у мужчин кожа становится розовой и гладкой, а глаза голубыми, и чистыми, и холеными, а у женщин кожа чернеет. И мужчины их больше не хотят. Но ведь и Христос их не хочет. Он их не берет и себя им не дает. И между Христом и женщинами существует половая связь, и надо удовлетворять ее во имя его. И все завядшие женщины завяли во имя Христа, и все расцветшие мужчины расцвели во имя его. Славься.

Ведь между любовью и занятием любовью — пропасть, ведь бывает, что любишь и не занимаешься любовью, и бывает, что не любишь и занимаешься любовью. Но бывает же, бывает одновременно: что одновременно и любишь, и занимаешься любовью, и тогда оказываешься прямо в этой пропасти — между — потому что в этот момент не понятно, где кончается любовь и начинается занятие, где кончается занятие и начинается любовь. Невероятная вещь. Нижин-Вохов стал так говорить о своей любви, как будто все уже было решено, например, он сказал: "Это моя любовь, а ты должна мне только покориться. Ты должна быть покорной и давать мне себя любить", — "А мне что делать?" — спросила Вера. "Можешь даже меня не любить, как хочешь, но только давай

мне себя любить". Эта его любовь была очень страшной, этой любви даже не нужна была взаимность.

— Оставь мужа, — сказал Н.-В., — он тебя не любит.

— Кто? — поинтересовалась Вера.

— Муж.

Какой же он смелый человек в своей любви. Он все знает. Он такой знаток сердца, что сердце начинает болеть от его знаний.

— И ты его не любишь, — сказал Н.-В.

— Кого?

— Мужа.

Н.-В. рассуждал. И свое рассуждение он закончил так: "Ты любишь только меня". Это уже было утверждение. Он еще порассуждал. Ему хотелось, чтобы он был вообще, но чтобы это был именно он. Чтобы он был для Веры сразу все, но чтобы эти все сразу были только он. Она не очень понимала. И еще он сказал: "Я хочу о тебе все знать, слышишь?" Она, конечно, слышала.

И вот что еще странно: если человека любят, он начинает пользоваться этой любовью. Но если он воспользуется, он все время будет расплачиваться за то, что он воспользовался. Совсем не жалко того, кто любит. Ну совершенно. А ту, кто любима, жалко. Какая же она бедная, эта жертва. Она просто сгорает в жертвенном пламени любви. Просто — раз и вспыхнула, вспыхнула — и сгорела. И Н.-В. зажег Веру своей любовью. И может, правы романтики, что глаза горят, а щеки пылают, а может, и не правы, потому что тот, у кого они пылают и горят, этого не видят, а наблюдателя нет, потому что возлюбленные, сгорая от любви, не знают, что они горят, а наблюдателя нет, а у романтиков наблюдатель все время в кустах сидит и видит, какие пунцовые щечки и как загорелись губки.

И одной рукой Н.-В. взял Веру за подбородок, и она немного откинула голову, и хотя сама она стояла, лицо ее лежало, и над ее лицом было лицо Н.-В. Их лица почти соприкасались. И все, все в лице хотело этого соприкосновения. Хотелось, чтобы оно было. Но еще больше всего на свете в этот миг сейчас хотелось, чтобы его не было, этого соприкосновения, — хотелось, чтобы этот миг длился вечность. И так безумно этого хотелось, что эта вечность пролетела за миг. И в тот миг, когда они стали безумно целоваться, они так целовались, как сумасшедшие, и мстили этому мигу за то, что этого мига больше не будет в этот поцелуй.

И страсть, которая охватила их, была даже не от страсти и не от желания, а от счастья, но вот само счастье, так сразу и показалось, было не вечным, а мимолетным и грустным от мимолетности, а от такого грустного счастья бывает тоска. И понятно, где начинается занятие любовью — там, где кончается тоска, оно начинается, чтобы прогнать тоску, и оно зовется весельем, это занятие, оно веселит, и оно само по себе веселое занятие любовью, хотя сама любовь — грустное занятие.

— Вера, — сказал Н.-В. И он сказал это издалека, как будто он был очень далеко от нее.

И Вера сказала: "Что?"

И он опять сказал: "Вера". И голос его был еще дальше. Он действительно что-то взял из Веры и унес с собой просто куда-то невозможно далеко.

— Я не слышу, что? — сказала Вера.

— Вера, — сказал он, и голос его оборвался, потому что там, где не было даже голоса, там, кажется, вообще не было понятия о звуке, то есть просто ни звука там не было, и все.

5

А летом очень странная жизнь. И страшная. Все куда-то разъезжаются отдыхать. Остается свободная площадь. Воспользоваться и сломать жизнь. Она отнимает свободу, твою собственную, эта площадь, площадь — это обман. Самообман. Это ловушка. Закрывать дверь и тоже уехать. И выбросить ключи. Уехать к маме. К дочке. К мужу. Вера открыла дверь — никого нет. Дверь закрылась. Ловушка. Она сидела-ела-запивала-умывалась-ложилась, и она подумала, что ей жутко страшно.

Нижин-Вохов должен был позвонить и сказать. Сказать и приехать. Приехать и остаться. И могло начаться. И могло плохо кончиться. И она подумала, что ни за что не будет с ним говорить, если он позвонит. Но даже если будет говорить, то ни за что не разрешит приехать. Но даже если разрешит приехать, то ни за что не разрешит остаться. Но чтобы этого ничего не было — можно сразу уйти. Но раз все равно этого ничего не будет — можно и остаться.

— Нет, — сказала она, когда он позвонил, — лучше завтра, я сегодня не могу.

— Я тебе перезвоню, — сказал он, — плохо слышно. — И он повесил трубку.

Теперь она ждала его звонка, чтобы сказать ему, чтобы он точно не приезжал. Но звонка не было. Но почему? И через час она забеспокоилась, почему все-таки нет звонка. И когда он наконец позвонил и сказал, что он рядом с ее домом, что он на машине и что ему быстрее было подъехать, чем звонить, все это было так правдоподобно, что она сказала: "Ладно".

И он вошел. И уже было поздно говорить, когда он взглянул. Потому что у него был такой взгляд, который действовал на Веру, то есть с самого начала, с самого первого раза, и был этот взгляд (с первого взгляда), и именно из-за этого взгляда все и случилось. И он опять так взглянул. Взглянул — и только потом уже посмотрел. А потом уже стал смотреть. И она рассматривала его. Зато она имела право его обидеть, то есть она могла ему все сказать. И он обязан был это выслушать и не умереть. И не убить за это. И продолжать любить. Она могла с ним делать все, что угодно. Потому что они были равны каждый в своем чувстве. И ей казалось, что она его любит не больше, чем он ее, а что даже он ее любит больше. Но все равно это было страшно. И ей было все равно страшнее.

И вот что еще странно, что такое жизнь и что такое нежизнь. Если жить дома, завтракать, обедать и ужинать, думать и хорошо выглядеть — то это жизнь? А если поужинать с приятелем в ресторане, не вернуться домой и утром себя ненавидеть, то это нежизнь?

Но почему когда каждый день жизнь, то чего-то еще хочется? Хочется нежизни? Чтобы опять вернуться к жизни?

— Странно, — сказала Вера, — что вот даже если все пройдет, то ведь все равно что-то останется, разве это не странно? В космосе летает мусор над землей. А на всей земле всего три кладбища для животных. И до фига для людей. И когда одни люди умирают, другие люди их хоронят, это как правило. И как исключение, когда животные умирают, люди их хоронят. И ставят памятники. Любимой кошке. Любимой собаке. От Саши. А водомерки в пруду живут счастливо. "Это они играют", — "Нет, это они совокупляются", — "Нет, это они трениру-

ются", — "Правильно, а потом появляются дети, это и называется совокупляться".

Все-таки он был красивым, Н.-В., даже очень. И умным. И гадким. Он мог полюбить, а потом бросить. Мог обмануть. И если бы какая-нибудь девушка из-за него бросилась под поезд, он сел бы на поезд и уехал. И он мог случайно не прийти. А мог прийти и вдруг встать и уйти. А мог раздеться, лечь, а потом одеться, уйти и даже не позвонить утром. А мог и пожаловаться. Смóтря кому. А мог и влюбиться на всю жизнь. Смотря в кого. Но он был не для жизни. И его можно было мучить. И еще она его ненавидела за то, что все это заходило все дальше и дальше. И все дальше и дальше от жизни. И эту лягушку раздавил автобус после дождя. Лягушку с лягушонком. Они умерли от разрыва сердца. "Почему мы так много говорим о смерти?" С нежными глазками, с хвостиком и с крылышками, и мама будет искать своего зайчика, а зайчик спит.

И вот что еще он обожал делать с ней — приказывать, и чтобы его приказание тут же было исполнено. "Зачем ты это принес?" — "Чтобы ты это надела и чтобы я тебя раздел". — "Не буду". — "Сейчас же это сделаешь". — "Почему желтое?" — "Немедленно надевай". — "Оно мне велико". Желтое платье было ужасным. Это было не платье, а дрянь какая-то. "Где ты взял эту гадость?" — "Украл". Оно было пошлым, фирменным, с крылышками и без трусов. И он стал стаскивать с нее это платье. И она не давала его стащить. "Немедленно снимай, — сказал он, — это моя вещь, я тебе его не дарил". "Ты будешь как твой отец, таким же старым, с таким же лицом, убирайся", — "Ты тоже будешь старухой", — "Никогда", — "Я тебя уже видела в старости", — "Когда?" — "У тебя дома, у твоего отца", — "Нет", — "Ты будешь такой же, как он", — "Нет", — "Да, а ты меня не видел и никогда не увидишь", — "Я тебя обожаю". В общем, это была такая игра. И они ее вместе осваивали. И в этой игре были исключения и правила. И как правило, он обращался с ней как с куклой, и в виде исключения он позволял ей обращаться с ним как с куклой. И тогда она могла его положить, поставить, она его укрыла. С головой. А потом достала голову и посмотрела ему в глаза. "Тебе нравится это делать с тремя женщинами по очереди?" — "Почему с тремя?" — "С первой, со второй и со мной". — "Только с тобой". —

"Только не со мной". — "Только не с ней". И среди соловьиного щелканья, среди настоящих соловьев, которые пели о сексе, чтобы размножаться, потому что им дан был от природы голос и не требовалось сердца, они пели о счастье, совсем не как воробьи, которые поют о хлебе насущном, то есть красоту птицам раздает человек: "Это красивая птичка, а это некрасивая, и самые красивые и вкусные вымерли, Тургенев подстрелил восемьсот рябчиков, а Аксаков полторы тыщи, и нам ничего не осталось. Это совсем недалеко, — сказал Н.-В., — 15 минут отсюда", — "Не хочу я никуда ехать". И еще он мог завести. Это у него получалось. "А кто там будет?" — спросила Вера. Он заводил ее тем, что сначала недолго уговаривал, а потом говорил: "А можно и не ехать, как хочешь". — "Хорошо, поедem, — сказала она, — только я переоденусь". — "Зачем, нормальное платье, пошлое, но тебе идет, даже желтое". Конечно, он ее подставил, в этом не было никакого сомнения. Тютюня открыл дверь и познакомил Веру со Снандулией, которая, увидев Веру, все поняла — потому что — что ж тут было непонятного, — потому что Вера сразу прошла в комнату, где была Снандулия, а Н.-В. прошел в другую комнату, и, увидев там Свя, сказал ему: "Хорошо, что ты уже здесь". "Что же ты делаешь с людьми!" — сказал Свя. И Н.-В. ему ничего не сказал. Зато Вере он сказал: "Это моя жена — Снандулия". "Уже познакомились", — сказала Вера. Все было прозрачно. И Вера подумала: "А вот сейчас придет Василькиса". Но она пришла не сразу. И, увидев на Вере свое платье, которое куда-то исчезло, она подумала: "Не может быть". Но поскольку этого быть совершенно не могло — что на незнакомой девушке ее платье, то эти две вещи так и остались не связанными между собой. Просто перед ней стояла девушка в желтом платье, точно в таком же, которое у нее куда-то исчезло. И Василькиса подумала, что Н.-В. объяснился со Снандулией, которую она сразу же узнала, хотя знала ее только по фотографии, на которой она была еще моложе, но зато в жизни, хоть она и была старше, она была еще красивее. И самое удивительное, что все это было как-то естественно. Снандулия разговаривала со Свя, и они говорили как родственники. И чем больше Свя хмурился, тем больше Снандулия улыбалась. И когда вдруг стало совершенно тихо, она вдруг рассмеялась. А Вера говорила с Тютюней. То есть она ничего не говорила.

Просто когда она увидела, что к ней подходит Свя, она успела повернуться к Тютюне и заговорить с ним. С целью избежания попадания чайнок в чашку рекомендуется применять ситечко. Кто кому корм? Червячок — рыбке? Рыбка — мышке? А кукушеноч сдох. Это мамаша выкинула его из гнезда, в женском общежитии недалеко от гарнизона, и кукушонка нашли четырехмесячным в канаве за этим общежитием. И он еще не умел. А солдат с мамашей не могли его прокормить. И они не могли его воспитать. У него была желтая грудка. И умные глазки. Он умел прыгать. Он сам выпал. Никто его не душил. Никто его не расчленил. Свя наблюдал. Он видел Василькису впервые. Она была совершенно беззащитна в своем чувстве. Слепая. Она ничего не видела вокруг. Она была ослеплена любовью. Или не та последовательность. Или не та масть, или не тот номинал. Но ведь все кем-то задумано. Но все в своих масштабах. Первым о привидениях заговорил Тютюня, потому что он был не за рулем. А Нижин-Вохов был за рулем, а привидения были не за рулем. Но Н.-В. очень удивился, когда Свя сказал Вере: "Да, я за рулем". И Н.-В. спросил Свя: "Тебе нужна машина?" И Свя сказал: "Обязательно, машина". Это расстраивало все планы Н.-В. Потому что он хотел отвезти Василькису и быстро ей сказать, что он не успел поговорить со Снандулией. И потом вернуться обратно. Потом быстро отвезти Снандулию и сказать ей, что они едут с отцом домой. И потом вернуться. А потом взять Веру, которая его подождет у Тютюни. И так нехстати Свя сказал, что он за рулем. Конечно, можно было и на такси. Но на такси каждый может отвезти себя и сам. Но если бы он был за рулем и сказал Василькисе, что должен вернуться за Снандулией и отвезти ее домой, Василькиса бы не обиделась. А на такси бы обиделась и сказала бы, что он мог бы сказать Снандулии, что поедет к отцу. Но именно Снандулии он и должен будет сказать, что поедет к отцу, но об этом ничего не должна знать Василькиса. Но даже если бы он отвез Василькису на такси, и вернулся за Снандулией, и повез бы Снандулию со Свя на такси, то Снандулия бы обиделась, потому что он не вышел с ней, а поехал дальше со Свя. И когда Н.-В. сказал Свя: "Но вот именно ты за рулем?" Свя сказал: "Именно, за рулем". И тогда Н.-В. выпил со Снандулией, с Тютюней и с Верой и сразу стал не за рулем. И сразу же заговорил о привидениях.

И еще привидения могут привидеться. И они могут быть раздетые и голые. И у них могут быть дети. И Вера, когда сегодня днем встретила с Н.-В., хотела рассказать ему сон, который ей приснился сегодня, и рассказала бы, если бы он не повез ее в гости. А получилось, что она его стала рассказывать прямо в гостях, прямо при всех. То есть у этого сна было точно начало и точно конец, но она не помнила. А в середине сна как будто бы один человек привел ее как будто бы в гости и сказал гостям: "А это мой младший брат", но как будто она точно знала про себя даже во сне, что она не мальчик, а девочка, а во сне как будто бы она — мальчик, то есть всем видно, что она — мальчик, хотя она-то знает, что она девочка. И этот человек, когда уже наступила ночь, говорит этим гостям: "Вы нас можете положить наверху с братом". И там такая комната, совершенно темная, и даже не видно лица этого человека, и ему не видно ее лица. Но он знает, что она — это она, а она знает, что он — это он. И тогда она говорит ему:

"А вдруг я правда твой младший брат", и он говорит: "Это все равно, я все равно сейчас буду тебя любить". И они начинают целоваться, совсем не видя друг друга, ну абсолютно ничего не видя, и это очень прекрасно.

И эти привидения не закрывают за собой дверь, когда входят. Они могут войти даже через закрытую дверь или даже в щель. И они инфантильны. И навязчивы. Они на кухне играют в солдатики, и нагледят, и даже орут. И они совсем не ласковые. Хотя когда они начинают ласкаться, как собаки, у них лезет шерсть. И они близоруки. Все до единого. Они не различают горизонтальное и вертикальное. И они маются. И боятся света. Любого. Но особенно электрического. А солнечного света они боятся абсолютно. И у них есть пушок. И они могут улететь как пушинки. И если вообразить, что они есть, то они будут. И внутри у них есть огонь, а сверху мякоть. И даже далеко вдали.

И после Вериного рассказа Н.-В. подумал, что это он приснился ей во сне, что как будто бы это он — этот человек и как будто она — этот мальчик. И в этот момент у него даже промелькнула мысль, что он на самом деле был бы даже педерастом, если бы на самом деле она была бы мальчиком.

Но на самом деле было бы ничего не понятно, потому что смысл был моментальный, только в моментальном смысле был смысл. И даже было странно, что вот почему

если в какой-то момент смысл есть, то в следующий момент этого же смысла уже нет, а есть что? Следующий смысл? Или вообще смысла нет. И если момент абсолютный и смысл абсолютный, то абсолютно непонятно, куда девается этот момент с этим смыслом. Даже в смысле привидений — натуры бессмысленные и моментальные, а вместе с тем абсолютные. И когда их нет, то где они?

Может быть, в парке, мимо которого Свя уже ехал с Верой. Эти привидения бывают там среди стволов. Они бывают там сидя. Они там ползают на четвереньках среди грибов. Или ускользают из гостей, даже не попрощавшись, раз — и они уже в кино. И Вера со Свя исчезли из гостей, когда Свя сказал ей: "Я уйду, подвезти?" Н.-В. даже не видел, как они вышли, и никто не видел, только отдельные особи, относящиеся тоже к привидениям у вешалки в углу, самые скромные, у которых нет родных, сироты, у которых нет даже ботинок, и они шлепают прямо в галошах по воде.

"Куда тебя везти?" — спросил Свя.

"К тебе".

"Хочешь его дожидаться?"

"Нет".

И Свя резко повернул, потому что прямо не было дороги, там был тупик. И в тупике была канава с водой, и в воде плавали опавшие листья, на которых сидели маленькие жучки, как на островах, и они ели эти острова, питаясь листьями. И никто из них не знал о полуподвале, где лопнула труба, и в этом полуподвале тоже была яма с водой, и там на островах тоже сидели такие же жуки, их братья. Эта яма с водой была в коридоре полуподвала, а чтобы пройти в комнату полуподвала, нужно было перешагнуть через эту яму. Или хозяин полуподвала должен был взять девушку на руки и перенести ее через яму, что он и сделал, и в комнате были решетки на окнах, и если смотреть с улицы, то было видно кресло, в котором сидит этот хозяин с девушкой, то есть девушка сидит у него на коленях, но это имеет отношение только к тем братьям тех жуков.

И когда Вера со Свя вышли из машины и вошли в лифт, который, раскачиваясь от ветра, стал набирать высоту, и они пристегнули ремни, и когда погасло световое табло "Не курить, пристегнуть ремни", и они закурили, то было уже совсем темно за окном, и трудно было определить, на какую высоту они поднялись. И Свя сказал:

"Может быть, все-таки чаю?" И Вера сказала: "Нет, просто воды".

Потому что даже каждый напиток имеет свою длительность. И чем крепче напиток, тем длиннее. И чай — длиннее воды, а вино — длиннее чая, а коньяк — длиннее вина. А водка, длиннее которой бывает только разговор во время водки.

Но о чем можно говорить, когда один человек пьет воду, а другой смотрит, как он эту воду пьет. И сухарь без начинки, и отсутствие пения соловьев, которые корыстны в своем пении, потому что уже совокупились, но они не артисты, а артисты — не соловьи и поэтому поют не просто, чтобы совокупляться, а для искусства, а соловьи поют не для искусства, а чтобы совокупляться, тогда вот что непонятно — или, может, все-все на свете искусство — это и есть желанное совокупление и каждый Леонардо так сладостно щелкает, чтобы слаще совокупиться со своей пташкой.

"А можно, я еще вот это попью?" — сказала Вера.

"Выпей, если хочешь".

И она разговорилась.

"Не пойму, у нас с тобой было все-таки или нет?"

"Я и сам не пойму".

"Но тебе как кажется?"

"Кажется, было".

"Или это только кажется?"

"Не могу я тебя понять".

"А сына?"

"Тоже не могу".

"А его жену?"

"Что тут непонятного, она его любит по-своему".

"А он ее?"

"По-своему".

"А меня?"

"Не могу понять?"

"А ты меня?"

"Полюбил".

"Не могу поверить".

И тут зазвонил телефон.

Это был Н.-В. И Свя сказал ему, что да, отвез, уже лег. И он на самом деле лег. И Вера легла рядом с ним, но с краю. И билось сердце, и от этого снился этот сон, или снился этот сон, и от этого билось сердце.

И вокруг распространялась страна — с такой бессмысленной протяженностью по стране, с дружбой народов

и с колхозниками, которые почему-то бежали впереди рабочих, и рабочие, почему-то все до одного голодные и грязные, догоняли колхозников, почему-то всех до одного пьяных. И почему-то эта толпа бежала с запада на восток, а потом резко разворачивалась и бежала с востока на запад. И в этой толпе были все нации, неумытые и раздетые, дикие и абсолютно тупые. Потому что зачем же так тупо бегать, во имя чего? Во имя протяженности страны!

— А где твоя жена? — спросила Вера.

— Умерла.

— Ты ее не любил?

— Почему?

— А она тебя?

— Не помню.

И с такой жуткой силой шумели деревья, это был не просто шум, а шум, который можно только обожать, потому что с ним больше нечего делать — только обожать и все. И согнутая рука внутри шума, которая уже онемела, и ночной свет в комнате, но если нет ни луны, ни фонаря, ни звезд, то откуда свет? От фосфоресцирующей пыли, которая вечна, и если с человека каждое утро не стирать тряпочкой пыль, то он тоже будет светиться. "Ты плачешь?" — спросила Вера. — "Нет".

Свя лежал в возрасте пятидесяти шести лет, с тридцать пятого года, девяносто первого лета. Человек в возрасте. То есть это тот же самый человек, что и тридцать лет назад, но он посажен в в о з р а с т, в какую-то гадость, которая прилипает и действует на него. И он сидит в этом возрасте, как в презервативе. И этот презерватив предохраняет его от жизни, он не дает ему шевелиться, и он в нем еле дышит, и в этом презервативе есть усики, и так не так опасно жить, какая подлость. И внутри этого презерватива Свя был красивым, он был красивее своего сына, и у него были такие глаза. "Почему ты так на меня смотришь?" — сказала Вера. — "Как?" — "Как-то ужасно".

Кто что любит. Ты так любишь, приехать на вокзал заранее и ждать поезд двадцать минут, потом сесть спокойно и уехать; или приехать, сесть и тут же уехать; или приехать, а поезд уже поехал, вскочить и остаться. И точно так же с дождем. И точно так же во всем. И точно так же не точно. И не надо ни о чем жалеть. И о том, что больше всего жалко.

— А ты сделал что-нибудь такое, что только ты сделал в жизни?

— Может быть.

— Что-нибудь написал? Я так и думала, что ты что-то пишешь.

Тайно.

— Нет.

— Нарисовал?

— Нет.

— Тогда построил.

— Да, скорее построил, так будет точнее.

— И что же?

И как будто он выскочил из этого своего возраста. И как только он выскочил, оставался малюсенький сантиметр до ее лица. И этот сантиметр он преодолел с такой скоростью, что он был абсолютно горячим, а она абсолютно холодной, потому что это он настиг ее лицо. Он просто ворвался в нее. И от этой скоростной скорости и сильной силы наступила жаркая жара. Но зато после этого безумного безумия наступила слабая слабость. Но это наступило уже под утро, когда та соседка, что так похорошела от смерти, привела с собой мальчика, который утонул, и они обнялись и тихо сидели, чтобы не будить того отца, которого раздавил автобус, и они прижимались к этому отцу так, чтобы он их согрел, но так чтобы его не разбудить. И даже их не отнесло к облакам! И только когда стало свободно, то есть когда Вера распрямила руку и не обнаружила Свя, она проснулась именно оттого, что Свя не было рядом. Она вышла из комнаты, но и там его не было. Его не было во всей квартире. И вообще в квартире никого не было. И не было машины внизу. И на ней по-прежнему было это желтое платье, помятое, как одуванчик, после бессонной ночи. И она стащила его с себя и надела светлые штаны и рубашку Свя. И штаны были почти невелики, и рубашка была прекрасной. И она спрятала платье в один из ящиков шкафа. И ушла.

И все, что во имя литературы, в качестве литературы и ради литературы, безжалостно вычеркнуть, и останется литература. Потому что то, что только литература, — это не литература. Зато все остальное, что не только литература, а еще что-то, — это и есть литература. Даже эпитетов нет. И метафор точно нет. Абсолютно. Сравнений, конечно, нет. Нет их. Нет никаких сравнений. А если есть то, что с чем-то можно сравнить, то этого нет.

И вот еще чего нет — образов нет. А все остальное есть: Греция, Китай, дождик, Средиземное море, рабство, блядство, чистая-непорочная-вечная любовь, грязная-порочная-вечная любовь, а равенства точно нет, и не может быть, ну его просто в природе быть не может, и его нет, и никогда не было. А смысл есть. Счастье. Удовольствие. Удовлетворение. Удача. Это все есть. А свободы нет. И никогда не было. Никакой. Ни собственной, ни чужой. Ни подсознательной. Ни тайной. Ни явной. Ничего этого никогда не было. Есть покой. И тайна. Мечта. Нет добродетели. Нет добра. Нет зла. Но есть доброизло. Но братства-то нет. Вот этого совсем нет. Ни справа, ни слева. Ни вверху, ни внизу. Нигде. Есть бедные и богатые. И бедные любят богатых, а богатые не любят бедных. А французы не любят англичан. Но имеют их в виду. Они именно и х не любят. А вьетнамцев, алжирцев, греков — они просто не имеют в виду. Даже как будто их в природе нет. Как будто в природе есть только англичане. Но еще чуть-чуть, может, есть немцы. Но совсем чуть-чуть. И все. И больше никого нет. Но вот если сказать, что русские не любят русских, то это не будет обидно евреям, а вот если сказать, что русские не любят евреев, то это будет обидно евреям, но больше всего будет обидно евреям, если сказать, что больше всего евреи не любят евреев, и почему они так друг друга не любят. Зато больше всего японцы любят японцев. У японцев просто страсть к японцам. Они просто обожают японца — японца. Негры хотят быть белыми. А белые не хотят быть неграми. И негры не любят белых. А белые не любят негров. Но иногда белая женщина любит негра. А белый мужчина — негритянку. Неужели только для пикантности? Но пусть хотя бы для пикантности все люди любят друг друга так иступленно и так страстно и так независимо, как белая женщина — негра, или как белый мужчина — негритянку, или как японца — японца.

И они бывают злыми, как дети, эти привидения. Они бывают и врожденными уродами, и калеками. И тогда они стучат палкой. И когда они злятся, то сразу видно, что у них мокрые губы. И еще они бывают плавные и резкие. И резкие никогда не меняют опору. И им негде жить. У них нет места. И они везде. И они нигде. И по телефону они могут звонить без монет. И среди них бывают дамы. И они самые страшные и суровые. И беспощадные. И они могут навещать. Они могут посту-

чать: тук-тук, и им надо открывать. Сначала они стучат один раз — тук, потом пауза, а потом тук-тук-тук. И надо открыть. Но и они делают ошибочки. Одну!

Они приходят не одни. В сопровождении. И они пугливые — как листья с ночными бабочками на волосах. И они могут заплакать. Никогда их не надо утешать. Потому что это конец. И на это уйдет вся жизнь. Вся. До конца. Без остатка. И ничего не останется. Ничего. Ничего.

Этот наглый голубь водит женщин и не дает спать. У него любовь по утрам. У него трапеза днем. Они шепчутся со своей птицей под столом. Или он педераст? У него нет хвоста и завязан глаз. Дон Жан пил кофе, который сам сварил. И пуговицу, которую сам пришил, он уже почти оторвал. Вера ласково ковырялась в тарелке. "Как эта рыба называется?" — "Лещ, если он еще раз прилетит, я его съем". И еще бывают помехи, когда они приходят, эти привидения. И среди них бывают покойники и мертвые. И покойники не ходят, а мертвые встают и ходят — прямо и вертикально. И даже в тишине. И еще среди людей бывают великие люди — Пушкин, например, или Наполеон, и про них написаны тома: как Наполеон встал, и как посмотрел, и что сказал, и что Пушкин сказал про то, что Наполеон сказал. И все-все, даже самое неинтересное в этом великом человеке всем интересно, и все мусолят и обсасывают мысль, "А сколько лет они живут?" — "Кто?" — "Голуби. Он уже к нам пять лет прилетает", — "Если он не умрет своей смертью, то осталось еще пять", — "А потом к нам будут его дети прилетать, дочь или сын, как эта рыба называется, я забыла", — "Корейка называется", а невеликие люди никому не интересны, даже если они скажут что-то великое, то сами и забудут, но это будет носиться в воздухе, а великий человек поймает в воздухе и запишет, он потому и великий, что вокруг него много воздуха, но ему тяжело дышать, а невеликому человеку легко дышать, но и ему иногда не хватает воздуха, и он может задохнуться и умереть. Навсегда. А великий человек задохнется, но не умрет, а будет жить вечно. Всегда. "И вот, например, если представить, что есть отец и сын и отцу, например, лет шестьдесят, а сыну лет тридцать, а правда, как эта рыба называется?" — "Ну, плотва, дальше что?" — "Вкусная, но много костей, и у этого сына была возлюбленная, и вот как-то так вышло, что она оказалась одновременно возлюбленной и отца, и

сына". — "Это как же так вышло?" — "В первый раз как-то случайно, а потом еще раз, всего три раза, или это не считается? А ты почему не ешь?" — "И если он еще раз прилетит, я его убью". — "Кого?" — "Обоих педерастов". И когда мир рушится, то почему-то не из-за трагедии, а из-за фантазии — из-за яблока или какой-то абстрактной земли, которая будет всем принадлежать на плоскости, а воздух всем — в объеме, и свободы, у которой есть глазки и носик, и она продается в газетном киоске — перерыв с двух до трех. Размена нет.

И мы допускаем, что при спаривании самец теряет задние ноги, наподобие того как ящерица теряет хвост. Самка же, напротив, в момент спаривания вытягивается на задних ногах, которые у нее увеличиваются за счет того, что кости ее эластичны. И спаривание этих удивительных существ происходит так, что самец делает стойку, поднимаясь вертикально на передних ногах, а самка, все же оказавшись выше, насаживается на него сверху. И в момент спаривания половым органом самцу служит все его туловище — поскольку самка насаживается на самца вплоть до его передних ног. После спаривания самка заботится о самце, который становится беспомощным без задних конечностей, пока они у него не отрастут вновь. Как раз это время совпадает с тем, что она вынашивает детенышей. После появления потомства самка теряет всякий интерес к самцу. Самец в свою очередь, обретя новые ноги, покидает семью в поисках новой.

6

Но шпионы есть. Они есть повсюду. У них шпионские лица. У шпионов много врагов. И шпионы за ними следят, а враги размножаются. Шпионы не должны сокращаться в массе. Шпионы легкие. Они могут улететь. Внутри шпиона находится шпионский мозг. Он состоит из просто серого вещества и из остального вещества. Мозг делится на два полушария: на левое и правое, запад и восток, горячее и холодное. И на востоке много убийц. Они расцветают на восточном полушарии мозга, там тепло. Внутри шпиона находится скелет шпиона. Люди боятся скелетов. Но шпионы не появляются среди людей, а только среди врагов. А враги не боятся ни скелетов, ни запада, ни востока, ни холода, ни

зняя. И шпионы купаются в крови. В кровавой ванне. И люди купаются — да. И шпионы — да. Земля покрыта растениями: дикими, садовыми и шпионами. Только шпионы вдыхают кислород, а выделяют углекислый газ, а садовые и дикие, наоборот, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. И он почти домашний кузнечик — цикада, он днем сидит на занавеске — спит, а ночью поет. Он почти ручной, он к нам привык. Он нас любит. Почти человек. Мы на него смотрим, и он — на нас. Глазками. Он похож на козлика, только засушенного — ушки и хвостик. Он — козлик для нас. А мы кто для него? Мы-то на кого похожи? Он погиб. Неважно. Захлебнулся в банке с компотом — полетел попить и утонул. Умер. Не надо об этом думать. Скоты все-таки люди — у них все с позиции силы. И красота от них далеко. И они далеки от красоты. Красота — в покое. А борьба — в движении. А людям просто надо двигаться. Двигаться — и убивать. Двигаться — и расчленять. Двигаться — и переваривать. Ближнего, как самого себя. Это и есть движение.

Василькисе приснился сон, как будто одна ее приятельница продала ей квартиру, хорошую и дешевую, всего за две тысячи долларов и, когда Василькиса туда вселилась, оказалось, что ей продали квартиру вместе с бабушкой. Чего только не бывает во сне. А в жизни? Чего в жизни только не бывает. Но от страшного сна можно проснуться. А от страшной жизни как проснуться? Только умереть. А может, проснуться — это и есть умереть? — Ужас, — сказала Василькиса Н.-В., который уже проснулся. Она всегда была не замужем. А Н.-В., наоборот, был всегда женат. А женатый человек — тот, который раз — и он уже женат. Раз — и уже навсегда. И сон незамужней женщины не показался женатому человеку ужасным. У женатого человека бывают вещи и пострашней. Он даже посмеялся: "И куда же ты дела бабушку?" "Я же говорю, что проснулась", — сказала Василькиса.

На улице накрапывал дождь, и он капал прямо на женщину, которая лежала рядом с Н.-В., и ему не хотелось укрыть ее от дождя. К ее мокрому телу, ночной рубашке и волосам было неприятно прикасаться, и Н.-В. убрал свою теплую руку. И объяснить это можно только тем, что она — нелюбима. А значит, пусть мокнет, пусть замерзнет под одеялом и умрет, и он ее не согреет и не вернет к жизни. И пусть ребенок, который у нее внутри,

лучше рассосется, чем созреет и тоже будет нелюбимым. Н.-В. встал, оделся и лег в одежде, и она хоть как-то защищала его от раздетой женщины.

Василькиса смотрела на него бесстрашно. Никакого испуга не было на ее лице. А Н.-В. смотрел на нее и не любил. А ведь это очень страшно, когда тебя не любят. Тем более, когда нелюбима — женщина. И когда эта женщина — раздета. Но то ли она не видела, что она нелюбима. То ли она действительно была такая смелая. Н.-В. встал с постели и подошел к окну, а Василькиса все еще оставалась в постели. И он смотрел на улицу, и к стеклу прилип лист, и его хотелось отлепить, как мокрую марку. С тремя оторванными зубчиками. Гашение третьего дня. И вдруг Н.-В. сказал. Сказал и вдруг сам испугался. "Я тебя, кажется, не люблю", — он это промямлил и еще немного постоял, глядя в окно. Что "кажется"? "Кажется" я? "Кажется" тебя? Или "кажется" не люблю? Что именно? И когда он повернулся, то увидел, что Василькисы в постели нет. Он оглядел комнату, но и в комнате ее не было. "Слышала и ушла", "не слышала". И когда он увидел ее в ванной, ее мокрые руки и лицо и слегка влажные волосы, ему так захотелось, чтобы она не слышала, и он сказал: "Ты слышала, что я сказал?" — "А что?" Он бы никогда не повторил. Осечка. Он промахнулся. Но ведь можно стреляться до конца. Он бы никогда. И вместо того, чтобы ранить ее или окончательно убить, он вдруг обнял ее, сказал: "Куда-то делся Свя, не понимаю, ни его нет, ни машины", "Наверное, уехал", — сказала спокойная Василькиса. "Но куда? Не понимаю". Было воскресенье, в небе летали самолеты и шел дождь. В небе был парад, а дождик почему-то был липким, он прилипал к телу, и тело тоже было липким, и он был каким-то грязным, этот дождь, может, из-за бензина в небе, а может, из-за шума в этом небе. Воскресный завтрак тоже не клеился. Василькиса разбила тарелку. "На счастье", — сказала она. "Может, пиво продают, — сказал Н.-В., — пойду посмотрю". Он шел и нес воздух в пустой банке. Стояли домики, в которых поживали людишки, ели щишки и попивали винишко. Грубо и тоскливо. И никакого просвета из-за дождя. При чем здесь парад! Можно не живя жить, не любя любить, не хотя хотеть. И даже тренировать память. Вспоминать. Н.-В. вспомнил, что после вечеринки у Тютюни он ведь так и не увиделся с Верой. А прошло уже три дня. И Свя куда-то делся. Куда? И у Веры не

отвечал телефон. В трехлитровой банке поместилось четыре литра пива. Он шел обратно, и пиво все как-то приминалось и усыхало. Вспоминать о вечеринке было и неприятно, и в то же время он вспоминал о ней с каким-то растрavляющим память удовольствием: как они приехали с Верой и как там уже была Снандулия. И как Вера на нее посмотрела, и как она на Веру посмотрела, и что они друг другу сказали, да вроде бы они ничего друг другу и не сказали, а теперь ему казалось, что они о чем-то много говорили между собой. И как потом приехала Василькиса и увидела Веру в своем платье. И ни о чем не догадывалась. И потом он вспомнил Верин сон про мальчика-брата и так ему захотелось сейчас же ее увидеть, что он пролез с банкой в автомат и подумал, что, даже если она скажет, что не может, он скажет, что ему надо ей сказать что-то важное, и скажет про Свя. Но телефон ее не ответил, и он ничего не сказал. И вот еще что — день этот был пустой. Действительно, это было самое настоящее чувство, что в совершенно определенных размерах размещается пустота, то есть габариты, наполненные именно — ничем. И от этой пустоты было даже тяжело дышать. Хотя было сытно. Потому что Василькиса открыла сначала одну коробочку — к пиву, потом баночку, потом в блюдечко выкатилось из красивой бумажки нечто ароматно-белоснежное, которое как-то называлось по-немецки, тоже лакомство. Это был заказ. И как будто как нарочно — к пиву. Ничего не нарочно.

Просто есть улица, а на улице дом, а в доме дверь, а за дверью окошко, а в окошке очень миловидная женщина, и ее все знают, и она всех знает, и ей отдаешь — бумажку, а она тебе — пакет. И в пакете как раз есть всеб что надо, — к пиву. Очень удобно. И от того, что в магазине ничего нет, а в окошке все есть, — как-то не по себе. Но просто нужно привыкнуть. Это дело привычки. И люди, которые ходят в магазин, привыкли, что в магазине ничего нет, а люди, которые ходят в окошко, привыкли, что в окошке все есть. Просто это разные люди. И живут они в разных домах. И едят разную пищу. И думают по-разному. Вот и все. И больше ничего. Все просто.

И после пива захотелось полежать и подремать, но дом, который увидел Н.-В., был сделан не из сонной дремоты, он был в натуральную величину и весьма огромный рядом с дорогой. Только как будто Н.-В. сначала был рядом с домом, а потом не поднялся с первого этажа — наверх,

а каким-то образом он сразу стал спускаться с верхнего этажа — вниз. И он спустился на этаж ниже по огромной лестнице, освещенной дневным светом. И там стоял человек в военной форме и какая-то женщина, которая все время отворачивали лицо, и этот военный дал ему бумажку, по которой он должен был явиться на какой-то митинг-праздник. "Завтра праздник?" — спросил он. "Завтра сбор", — ответил военный. И на этом этаже он вошел в квартиру, которая была гигантской, и там были огромные стеклянные двери, и было все видно, что происходит в комнатах. И везде сидели какие-то животные женщины и месили тесто, и они себя как-то охлопывали этим тестом и мучными руками, и тела их были отвратительные и расплзались, и они были полуголые. И Н.-В. прошел дальше в эту квартиру, и чем дальше он шел, тем люди становились мерзче, и там уже были такие люди, у которых трудно было определить пол, они были покрыты шерстью, и на них были трусы и фартуки, а потом стали попадаться люди с одним глазиком на переносице, и глазик этот гноился, и все они что-то тупо лепили к празднику, что-то пекли, и они были хуже животных, потому что были нечистоплотные и тупые, и из этой квартиры нельзя было выйти, потому что когда Н.-В. прошел глубже, толпа за ним сомкнулась и стала чем-то бесформенно-тяжело-липким. И когда Н.-В. спросил: "Кто вы?", ему ответили: "Быдло". И тот, кто это ответил, был не мужчина и не женщина, а чем-то непонятно чем, и это "оно" улыбнулось во весь рот и сказало: "Работаю". И у этого быдла потекла изо рта слюна, а у всех остальных полилась заунывная песня. И он увидел несколько дверей, и на одной была табличка: "т.к.д.ж.", а рядом дверь с табличкой "т.д.к.м.", и он почему-то испугался аббревиатуры, потому что рядом была дверь — "в.к.п.б.", но оказалось, что "т.к.д.ж." — это "туалетная" "комната" "для" "женщин", а т.к.д.м. — "для" "мужчин". И когда он вошел в т.к.д.м. — это оказался огромный зал, как на вокзале, с разбитыми вдреизг унитазами и писсуарами, и на этих толчках и сидели какие-то бесполое люди, и при этом они еще пели похабные песни, и тогда он вошел в т.к.д.ж., и там было то же самое, такие же бесполое и похабные, и двери ни там, ни там не закрывались, они свободно пролетали вперед и назад, и от всей этой гадости Н.-В. "вскрикнул" и "проснулся" по всем законам литературы. И кто мог, тот и спал, и Вера увидела — там была картина "Иван

Грозный убивает своего сына Ивана”, и на этой картине, она их увидела, а они ее нет, то есть она стояла так, как бы в темноте, в перспективе, и поэтому не была видна, и тут Иван Грозный раз — и вдруг убил своего сына как царь, и потом подбежал вдруг — и раз — и обнял его как отец, потому что между царем и отцом есть Ванечка, и Вера была как бы немножко за рамкой картины и имела отношение к ним обоим — к сыну и отцу, но сейчас она любила Ванечку, когда он сказал: ”Звезда полетит”, и он был между. И среди прочих слонов был слоник, только не с крысиными глазками, а с большими голубыми глазами, вытянутыми как сливы, и когда этот слоник побежал от слонов, вся стая погналась за ним, и они умчались далеко, но все вместе притащили этого слоника из перспективы в первый план, но и в первом плане он оставался таким же маленьким, а они были гигантских размеров в натуральную величину, и он был игрушкой для них, и они его все вместе стали насиловать, и туда тоже, и они насиловали его хоботами, они вставляли ему по очереди и одновременно, и было странно видеть, как их огромные хоботы уместались у него во рту, и они повалили его на спину и, мучая его, смеялись по-человечески.

И после сна наступило утро, и с утра была огромная масса людей, и радиоволны материально опутывали эту человеческую массу, и механический голос вещал о новой власти, и новая власть насилowała сразу всех людей в уши. Эта власть имела оружие — и она его сразу выставила на улицах: зелененькое и серенькое, и она имела солдат, и у одних были глаза, чтобы видеть, а у других, чтобы не видеть. И на все это шел дождь. И как будто бы все были дураки, такое дурацкое стадо людей, и над этими дураками были главные дураки и дуры с пистолетами в трусах. И в сердце была растерянность. Потому что у детей есть ручки, а у главных дураков есть наручники на эти ручки, есть детские наручники для трех, пяти, восьми лет, до шестнадцати и старше. И на своей дочке Вера тоже как будто увидела наручники, а все остальное было опечатано. Это были такие бумажки с печатью, которые были наклеены на дверь, и это обозначало, что все, что за дверью, этого нет. Было — а тут нет, и все. И хотя родителей не выбирают, а власть выбирают, это была такая дурацкая власть, которую никто не выбирал. И у этой власти были только домашние животные, куры и свиньи, и у нее было чем кормить

этих кур и свиней. И вот еще что, как будто все вдруг, изнасилованные в уши, пошли назад. И если представить, что все-все потихоньку идет вперед, и пусть это "все-все" называется историей, то в один миг история вдруг пошла назад. То есть все-все вдруг стали в один миг отрицательными величинами, как черти, которые сами по себе есть величины отрицательные. И даже танки — материальное зло, и даже хорошо, что их было видно, потому что есть еще нематериальное зло, которое не видно.

И вся новая власть была помехой справа, которой должны были уступить дорогу детские коляски, грузовики, автомобили, а также транспортные средства общего пользования. И эта гигантская "помеха справа" была у всех на дороге и никого не пускала. И она еще кусалась. И есть правила дорожного движения, а есть дворцовые перевороты, когда жена убивает мужа, а отец сына, а сын отца, тетя — дядю и чужой дядька — малыша. Очень некрасиво. Стыдно. Плохо.

Но ведь это все инцестовые перевороты — они внутри семьи, и царю жалко своего царевича как сына, а царевичу жалко своего царя как отца, и эти инцестовые перевороты — вне людей, потому что в кругу семьи — по-домашнему. А "помеха справа" — она справа от людей. И люди ее видят, потому что у нее есть диаметр и плотность, и какая-то часть ее скрыта, зато какая-то торчит, и у нее есть мозг, и есть сила. Мало того, у нее есть ручки и ножки, которыми она бегают, но она, эта власть, не бывает хорошая или плохая. Власть и есть власть. Это народ бывает хороший или плохой. И он, этот народ, выбирает себе власть, которая властвует над ним. Но ни одна власть не стоит того, чтобы из-за нее погибал этот народ, она не стоит даже того, чтобы мокнуть из-за нее под дождем. И только те, кто любят мокнуть ЗА власть под дождем, они сами в конце концов приходят к власти — под будущим дождем, под будущее-следующим, под завтра-послезавтрашним. И это политика — кто кого перемокнет и кто выйдет сухим из воды.

И политика — это не жизнь. То есть политиками иногда рождаются, а иногда политиками умирают. И среди политиков бывают красавцы, артисты. А негры — это те же белые люди, только черные, и хуже политики бывает только уголовщина — с утра, но это не про того матроса, который убил проститутку, и не про тех школьников,

которые изнасиловали девочку, и не про Раскольников, который прикончил старушку, а про тех, которых в то утро оказалось восемь, но среди них не было того, который заболел. И как будто он заболел и не смог приехать; и пока он как будто будет болеть, все люди как будто выздоравливать: слушать "Лебединое озеро", под дулами пистолетов ходить в кино и есть пищу, которая почему-то сразу подешевеет, и улыбаться, и, улыбаясь, все сразу скажутся старушками, изнасилованными школьниками, которых съест потом десятилетняя девочка — съест и выздоровеет, выздоровеет и съест, она будет хорошей девочкой, она будет хорошо учиться, помогать старшим и любить дедушку, потому что все девочки — это его внучки, а все мальчики — внучата, и этот дедушка лежит в гробу, но в гроб этот можно войти, и там вход и выход, а внутри гроба много солдат, и у них оружие, и они убьют каждого, кто тронет дедушку, и хотя от дедушки осталась голова и пальчики и внутри головы скелет, а внутри пальчиков — кости, дедушка зовет за собой внушек и внучат, и внуки и внучата должны работать на дедушку, чтобы он мог спокойно спать в своем гробу, они должны слушаться и любить его, а кто не будет слушаться, того сначала накажут, а если он опять не будет слушаться, его будут колоть, а если опять, то сами внуки и внучата будут писать и какать на непослушного, а дедушка будет улыбаться.

И прошло уже три часа, с тех пор как тот один заболел. И никогда Вера не думала о нем столько, сколько сейчас, и сейчас она о нем думала, как о маме и о дочке, как будто у него свинка, или болит живот, или на самом деле режутся зубы, которые на самом деле у него уже выпали, а потом оказалось, что он не просто заболел, а заболел в Крыму, а все восемь — его друзья все сразу — вместо него, "И ты, Брут". А вечером началось представление, и как будто оно было для дураков, и все восемь сидели по одну сторону стола, а как бы дураки — по другую. И вот еще что — все эти восемь за столом как будто дрожали, и они дрожали как будто и под столом. И все они за столом были мальчики, среди них не было ни одной девочки. И хоть вокруг них все были как бы дураки, но даже дуракам было видно, что это — плохие мальчики. И один плохой мальчик сказал: "Вот дверь, а вот щель, сунешь пальчик будет зайчик", и один дурачок сунул, пальчик хрустнул и превратился в блинчик. И к этим плохим мальчикам за столом нужно было привести де-

вочек в наручниках. И когда девочки будут плакать, мальчики будут смеяться. И там будет такая ледяная горка со ступеньками — прямо на территории монастыря, который из Соловецкого опять превратился в Соловки. И девочек в наручниках опять будут спускать с этой плохой горки, а чтобы снег лучше пропитался кровью, девочек не сразу будут оттаскивать, им дадут еще немножко полежать, чтобы их кожу прихватило морозцем, чтобы она покрылась такой кровавой ледяной корочкой и чтобы эта корочка хрустела, когда по ним будут ходить мальчики в сапогах.

А ведь с ружьем нельзя баловаться, если оно появится в первом акте, то в третьем оно выстрелит, это классика. Танк — это модерн. Неприятная машина, он зеленый. У него есть гусеницы. Он стреляет. С крышкой, как кастрюля. Он ревет. Танкисты — это такие люди, которые находятся внутри танка. Они тоже зеленые, они внутри для того, чтобы убить тех, кто снаружи. В танке тесно. У танка есть гусеницы. Гусеницы для того, чтобы давить. Гусеницы устроены как гусеницы — насекомые. Они ползают. Гусеницы-насекомые тоже зеленые, чтобы маскироваться от врагов. Враги гусениц — птицы. Они летают. Над танками летают самолеты. Самолет может подбить танк. Гусеница не может подбить птицу, потому что внутри птицы не сидит человек, — "куплю комнату или квартиру", "куплю дачу", "меняю зимние мужские ботинки на женские трусы".

Улитка висит на собственной слюне. Она спала, проснулась и поползла. Она вся состоит из себя самой — из улитки — без крови и без костей. Аэродром, стадион, вокзал, площадь, все кишат и все состоят не только из людей, но из крови, костей и улиток.

Н.-В. звонил из города, который был железным от дождя и мокрым от танков, "Ничего не слышно", — сказала Вера. "Приезжай", — сказала она.

Полночь, и дети спят, а взрослые боятся заснуть и не проснуться или проснуться где-нибудь там, где уже нет ничего такого, что напоминает что-нибудь, что можно узнать.

Н.-В. состоял из такого подвижного шара мокрых птичек, которые отряхивались прямо на лету, это был целый шар брызг, это была очень шумная стая. "Тише, — сказала Вера, — она спит". И почему-то мокрый черный цвет был еще чернее сухого черного цвета.

"Ну что там?" — "Дождь".

Колесо, государственная машина на колесах, велосипед — это государственная машина — для людей, но на самом деле — это люди для гос. машины. Она — для них, а оказалось, что это они для нее. Любые для любой. И она для любых. Эта машина железная. И люди в хвосте и в голове этой машины тоже железные, хотя они и люди. И эта машина много: ест, спит, кусается, блюет. Нет, только поэзия и частная жизнь!

"А как же моя выставка?"

Сверху на Н.-В. было все мокрое, а под этим мокрым было тоже все мокрое.

"Ты разве не на машине?" — спросила Вера.

А потом он вышел из ванной, и он уже был мокро-горячим, а не мокро-холодным. Как же грустно! Грусть, куда же несешься ты, дай ответ! Не дает ответа, и все до одного виноваты перед всеми, и все повязаны виной, и есть ли хоть один, кто бы не был виноват хоть перед кем-нибудь одним? "А кто там был?", и такие там были, которые потом били себя в грудь, что они там были, мама мыла Милу мылом.

Любовь, то есть страсть, то есть постель, да еще такие вопросы, "Вера", — сказал Н.-В., он любил так — сказать "Вера" и вдруг замолчать. "Что ты хотел сказать?" И вместо вопроса просто вопросительно смотреть, и она не могла смотреть ему в глаза, когда он так смотрел. И не надо было смотреть, потому что они уже целовались. Потому что он целовал ее так, как ей больше всего хотелось. Как будто он не справлялся с ней, и, чтобы справиться с ее губами, он брал их в руки, и только потом из собственных рук он брал их своими губами. И даже безвкусный язык был вкусным. И как будто этот поцелуй был пределом близости. И как будто ничего, кроме этого поцелуя, не могло так растравить и насытить. И вдруг Н.-В. сказал: "скажи мне, только не ври, что это значит?" — и он вдруг из собственного рукава вытащил то самое желтое платье, которое на самом деле было у него в сумке, которая была у него под рукой. Это было так неожиданно, тем более что Н.-В. был в халате и как будто платье это было у него прямо под халатом, а не в сумке. И она такого не ожидала. Но он не ожидал, что она вдруг выхватит у него это платье. И как только она выхватила его, она откинула его от себя с такой ненавистью, что оно как сквозь землю провалилось. Хотя на самом деле оно провалилось между столиком и кроватью в такую щель, куда оно на самом деле не могло провалиться, но оно тут

же провалилось в — темноту, и когда Н.-В. стал дергать за веревочку, чтобы включить свет, и когда Вера сказала: "Не работает", и когда он включил настольную лампу, и бледно-желтый свет едва осветил угол комнаты, и Верино лицо было в темноте, и вдруг он подумал, что все, что она сейчас скажет, будет неправдой. И что она сейчас будет говорить, а он слушать, а потом он будет говорить, а она слушать, а потом они будут любить друг друга. Они никогда так еще не говорили друг с другом, как сейчас:

— Правда, — сказала Вера, — ведь на самом деле, главное не правда, а просто за что-то можно простить, а за что-то нельзя.

— Да.

— И вот ты, например, есть что-то такое, за что ты меня бы не простил?

— Да.

— За что?

— Если бы ты меня разлюбила.

— А если бы я тебе изменила?

— Я бы тебя ненавидел за это.

— Но простил бы?

— Не разлюбил бы.

— А если бы ты сам меня разлюбил?

— Тогда бы я тебе это не простил.

— А знаешь что?

— Куда он исчез?

— Я думал, ты знаешь, четыре дня его нет, ни его, ни машины.

— Расскажи мне все, только не ври, скажи мне правду, как все это было с самого начала, — у Н.-В. были такие бедные глаза, такие горькие, с таким настоящим горем в глазах.

— Я ничего не знаю, — сказала Вера, — я ему отдала платье, когда он меня провожал, просто потому, что оно было не мое.

Она лепетала, о, если бы она говорила, но она лепетала, и ее жалкий лепет разжалобил его.

"Ты мне веришь, я переоделась, отдала ему платье, и он уехал, нет, мы не ко мне, мы к нему приехали, я видеть не могла это платье, я переоделась в его одежду, отдала ему платье и уехала, вот его одежда, посмотри, — Вера достала штаны и рубашку Свя, — вот, ты это узнаешь, ты мне веришь, его похитили, его убили и ограбили".

"Да, мы вместе приехали к нему домой, я устала и легла

спать, а утром проснулась, его нет, никого в квартире нет, я захлопнула дверь и ушла”.

Н.-В. все также смотрел и ничего не говорил.

”Да, мы приехали вместе, и я оставалась в этом самом платье, и мы только обнялись, и я заснула в этом платье, а утром оно было мягое, я переделалась и ушла, а его уже не было, ты веришь?”

”Да, мы долго лежали и разговаривали, а потом ты позвонил, а потом он мне сказал, что полюбил меня, а то, что ты думаешь, этого не было”.

”Да, я увидела, что он несчастен, и когда он сказал, что полюбил меня, он все равно был несчастным, думай что хочешь, я тебе больше ничего не скажу”.

”Тогда я тебе скажу, — и Н.-В. так близко подошел к Вере вплотную, и, когда он заговорил и она почувствовала его дыхание, это было такое чувство, как будто она сама говорит, — вы приехали, и ты оставалась в этом платье, вот в этом, — и Н.-В. выдернул его из темноты, и оно было особенно желтым при желтом слабом свете, — и когда я позвонил, ты была с ним, а он сказал, что ты у себя, но я тебе звонил, там никого не было, и потом он тебе сказал, что полюбил, и потом было то, о чем ты не хочешь говорить”.

”Я не понимаю, при чем здесь платье? — сказала Вера. Эта попытка длилась полночи, и полночи прошло наяву, а полночи во сне, и во сне длилась эта попытка, только мир, который наяву был снаружи, во сне почему-то был внутри. И если наяву было совсем непонятно, что делать с этим миром снаружи, то во сне совсем было непонятно, что делать с этим миром внутри. Внутри были солдаты, которые шагали внутри и стреляли внутри, и внутри кричали люди, как же они страшно кричали внутри, и внутри был этот желтый свет, слабенький и тусклый, и тоже нечем было дышать внутри. И не было выхода. Ты внутри — выходишь — оказываешься снаружи. Ты снаружи — выходишь — оказываешься внутри. А настоящего выхода не было.

Выхода куда-то, где не было бы ничего похожего на то, что внутри, на то, что снаружи.

Везде было одно и то же, и если человек был убит снаружи, то он оказывался убитым внутри. И ничего от тебя не зависело, не было ”я” ни внутри, ни снаружи. Внутри подавали электричество, там были магнитные полюса и давление. И там внутри летел самолет, из которого уже выпала бомба, которая уже вот-вот должна была взор-

ваться снаружи. И было совершенно ясно, что, несмотря на то что эту бомбу сбросили внутри, она взорвется снаружи. И внутри были слышны голоса снаружи.

7

Куда может деться человек? Куда-нибудь исчезнуть. Но куда может исчезнуть человек? Куда-нибудь деться. И живому человеку легче куда-нибудь деться. А мертвому — исчезнуть. И человек, пока он живет, куда-нибудь денется, а мертвый — исчезнет.

Кончилось долгожданное лето. Пришла долгожданная осень.

Кончилась заварушка — начались вернисажи, презентации, очереди, дожди; и хлеб то кончится, то начнется, и где-то рекой течет вино, только где та река?

И там, где кончилось освещение, там кончились и жилые дома.

И по черной-черной улице шел человек в черном-черном пальто.

И он подошел к черному-черному дому и вошел в черный-черный подъезд. Он поднялся по черной-черной лестнице и позвонил в черную-черную дверь.

Ти-ши-на!

И по черному-черному коридору в черную-черную комнату вкатился черный-черный гроб. И там стояла черная-черная кровать, покрытая черным-черным покрывалом,

ти-ши-на...

И в этом черном-черном гробу лежал черный-черный скелет — отдай мое сердце!

Немного черной икры, чашечку черного кофе, красота Черного моря,

ти-ши-на!

И в этот лес почему-то вели не дороги, не тропинки, а туннели, и в самих туннелях было темно, они только слабо освещались тем далеким светом, который был в конце туннеля, но этот свет был бесконечно далеко, и сколько бы к нему ты ни шел, он так и оставался так же далеко, но все равно освещал туннель. И в этом туннеле было сыро, и земля под ногами была неровной и тоже сырой. И по этим туннелям шли люди, но в темноте их было трудно различить, только по шагам и еще по каким-то невнятным звукам, которые они издавали, мож-

но было определить, что это идут люди. Они шли небольшими группами и поодиночке, но расстояние между ними не увеличивалось и не сокращалось. Они не удалялись и не приближались друг к другу. И в одной такой группе Вера узнала того отца, которого раздавил автобус, и с ним была соседка, которая в момент смерти так похорошела, еще мальчик, который утонул, и еще черная собака, которая в момент смерти была уже мертвой. И Вера поспешила к этой группе, она хотела их догнать. И она сама по себе была легкой, но движения ее были тяжелыми, и она никак не могла приблизиться к ним. А над этим туннелем шумел лес, даже был слышен ветер, как он раскачивает деревья и как шелестят листья, и даже было слышно птичье пение, и лесной шум был самым настоящим живым шумом над головой.

И в том подземном переходе было темно, и лестница освещалась только слабым уличным светом, а на улице уже сгущались сумерки, и люди спотыкались на этой лестнице и ругались, но все равно шли, а дальше за лестницей, где этот подземный переход расширялся, там уже было светло, стояли газетчики, и рыжий мужик ужасно пел, и ему кидали мелочь, он орал и хотел петь, и над ним даже смеялись, но он все равно продолжал петь своим тяжелым визгливым голосом. Продавали цветы, трусы и что-то черное в жирных бумажках. И те, кто спускались по лестнице и выходили на свет, были забытые Богом люди, как будто у звезд, в перспективе, где пересекаются две параллельные прямые, в этой точке пересечения был Бог, которого что-то отвлекло, это было с его стороны всего лишь одно легкое движение в сторону, туда, где не было людей. И люди, на миг забытые Богом, шли по инерции, бессмысленно на свет, они, как мотыльки, давились в темноте, чтобы попасть ближе к свету. Но что же отвлекло Бога? Какой божественный свет привлек его, что он отвлекся от людей, и какая божественная музыка привлекла его так сильно и всю музыку унесла с собой, что в подземном переходе остались только самые тупые звуки, которые выдавливал из себя поющий мужик.

И там была речка, а через речку мост, а за речкой сад, и в том саду — гусеницы. И если гусеницу проколоть иголкой, из нее не получится бабочки, если она умрет не просто от смерти, а от насильственной смерти — от лопаты, каблука или ядохимикатов, то она уже не взлетит, только ее собственная смерть сделает из нее бабочку; и

для этого гусеница ложится в гробик, укутывается в саван, и если какие-нибудь китайцы не разматают ее созревающую душу, то душа выпорхнет, и полусозревшая душа — это нитка, а созревшая душа — это бабочка, и удивительно, но душа оплодотворяет цветок, который всего лишь на порядок ниже бабочки, всего лишь цветок, как будто это младшая душа. Это как если бы воскресший человек оплодотворял зверюшек, но самого живого человека оплодотворял человек. И если гусеницу убить, то бабочки не будет, но ведь если человека убить, то бабочки тоже не будет, просто никто не видел ту бабочку, которая вылетает из куколки, которой человек делается как только умрет. Но ведь даже если из насильственно убитой гусеницы не вылетит душа и не полетит оплодотворять цветок, то ведь из насильственного убитого человека тоже не вылетит бабочка и не полетит совокупляться со зверюшками. И как будто гусеница, когда умрет, будет состоять уже совсем не из гусеницы, а из чего-то другого, но чтобы получилось это чего-то другое, должна умереть живая гусеница. Она должна сама умереть, только тогда из нее самой вылетит с а м а душа. А если она умрет не сама, а ее проткнут иголкой, то из нее не получится чего-то такого, из чего потом вылетит бабочка. И если этим отличается жизнь от смерти, то чем отличается гусеница от человека — возрастом или шелком?

Н.-В. обещал и сдержал обещание — устроить выставку. Сначала Вера не торопила. И он не торопился. Но время его торопило. И он поторопился. Это была не галерея, не салон, ему удалось арендовать мастерскую. Это было такое помещение, о котором можно только мечтать. Под самой крышей. И оно состояло из двух половин — как бы интимной и официальной. Над одной половиной был шарообразный стеклянный купол, и в этой официальной половине до самого вечера был дневной свет, а над второй половиной была крыша довольно низкая, и свет довольно тусклый — это и была интимная половина, на полу был ковер, стоял диван, столик, и над столиком висел низкий светильник, оставленный здесь бывшим хозяином, который навсегда уехал, потому что там, где он теперь жил, тоже был светильник, оставленный ему бывшим хозяином, который тоже навсегда уехал.

— Завтра ты будешь знаменитой, — сказал Н.-В. Вере, когда они поднимались в мастерскую, — осторожно, не упади..

И чтобы добраться, нужно было идти под самой крышей по таким качающимся доскам, которые лежали на других досках, и все это вместе слегка покачивалось.

— Но как же сюда пройдут?

Картины уже висели. Н.-В. расположил их так, как считал нужным. Он почему-то считал, что самые лучшие Верины картины должны висеть в самых невыгодных местах, а не самые лучшие почему-то в самых выгодных.

— Почему? — спросила Вера.

А Тютюнины картины висели все вместе на одной стене и все на одной линии, они были все одинакового формата, даже в одинаковых рамках, и как будто они были все одинаково написаны. Выглядело это очень аккуратно.

Вера выглянула из окна, и внизу был город, и огоньков было меньше, чем людей, но сверху казалось, что людей меньше, чем огоньков, потому что огни — светились, а люди — нет. И город был нежным и грубым. И он состоял из людей: в автомобилях, на ногах и без ног. И все живые люди были вертикальные, а мертвые — горизонтальные.

— Может, ты еще кого-то хочешь пригласить? — спросил Н.В.

— Да, чтобы тут были все, кого так жалко, что их тут нет. Чтобы была мама с Ван Гогом с отрезанным ухом, и чтобы она ему перевязала голову и пожалела его, и чтобы был дон Жан, и чтобы он был бедный, чтобы его было жалко, как зайчика, и чтобы, как зайчика, его можно было взять за уши и подержать на весу, и чтобы была дочка с куклой, и тускло светились лампочки на какой-нибудь маленькой станции под снегом — ночью, и еще был звук — это обязательное условие контракта — скребущей лопаты, когда дворник чистит асфальт ранним утром в двадцатиградусный мороз, и чтобы этот звук, свет, заячьи уши с птичками были в комнате, как штык, и чтобы этот штык стоял между каждым, кто покупает картину, и каждой картиной, потому что тот, кто покупает, пусть знает, что он покупает ее вместе с мамой, Ван Гогом с ухом, и кроликом с ушами, и со скребущимся дворником с лопатой, с лампочками на станции.

— А кого ты пригласил?

Н.-В. перечислил.

Но если ко всему относиться просто и легко, то, может, все будет проще и легче, но ведь те, кого убили, и те, кто сами умерли, — это не одни и те же, потому что те, кто

сами умерли, — они воскреснут, а те, кого убили, — никогда. Никогда. Никогда их больше не будет. И даже когда ничего не будет, их тоже не будет, и даже когда не будет уже ничего, то все равно хоть что-нибудь будет, а их так и не будет. И греки вымерли — поэтому, потому что воскресших было мало, а мертвых много, и мертвые были убитые и абсолютно мертвые, просто мертвецы. И римляне — поэтому. Но где хоть один римлянин? Нет его ни одного — нигде, ни в Америке, ни в Риме — нигде. Даже морские коровы, которые вымерли, как греки, тоже все были перебиты, потому что были вкусные. А греки были невкусные, но тоже были перебиты римлянами, которые были невкусные, но тоже перебиты... И у всего искусства — абсолютно — отрезано ухо, и искусство — вкусное, и его хватают толстые и тонкие дяди и туманные тети, да и не в этом дело, а в сумерках, которые не так быстро сгущаются на снегу, и птички, которые не сеют, не жнут, — но едят червяков, а червяки тоже люди.

А люди — величественны, и человек — это величина, но разве человек — постоянная величина. Или эта величина имеет погрешности? И вдруг добро — это такая же погрешность, как и зло.

Вера налила себе кофе с молоком, и, когда она допила кофе, оказалось, что она выпила абсолютно весь кофе, оставив в чашке абсолютно все молоко. И шоссе в четыре часа утра было абсолютно пустое, пожалуй, там не было не только машин, но даже уборочных машин, тех, что убирают грязь, оно было абсолютное шоссе под небом, без погрешностей, и ему не было конца, этому шоссе.

И животные в отсутствие мороза ходили там, то есть те животные, которые любили тепло: аисты, косули и даже те, которые не любили: травоядные крысы, небьющиеся шубы, кроличьи шапки, и вот что еще — по этому шоссе, которое было не просто шоссе, а его пересекала трамвайная линия и пешеходная дорожка у светофора — и там был дымок. И в этом дымке скопились не то чтобы люди, а то, что могло бы стать людьми, если бы человек был постоянной величиной, и в транзитном облачке света выделилась не то чтобы душа, а собрание (ну как собрание сочинений) всего, что присуще человеку, хотя самого человека и не было, это была гадость и благодать, но без плоти и без формы — просто в чистом виде, а форма и плоть были за трамвайной линией — всего через несколько часов — часов так в восемь прямо на

остановке, где уже стояли люди в виде людей и готовились к Новому году: без хлеба, без дымка, но со льдом, присыпанным песочком, потому что вместе с трамваем приближался 1992 год, и даже в метро, где стояли солдаты на станции с вещевыми мешками, почему-то с белыми мешками, и если оглянуться на них с лестницы, то они все уже стояли убитые на этой станции метро, они были расстреляны, и никакое каббалистическое число, обозначающее человека вообще, не могло им помочь, потому что человек не постоянная величина в метро.

Человек размножается посредством любви, а все остальные размножаются посредством прыжков или плавания, кроме гомосексов, про которых Шекспир сказал бы, что это животное об одной спине.

Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир — это пример из классики.

Кто испробовал воду из пива, будет вечно стремиться в сортир — это пример из жизни.

К двери кто-то приближался, и это был тот, кто постучал: тук-тук, "добрый день" — это был иностранец с прибалтийским акцентом. Почему-то у иностранцев украинский и негрузинский акцент. Даже если иностранцы — итальянцы, которые ближе к грузинам, они все равно говорят как в Прибалтике, даже канадские украинцы говорят как в Прибалтике, и даже волжские немцы — все как в Прибалтике. А может, это не иностранцы говорят как в Прибалтике, с прибалтийским акцентом, а просто прибалты — самые близкие к нам иностранцы. Но зато за этим прибалтийцем-иностранцем на свету стоял молчаливый человек в тени.

И когда Н.-В. впустил сразу двух гостей, выяснилось, что этот иностранец с прибалтийским акцентом действительно из Прибалтики и он в качестве переводчика, а абсолютно молчаливый — это и есть покупатель.

— Но вернисаж-то завтра, — сказала Вера.

Картины висели. И они висели наверху, а покупатель с переводчиком ходили внизу. И в том, как покупатель шел немного впереди, и в том, как переводчик немного отставал, что-то было. Например, в этом было то, что если бы покупатель знал язык, то он бы никогда не пошел с этим переводчиком, вот что! Он бы с ним не дружил, просто покупатель, покупая картину, покупал немного и переводчика, но зато и переводчик, если бы у него были деньги, не пошел бы с этим покупателем, и

получалось, что все люди до одного — куплены; но кем? Оба гостя были молчаливы, кажется, поглощены. А вот если представить, что да, я богатый человек, и богат так, что могу позволить себе не видеть людей, и богатый человек нанимает себе повара, садовника и шофера, и в полном уединении живет в своем доме, обходясь только услугами повара, садовника и шофера; но повар, садовник и шофер уже обожают свою жертву, и каждый из них в отдельности может ее прикончить: шофер может придавить, повар сварить, садовник закопать, но, сговорившись все вместе — повар, садовник и шофер, могут убить жертву в три раза быстрее — закапывая сваренно-задавленного. Но потом повар, садовник и шофер могут не поделить деньги, и выиграет из них тот, кто будет быстрее действовать, то ли шофер быстрее задавит повара, то ли повар быстрее сварит садовника, то ли садовник быстрее закопает шофера, или же они одновременно сварят, задавят и закопают друг друга.

И покупатель выбрал. Не самую лучшую картину, но которую Н.-В. повесил на самое лучшее место. И Вере ее было меньше всего жалко. Он предложил за нее триста долларов. И как-то вдруг все вместе стали обсуждать гонорар по-английски, так что было непонятно, зачем нужен переводчик. Триста долларов, конечно, очень мало, а также надо иметь в виду таблицу

1853 г.	1992 г.
1,33 доллар — 1 руб.	1 доллар — 100 руб.

Какая-то нехорошая таблица, неприятная, а в 1864 году отменили крепостное право.

Покупатель расплатился с Верой, и тут наконец переводчик заговорил. Он отвел Веру немного в сторону и предложил ей рубли за доллары. И Вера согласилась только потому, что покупка наконец приобрела законченную композицию. И у переводчика здесь было свое место, он в буквальном смысле переводил рубли в доллары. И они ушли, а они остались, а вы еще не пришли, а ты уже никогда не придешь, зато он, она, они — придут, а вот ты — нет.

И получив свои небольшие деньги и обменяв их на большие рубли, Вера с Н.-В. вышли на улицу, составленную из домов, подворотен, кошек в подворотнях и

людей в окнах, и там был магазин, и они зашли в него как путешественники, которые судят о богатстве города по магазинам. В магазине были какие-то корочки хлеба за сто рублей и горошины за двести — и все, и больше ничего, и еще, кроме продуктов, там были люди, и глазки у них были грустные и тусклые, а на голове некрасивые шляпы и платки, а в руках сумки, а под ногами мусор, а в голове у каждого свое, а в желудке тоже у каждого свое.

Все же Н.-В. купил набор из трех предметов. И когда Вера с Н.-В. вернулись с покупками обратно, оказалось, что один предмет открыть труднее всего. Во всей этой огромной галлерее не оказалось штопора, его не было ни на столе, ни под столом. Но была отвертка. И где-то на окраине памяти в сюрреалистическом натюрморте купалась отвертка в бутылке с красным вином, это было красиво. Они сидели напротив друг друга: Вера, и Н.-В., антрепренер и художник, покупатель и работодатель; потому что Вера и была работодателем, потому что она давала ему работу. И они сидели и молчали.

— А завтра ты будешь знаменитой, — сказал Н.-В., — считай, что эту картину ты просто подарила.

И он говорил, а она помалкивала, не потому, что ей не о чем было говорить, а потому, что ей нечего было сказать.

И тогда она стала его рассматривать; и пока она его рассматривала, она заметила, что чего-то в нем нет. И она стала мучительно всматриваться в него, стараясь определить, чего-же все-таки в нем нет. И кажется (великое слово к а ж е т с я, потому что иногда кажется, что вокруг привидения, мертвецы и русалки, а также кустик вдруг возьмет и покажется зверюшкой, а тень человека окажется человеком), в Н.-В. не было отца. Как будто отец в нем все это время был и вдруг из него вышел, и он остался один и совершенно без него — без отца. И каким же он был бедным в этот момент, в нем на самом деле не хватало телесности, даже плоти, нет, даже материи, которая в нем была, и этой натуральной материей был отец, как будто он в нем сидел и вдруг его вынули. И, не увидев в Н.В. отца, не обнаружив в нем Свя, Вера увидела в самом Н.-В. жуткую перемену — он изменился, когда отец куда-то исчез из него, куда-то из него вышел. То есть он сидел напротив нее без отца. И Вера увидела, что, кажется (абсолютно великое слово к а ж е т с я, потому что вот только солнце покажется, а за ним сразу

луна покажется и в бутылке с красным вином покажется отвертка, и хозяин, к которому ты идешь в гости, покажется тебе гостем, которого ты можешь принять в своем доме, много чего покажется), она его абсолютно не видела раньше, это был совершенно другой человек.

— Что ты так на меня смотришь? — сказал Н.-В., даже в голосе его не было отголоска Свя. И даже интонация его была не его. И немного налив Вере вина из бутылки, где плавала отвертка в вине, и немного отпив из бокала, где плавал кусочек пробки, Н.-В. подошел к Вере,

— Подожди, — сказала Вера, — я тебе что-то хочу сказать.

— Потом.

— Нет, мне кажется (великое слово, — "кажется", — и мир, который вокруг) — он тоже только кажется, и кажется, что стеклянное облако садится на пушистую землю — мне кажется, Свя умер.

— Почему?

— Так мне кажется, — сказала Вера.

— Что значит — кажется?

— Причем, своей смертью.

Потому что смерть бывает своя и не своя, но даже своя смерть бывает собственной.

— Причем своей собственной смертью, — сказала Вера.

— Я тебя хочу, — сказал Н.-В., — и я хочу с тобой делать то, что я хочу.

— А если я не хочу?

— Это не имеет значения, — сказал Н.-В., — что-то в тебе есть особенное сегодня.

— Что?

— Улыбка. — И он поцеловал ее в улыбку.

И вот еще что: обнять — линию плеча, вые... движение и дотронуться до выражения лица.

И еще он смотрел на нее как антрепренер на художника, как профессионал на профессионала. Но любая профессия — это игра, а в игре есть свои правила, а в правилах свои исключения. И профессионалы объясняются на своем языке — на профессиональном, а остальные люди на обычном — на человеческом, и часто люди даже не понимают профессионального языка, потому что между профессиональным языком и человеческим — бездна, равная человеческой жизни. И профессионал уважает профессионала, а человек любит человека. Но между человеком и профессионалом — бездна. А может,

так много зла оттого, что так много профессий. Ведь профессий столько, сколько оттенков зла. А есть уж совсем злые профессии: безработные, политики, убийцы, и волкодавы (те, кто дают волков), и душегубы (те, кто губят души); а крестьяне добрые — они сеют и жнут, но не летают, как птицы, которые летают, но не сеют и не жнут, как крестьяне. И работой называется то, за что платят деньги, а то, за что не платят деньги, — называется удовольствием. И если, например, ты раз — и убил, и тебе за это раз — и заплатили, то это работа, а если ты убил бесплатно, то это удовольствие. И часть людей убивают ради работы (за деньги), а часть людей — ради удовольствия (бесплатно).

А при ярком солнце в воздухе бывают цветочки.

Что-то было абсолютно чужое в Н.-В. Это было удивительно. Но самое удивительное, что это возбуждало. Как будто Вера никогда его раньше не видела и вдруг накануне своей выставки, в этих странных апартаментах вдруг увидела. И как будто он ее знал, а она его нет. И как будто он ее любил, а она его нет. И как будто бы он ее — он, а она его — не она. Вот и все. И это все — вот. Они сидели напротив друг друга, пока не стало таять. Как только сошел снег, центр Москвы раз — и превратился в центр клоаки. Улицы, заваленные барахлом, состояли, собственно, из самих барахольщиков и самого барахла. Особенно издалека. И особенно издалека негде было пройти вблизи. Так казалось. И так было на самом деле. Это были чулки с мясом, сломанные телевизоры с презервативами, китайские сервизы со средствами против тараканов, репчатый лук в дамских сорочках. Это была дрянь, купленная и сворованная оптом, украденная партиями и штучно. Эта гигантская барахолка-город и была одним гигантским человеком-барахлом с чулочными кишками, неаппетитными овощами в грязном желудке, с подпорченным механизмом уныло бьющегося сердца, с крестом на шее, отлитым из пятикопеечных медяков, и за всю историю человека это впервые был человек-натюрморт — м е р т в а я натура конца 20 века. А к власти все шли и шли дети из бедной крестьянской семьи, чтобы сразу из бедного стать богатым, чтобы сразу раз — и два. И этот бедный тащил за собой своих бедных родственников и бабенок, и новый кабинет нищих богател, а люди нищали, и отъевшийся кабинет уходил, уступая дорогу новому нищему кабинету — аривидерча! До следующей корриды!

— В сущности, я тебя совсем не знаю, — сказала Вера. И чтобы любить человека, надо в нем что-то убить. И в Н.-В. был убит Свя. Буквально. То есть до последней буквы.

Вера разделась и легла на бедный диванчик, укрывшись каким-то тощим одеялом. И Н.-В. лег как-то поперек, потому что диван был скорее коротким, чем длинным, скорее широким, чем узким.

— Не сегодня, — сказала, когда он еще раз сегодня поцеловал ее. И Вера с Н.-В. касались друг друга только потому, что было тесно, а больше не почему. И в этом тусклом свете висели картины, которые она хотела продать и получить за них деньги, а кто-то хотел купить и потратить деньги, потому что деньги существуют для того, чтобы их тратить, а также чтобы их умножать, а также для того, чтобы превращать их в солнце и вино в объятиях любимого, а также — время — деньги, которые существуют для того, чтобы убить время, и чем больше денег, тем быстрее можно убить время и в конце концов быть убитым временем.

Страсть — самое печальное занятие, потому что в этом занятии нет начала и нет конца и в нем нет золотой середины. И в страсти есть только ритм.

8

Картины потихоньку продавались, а жизнь потихоньку шла, потому что в жизни редко бывает, чтобы в один день получилось все, а на другой день — все остальное. И одна картина была даже продана не за столько-то, а больше, хотя была хуже и меньше; и сначала почему-то были проданы не самые лучшие Верины работы. А самую лучшую пока никто не купил, хотя она была не самая дорогая. Хотя самую дорогую купили, и купили также самую большую, и почему-то две самых темных и одну самую светлую. Зато самую любимую — нет. Вера даже решила, что не будет продавать и снимет с экспозиции, но Н.-В. просил ее не делать этого.

Конец весны был похож на начало осени, только в самом начале весны воздух был золотой от солнца, а небо синее, но не от того, что внизу было море, моря как раз не было, внизу был серый грязный город, а над ним синее чистое небо. И только один раз в конце весны была настоящая весна. Вот в такой денек Н.-В. и оказался на

даче у Василькисы. Они не виделись больше месяца, и Василькиса скучала по нему, она уже целый месяц жила на даче и скучала на даче. И вообще, когда Н.-В. увидел ее после разлуки, вид у нее был скучный. И чтобы развеселить ее, он стал ей рассказывать, какая у него сейчас трудная жизнь.

Свя исчез. Но что говорить о Свя, когда полстраны исчезло; люди куда-то подевались; даже не те, кто свалили, и не те, кого убили, а те, которые как сквозь землю провалились. Были — и нет их. И Свя был — и нет его. Исчез вместе с автомобилем. Значит, он куда-то поехал на автомобиле и пропал вместе с ним. Но куда поехал? Но куда пропал?

А вдруг его кто-то убил из мести. Но кто ему мог мстить и за что? И еще Н.-В. рассказал Василькисе о Снандулии. — В ту комнату, где умерла соседка, помнишь, я тебе говорил, — Василькиса плохо помнила о соседке, — соседка, которая в момент смерти так похорошела.

— Ну и что? — сказала Василькиса.

— Так вот, в ту комнату вселили другую соседку.

— Ну и что? — не понимала Василькиса.

— Злую соседку, — подсказал Н.-В.

И он рассказал историю о злой соседке путано и невнятно: что, когда ее вселяли, она была как будто одна, а потом оказалось, что у нее есть муж и к тому же еще ребенок. И эта новая семейка хочет теперь получить комнату Снандулии, а Снандулию переселить в другую комнату в другом доме. И еще злая соседка сказала, что если Снандулия не согласится, то вообще может остаться без комнаты, потому за ней стоят о н и.

— Кто это о н и? — спросила недогадливая Василькиса. Но объяснить, кто такие о н и, трудно не только Василькисе, но и человеку догадливому.

Прежде всего — это некая сила (нечистая?), и эта сила имеет цель и средство, и рога, и хвост. Вообще никто никогда не видел, где о н и живут и живут ли вообще, чем питаются и питаются ли вообще, и материальны ли о н и вообще. К примеру, о н и могут выключить свет, воду и телефон, о н и могут наградить, обласкать и удавить, и даже так: сначала обласкать, а потом удавить; или так: слегка приласкать, а потом слегка придушить. И вот не сама злая соседка, а о н и, которые за ней стоят, сказали, что лучше всего Снандулии согласиться на однокомнатную квартирку где-нибудь на окраине Москвы. И когда Н.-В. сказал ей: "Не смей этого делать", Снандулия

сказала: "Они все равно заставят", и Н.-В. повторил: "Не смей".

— Значит, ты ей опять ничего не сказал? — спросила Василькиса.

— О чем? — не понял Н.-В.

— О нас.

— Не мог я, — соврал Н.-В., — понимаешь.

— Понимаю, — сказала Василькиса, которая внезапно поумнела.

И, поумнев, она вдруг поняла, что начинает его уже почти ненавидеть за все, что он сделал, то есть за все, что он не сделал, то есть за все, что он мог бы сделать для нее, а не сделал ничего.

— Ты ее любишь больше меня, — сказала Василькиса.

— Кого? — попытался поговорить Н.-В.

— О чем тут говорить, она для тебя — все, а я — ничего. Действительно, о чем говорить. Бессмысленно говорить о том, кто кого больше любит, а кто кого меньше, кто лучше, а кто хуже.

— Хочется прогуляться, — предложил Н.-В.

Василькиса не захотела, и Н.-В. вышел из дома, из сада.

"Куда ты?" — окликнула его Василькиса, когда он уже был у калитки.

"Пройдусь", — сказал он. И он прошелся по дачному поселку, который был не такой уж большой, а может, Н.-В. просто быстро шел, и поселок быстро кончился. И кончилось все, что относилось к поселку: участки с соснами на участках, газоны, асфальт, и вдруг началась деревня, как совсем другой мир: проселочная грязная дорога, грядки с торчащим лучком и укропом, и не было никаких намеков на сосны, которые были выкорчеваны для жизни крестьян. И на зеленой лужайке стояла привязанная черная коза, в вымени которой было уже два пакета молока, а вокруг нее скакали две беленькие козочки. И Н.-В. остановился. Потому что эти козочки были даже не совсем козочки, а они и были самой жизнью. И эта жизнь щипала травку, и еще у этой жизни пробивались рожки, и она была абсолютно молочной, эта жизнь, без малейшего намека на страдание, в этой жизни был только восторг жизни. И Н.-В. просто был тем, кто случайно подсмотрел эту в чистом виде жизнь. Просто жизнь, как момент жизни, но момент абсолютный.

И как будто, когда Н.-В. вернулся на дачу, они с Василькисой не сразу легли. И, не сразу заснув, он как будто увидел на окраине чистого вымысла такую круг-

люю стеклянную галерею, то есть такой довольно большой стеклянный коридор в форме круга. И если начать путешествовать по этой галерее из какой-то одной точки, то и вернешься в эту же точку. И начиналась эта галерея с цветов, это были всевозможные букеты и букетики, все очень милые и красивые, потом шли стеклянные витрины с мебелью, дальше книги, алкоголь, фрукты, потом всевозможными способами приготовленное мясо, и потом почему-то опять фрукты, и после фруктов такой небольшой отсек в галерее с надписью "эбля", и как будто Василькиса куда-то делась и появилась Вера, и как раз она сказала: «Все правильно, но первая буква "е"». И на первую букву "е" они вошли туда, где было возможно сделать любому с любой и любым способом. Но за валюту. И она была. И они воспользовались. И, расплачиваясь, Н.-В. сказал контролеру: "В названии ошибка".

И, внезапно проснувшись и обнаружив рядом с собой серьезную Василькису, Н.-В. даже рассмеялся от полного несоответствия между сном и действительностью. Но ведь хоть что-то должно быть настоящее из того, что было во сне, но хоть кусочек сна можно себе позволить обнаружить в действительности. На столе лежал фрукт из области сна, и этот фрукт был грушей. И Н.-В., тупо уставившись на грушу, смеялся.

— Не понимаю, — сказала Василькиса, — что же смешного в груше.

При чем здесь груша? Груша здесь совершенно ни при чем.

Н.-В. призадумался и не мог понять, зачем же он переперся на дачу к женщине, которую он не любит, и зачем он ей почти два года морочит голову.

Внезапно поумнев, Василькиса все же не похорошела так же внезапно. Все-таки только что-то одно, относящееся к чему-то одному, может поразить в жизни один раз. А потом это уже поражает как то, что уже поразило. Первый возлюбленный, первый муж, первый ребенок, первая и последняя мама.

— Я больше так не могу, — сказала Василькиса. Она не могла так, но она не могла и по-другому.

— Если ты не можешь жить со мной, так и скажи, — сказала Василькиса.

Удивительные слова. Они ничего не значат, они даже не выражают мысль. Мысль выражает интонация. Если бы Н.-В. так и сказал, она нашла бы что сказать.

— Давай тогда расстанемся, если тебе от этого будет лучше, — сказал Н.-В.

— Ты сам знаешь, когда мне будет лучше — когда мы не будем расставаться. — В принципе подобные диалоги пора издать в специальном самоучителе.

Шальная мысль — она и есть шальная мысль. "А что если ей сказать о Вере", — мелькнуло у Н.-В. Ведь перенесла же Василькиса Снандулию, может, она перенесет и Веру. И вообще, кто знает возможности человека, что он может перенести.

— Ты знаешь, — начал Н.-В. свое признание.

— Не хочу я продолжать разговор, — сказала Василькиса.

— Тебе не на чем ездить, возьми мою машину, все равно она без дела стоит в гараже.

Как же это ему самому не пришло в голову раньше — воспользоваться машиной Василькисы. Н.-В. немного посопротивлялся для порядка, сказав сначала вполне твердо: "Нет, я не могу", и, когда Василькиса сказала: "Ты просто хочешь меня обидеть", он смягчил отказ: "Как ямогу ее взять, это нехорошо", и когда Василькиса сказала: "Ты со мной говоришь, как с чужим человеком", Н.-В. сказал: "Хорошо, я ее возьму".

Прошло несколько пасмурных деньков, выглянула новенькая луна, и по ночному городу, где в темноте не так видна была грязь, Н.-В. летел на почти новеньком автомобиле, который ему доверили.

Они договорились с Василькисой так: Н.-В. вернется в город, постарается как можно быстрее уладить квартирные дела Снандулии и вернется на дачу. А Василькиса будет его ждать.

— Чтонибудь вкусненькое привези, — сказала она на прощание.

И почти в пустом городе, почти в ночном, в пустынном переулке стоял телефонный автомат. И он работал. И Н.-В. позвонил. И когда раздался гудок, у Н.-В. замерло сердце. А потом оно застучало, потому что это был не деловой звонок, а сердечные дела. Но к телефону подошла не она. Это был дон Жан.

Потому что она спала. И прямо во сне Вера увидела, как кто-то подходит к ней. Это был Свя. Причем такой, каким она его видела в последний раз. И когда он подошел к ней, она так ему удивилась и обрадовалась, что поцеловала ему руку.

— Ну что ты, — сказал он, как бы не ожидая, — что ты, — как бы тоже удивясь такому ее порыву.

— А тебя все ищут, — сказала она, — куда же ты делся?

— А я умер, — сказал Свя.

И, услышав это, она от неожиданности отступила даже назад:

”Как же так?”

— Не бойся, — сказал Свя, — я сам умер, от своей смерти.

— А как же ты здесь? — спросила Вера.

— Вот, пришел на тебя посмотреть.

— А как же ты умер?

— Это не просто так, — он сказал это совсем неопределенно и обнял Веру, и объятие было настоящим, а не мертвым, и оно было сильным. Все же она никак не могла поверить, что он мертвый.

— Не бойся, я с тобой, — почему-то сказал Свя.

И почему-то у Веры наступило странное безразличие к тому, чем на самом деле отличается смерть от жизни, как будто и смерть и жизнь были вещи одного и того же порядка, а не так, что жизнь была чем-то качественно другим, потому что Свя качественно ничем не отличался от прежнего Свя, и она хотела ему сказать об этом, но он сказал:

— Вижу, ты уже не боишься меня.

И она сказала:

— Нет.

— Я вижу, — сказал он.

— А ты будешь посещать меня?

И он сказал:

— Да.

— Да, — сказал дон Жан, — слушаю.

И вместо того, чтобы бросить трубку, Н.-В. сказал:

”Можно Александра Сергеевича”. ”Пушкина?” — спросил дон Жан. И Н.-В. повесил трубку. Оба они были не дураки, и дон Жан догадался, что этому человеку не нужен Александр Сергеевич; и Н.-В. догадался, что дон Жан знает, что не Пушкин ему нужен.

— Кто это? — спросила Вера, — услышав звонок.

— По-моему тебе звонили.

— Кто?

— Спросили Пушкина.

— Тогда почему мне?

— Не мне же будут звонить и спрашивать Пушкина.

— Ошиблись, — сказала Вера, — закрой дверь, я посплю.

А Свя никуда и не уходил, он явно присутствовал в

комнате. И как только стало совсем темно, он выделился из темноты сначала как силуэт, а потом по-настоящему. — А к нему ты еще не приходил? — спросила Вера. И Свя понял, что она говорит об Н.-В.

— К нему — нет, — ответил он, — еще рано к нему. И он лег рядом с Верой совсем не как призрак, а по-настоящему. И Вера испугалась, что в комнату может войти дон Жан и увидеть их вместе. И, словно почувствовав это, Свя сказал:

— Ничего не бойся, я с тобой.

И правда, он был с ней. И он стал невидимым и бестелесным, и только одна часть его плоти была ощутима, но тоже невидима, потому что она была внутри Веры, и это было как во сне, но это было на самом деле.

И троллейбус, который почти бесшумно катил по улице, был переполнен людьми. И так же бесшумно, продавив заднее стекло, в него въехал грузовик. И люди стали захлебываться в крови. Но это была не обычная, а менструальная кровь королевы. И почти все люди захлебнулись в этой крови. А кровь все вытекала из королевы, и люди тонули в ней. Это была очень юная королева, и это была ее первая кровь.

И ее приговорили к смертной казни, эту королеву, потому что из-за нее погибло множество людей. Но эта королева была не просто королевой, а королевой всех блядей. И бляди стали плакать по ней. И все мужчины, возлюбленные этих блядей, тоже стали плакать, а несколько ее возлюбленных мужчин плакали у нее на коленях и говорили: "Ты моя любимая блядь". Но ведь известно, что бляди — самые умные женщины; конечно, имеется в виду, истинные бляди, а не обычные шлюхи. И поистине замысел ее был прост. Ведь голову будет рубить не весь народ целиком, а представитель народа — палач. И королева перед казнью попросила выполнить всего одну ее просьбу — переспать с палачом. И она пришла к своему палачу, и это было в Большом театре в Москве, в ложе третьего яруса, и она села к нему на колени, а на сцене шла опера и какая-то девушка пела под музыку и плакала, и, пока она пела, королева целовала своего палача, и палач так полюбил ее, что никак не мог ей на утро отрубить голову в подземном переходе. И народ назначил другого палача в другом театре. И его она тоже любила. А потом у нее было десять палачей, и ни один из них не мог отрубить ей голову. И когда в Москве уже не оставалось пригодных палачей, когда все

мужчины уже были ее палачами, ее простили и стали называть Блядью палачей, эту Королеву блядей.

— Тебе что-то снилось? — спросил дон Жан, когда Вера открыла глаза. Оказывается, пока она спала, он сидел рядом и наблюдал за ее лицом.

— Что-то нехорошее? — спросил он.

— Про детей, — ответила Вера.

И в том царстве как будто главными были не взрослые, а дети, и дети управляли этим царством. И взрослые нужны были этим детям только для того, чтобы они производили новых детей, а больше не для чего. И особенно вредных взрослых, которые плохо совокуплялись, они казнили. Там день и ночь — шла ебля, а утром — казни. И взрослые прислуживали детям и ходили все в одинаковых халатах. А когда дети становились взрослыми, на них надевали халаты, и взрослые уже никогда не были детьми. И еще Вера любила свою дочку не потому, что это была ее дочка, а просто именно эта девочка ей нравилась и как раз именно эта девочка и была ее дочкой. То есть то, что именно эта девочка, а не другая из всех девочек ей нравилась больше всего, — это как раз и было самое сильное чувство. А ведь дети — это такие маленькие люди, и они ближе к земле и потому живут как бы прямо на земле, а взрослые живут чуть выше, подальше от земли, и дети смотрят на взрослых снизу вверх, а взрослые сверху вниз, и дети живут в своем царстве детей прямо почти под ногами у взрослых. То есть Вера любила свою дочку как свою маленькую возлюбленную из этого царства. А дон Жан сказал, что он не любит дочку не потому, что не любит, а потому, что ему просто не нравятся маленькие девочки, то есть они ему нравятся издалека, но не нравятся вблизи. И еще он не понимал, о чем они говорят, эти девочки, а Вера понимала, и еще у детей не может быть имени, они все безымянны.

А Н.-В. раз — и приехал к Снандулии, потому что ему так хотелось видеть Веру, а Веры не было. И только одна женщина могла сейчас спасти его от этой грусти. Ведь это очень грустно, когда ты хочешь видеть человека и не можешь. Конечно, Снандулия была очень хороша и очень близка ему, но она не была его возлюбленной. И он, конечно, любил ее, но влюблен не был. А Веру он, может, даже не любил, даже иногда ненавидел, но был влюблен. А новое чувство, оно так сильно, даже не потому, что оно чувство, а потому, что новое. И ему страш-

но хотелось сказать Снандулии, что он влюбился, жутко, несомненно, но как-то неудачно, в одну художницу, но что она не видит в нем его самого, а чего-то такое видит, что он даже никак не может понять, кого же она видит в нем. "Кто я для нее?" — вот что он хотел спросить у Снандулии, рассказав ей все с самого начала. Потому что в этой его влюбленности все время было только начало и никак не могло сдвинуть с этого начала и хоть как-то продвинуться к середине. И он чувствовал, что только Снандулия могла ему все сказать. Потому что это была единственная женщина, которую он сразу же полюбил, он даже не успел влюбиться в нее, как сразу же полюбил. Но почему-то любовь, она тоже уступает место влюбленности; почему она это делает? И как только они поужинали, и как только он выпил рюмку коньяка, раздался звонок в дверь. Это было уже совсем неожиданно. "Посмотри, кто там", — сказала Снандулия, Н.-В. открыл и увидел на пороге — потому что это могла быть только она — злую соседку. Она была даже чем-то похожа на ту соседку, которая умерла и вдруг похорошела в момент смерти; и, как все соседки, она была похожа на нее чертами соседскими, так же, как все ученики похожи ученическими чертами, а профессора профессорскими, но и только. И больше ничем, и если эти соседские черты исключить, то Н.-В. увидел перед собой не просто соседку, а просто — злую. И, прошмыгнув к себе в комнату, она затаилась.

— Впустил? — сказала Снандулия.

И это "впустил" не могло относиться к человеку, а скорее к чему-то с хвостом. Как будто бы это с хвостом нужно было впускать и выпускать. Откуда они берутся, эти с хвостом, что это за такая порода, откуда они на земле; а есть ли они на небесах?

А потом опять раздался звонок, и после звонка — шум.. Потом крик в коридоре, потом соседская дверь хлопнула и крик еще больше разорался внутри соседской комнаты. Это вернулся муж соседки.

— Они что, всегда так орут? — сказал Н.-В.

— Орут, когда не работают.

Не мог же он под этот крик говорить о своей влюбленности.

— Ты с ними здороваешься?

— Редко.

— По-моему, она его бьет.

— Да, похоже, что что-то такое мелкое бьет что-то здоровое, но переезжать не надо.

— Надо, чтобы кто-то помог выселить их.

— Ну, а кто поможет?

И как будто за стеной что-то разбилось, что-то стеклянное, как будто по этому стеклянному треснули чем-то железным. И вдруг шум стих. А потом загревели раскладушкой, и когда Н.-В. вышел из комнаты, он увидел, что злая соседка уже устроилась прямо на раскладушке прямо на кухне.

— Она меня даже не постеснялась, — сказал он Снандулии.

— Они делают вид, что нас нет.

И погасили свет. И во всей квартире воцарилась мертвая тишина.

И тогда вот почти сразу, почти бесшумно в свою комнату вернулась мертвая соседка, и она легла рядом с мужем злой соседки, и она к нему прижалась, и он открыл глаза и увидел рядом с собой красивую женщину.

— Ты кто? — сказал он.

И она сказала: "Люби меня". И она была так хороша, что он стал любить ее тут же.

— А где моя жена? — сказал он.

— Она спит.

— Она у меня злая.

— А ты ее не бойся, она завтра уйдет, ведь это моя комната, и ты здесь оставайся, и мы будем с тобой вместе жить. И тут дверь открылась и в комнату ворвалась злая соседка в одной рубашке и босиком. И как же она заорала, увидев в постели со своим мужем другую женщину. И она размахнулась, чтобы ударить ее, но ее удар повис в воздухе, и получилось, что она стоит над мертвой соседкой и машет руками, потому что какая-то сила останавливает ее удары, а удары злой соседки были сильными. И, испугавшись криков, Н.-В. вышел в коридор, а соседская дверь была открыта, и он увидел машущую руками злую соседку, а в постели лежал ее муж с какой-то женщиной.

— Соседей не постыдился, — орала злая соседка, увидев Н.-В. в комнате. И Н.-В. только сейчас увидел, что в постели лежит мертвая соседка, так похорошевшая в момент смерти.

— Не ори, — сказал Н.-В., — она мертвая, это наша бывшая соседка.

— Да, — сказал муж.

И тогда у злой соседки глаза сделались совершенно мертвыми, и она в одной рубашке, бледная как труп, вылетела из квартиры.

И когда утром Н.-В. опять позвонил Вере, она подошла к телефону сама и неожиданно быстро согласилась на свидание, и даже не в галерее, а у него дома, и даже, когда он спросил:

"Во сколько тебе удобно?", она совсем уж неожиданно сказала:

"Как скажешь". Это было невероятно, ведь после их последней встречи в галерее, после того как они уснули на диване, Вера почему-то избегала свиданий. И вдруг так быстро согласилась. И когда она приехала и он на всякий случай предложил ей где-нибудь пообедать вместе, она сказала: "Сегодня это скучно".

— А где не скучно?

И она подошла к нему, и он увидел, что вот так ей не скучно. И не скучно не только так, но и так тоже. И они правда совсем не скучали вместе, это было такое нескучное занятие, и оно не оставляло места для скуки.

Пока Н.-В. не сказал. А сказал он вот что:

— Я думал, ты меня бросила.

И Вера ничего на это не сказала. И потом уже, когда он стал делать то, что она попросила, он повторял почему-то только два слова: "Не бросила, не бросила, не бросила".

И она мотала головой, и ему трудно было делать то, что она просила. Но эта трудность и была самой сладкой трудностью, потому что все остальное было легко. И так легко стало, когда стало наконец совсем легко.

— А хочешь водки, — так легко и весело сказал Н.-В.

И хорошо, что водки было мало, и она только началась и вдруг сразу кончилась. А потом они пошли гулять. И обнимались прямо на улице, и не стеснялись прохожих, которые видели, как они целуются. А потом они пошли есть. Это был такой ресторанчик, в котором было не только приятно поесть, но и просто посидеть. И они съели все, что заказали, потому что были голодные. И есть было тоже не скучно. А потом они поймали машину за сто рублей. И шофер за сто рублей был добрый, а не злой, как за три рубля. И они целовались на заднем сиденье за сто рублей. И когда они совсем уже бесплатно вернулись к Н.-В., начался цирк.

Позвонил Тютюня. Н.-В. сказал ему, что они могут увидеться только завтра и только в галерее, но Тютюня

приехал сегодня же. Это было неприлично. Некрасиво. Пошло. Но он стоял в дверях, и стоял как-то нетвердо. — Вот вы где гнездитесь, — сказал он, увидев Веру, — обобрали меня и гуляете на мои денежки.

— Поезжай домой, — сказал Н.-В., — ты не в форме. Но он уже вошел и сел. Человек он был неприличный. — А ты кто такой, кто в форме, — Тютюня это выкрикнул визгливо, как петух, с какой-то еще петушиной хрипотцой, — я тебя нанял, ты у меня служишь за 20%, я тебе их плачу, а ты что делаешь! Ты зачем меня с этой блядью выставил, кто она такая была до меня? Ее, значит, всю раскупили, а я до сих пор по стенкам размазан и свечусь!

— Вера, выйди, я тебя прошу, — сказал Н.-В.

— Пусть выскажется, — сказала Вера. — У тебя что, ни одной не купили? — сказала она Тютюне.

Но он на нее даже не посмотрел.

— Прошу тебя, — сказал Н.-В. Тютюне, — уходи сейчас, завтра поговорим.

— А где же твой папенька? — сказал Тютюня.

— Нет его.

— Куда же ты его дел, сынок?

И вдруг Тютюня сказал:

— А что Верочка, длится ваш роман с папенькой или ты уже утомила старика?

Вот такого поворота никто не ожидал, кажется, даже Тютюня сам от себя не ожидал, потому что, как только он это ляпнул, он неожиданно протрезвел.

— Ты — хам, — сказал Н.-В.

— Натуральный, — сказал Тютюня, — библейский, имя мое такое — Хам, так меня зовут — Хам, Хам, Хам, — и он это сказал уже совсем трезвым голосом.

И Н.-В. испугался. Он подумал, что Тютюня сошел с ума. Просто натуральный сумасшедший был перед ним.

— А ты спросил у нее, — сказал Тютюня Н.-В., — было у них с папенькой твоим, спроси, спроси.

И тут Н.-В. начал его бить. А Тютюня почему-то не сопротивлялся. И когда Н.-В. его бил, он знал, за что он его бьет — за слова. Потому что есть слова, которые нельзя говорить. То есть в словах может быть заключен жуткий смысл. Но этот смысл не касается того, кто говорит эти слова, и получается смысл — сам по себе, а слова — сами по себе. Даже если у Веры было с отцом Н.-В., об этом не мог говорить словами этот Хам. Вот именно за это его бил Н.-В.

Тютюня жалобно вскрикнул: "Я погиб, погиб я", и от

этого Н.-В. пришел в такую ярость, что стал избивать его еще сильнее.

— Хватит, — взмолился Тютюня, — я уже труп, не бей труп.

И Н.-В. оттащил Тютюню за ноги в коридор, и удивительно, что Тютюня захрапел, то есть после побоев он сразу уснул. Сцена была какая-то дикая: избитый и пьяный Тютюня, да еще спящий в дверях, и Вера, у которой глаза были наполнены удивлением, и это удивление вытекало в виде слез.

И Н.-В. обнял Веру и сказал: "Скажи мне, у тебя было с моим отцом?"

— Да, — сказала она.

— Когда?

— Вчера. Он приходил ко мне.

— Куда?

— Домой.

И потом она сказала:

— Он, понимаешь, умер.

И Н.-В. смотрел на Веру и ничего не понимал.

И он сказал:

— Я умру от сомнений.

И она сказала:

— А ты не сомневайся, все, что я сказала, — правда.

И он стал обнимать ее и страшно приговаривать: "Скажи, что ты врешь, скажи, скажи мне, милая, что ты врешь!"

И он так жутко сжимал ее, что она сказала: "Вру".

И кончился денек.

И наступил вечерок.

И как только вышла луна, то есть как только она показалась в окне, позвонил аГусев; он позвонил Н.-В. как сосед соседу. И Н.-В. обрадовался его звонку, потому что совсем не знал, что делать со спящим избитым Тютюней. Как будто аГусев знал. И аГусев зашел и правда знал. Он сказал: "Пусть спит, а мы ко мне пойдем, за что ты его побил?" И Н.-В. сказал аГусеву: "А может, его под душ и домой?" И тут из комнаты вышла Вера, и аГусев, увидев ее, почему-то ужасно засмутился.

— Из-за нее побил? — сказал.

— Нет, — сказал Н.-В.

— А пойдем к нему, — сказала Вера.

И Н.-В. стало приятно, что Вера не собирается ехать домой, а хочет еще остаться.

Они вошли к аГусеву домой, и Вера никак не могла

понять, что за странная такая у аГусева комната. И только когда она присмотрелась, то поняла, что мебель в комнате из больницы, там даже стояла такая белая больничная ширмочка, какие ставят в кабинетах, чтобы больные за ними раздевались. И кровать была реанимационная, на таких винтиках, что ее можно было поднимать и опускать, и катать. Такой обстановки она еще в квартирах, по правде сказать, не видела. И на пластмассовом больничном столике стояла тяжелая бутылка французского коньяка.

— Не могу я один его выпить, — сказал аГусев, — не привык. Пошел за тобой, а вы — вдвоем. Выпьем — втроем.

— Как странно, — сказала Вера, — какая странная жизнь.

И Н.-В. насторожился: он уже знал, что Вера употребляет слово "странный" и это у нее обозначает что-то свое, потому что, когда они любили друг друга и она нарочно надевала его рубашку, она говорила "странный человек". А когда перед ней был явный мерзавец, она говорила: "Какой странный человек". И они выпили по рюмке. А на закуску у аГусева были "Альпийские" конфеты, и название было подходящим, потому что на шоколаде был такой белый налет от старости, и снег лежал на вершинах гор. Они выпили за папу, за маму, за Веру, "а вот еще у меня такой случай был — когда Ленин вышел сухим из воды, когда библиотеку затопило, я тогда как раз в библиотеке работал, а Ленин наверху стоял". Холодильник у Тютюни был совершенно пустой, в горах лежали диетические яйца. И коробки с яйцами, и коньяк на больничном столике, все, все напоминало о жизни. И было хорошо. аГусев был светский человек, и рассказчик и матрос. Он любил жизнь, как матрос и говорил о ней, как поэт.

И Вера стала рассматривать Н.-В. издалека, и издалека он был ей еще ближе, а потом она посмотрела на аГусева и увидела, что он красив, лицо его благородно, лоб велик и глаза светятся, и если бы он был еще великим человеком, хотя бы даже режиссером, даже не музыкантом и не писателем, хотя бы даже дирижером, какая бы у него была жизнь! Это была бы даже не жизнь, а такая вещь! Такая просто волна, которая бы несла его. И какие бы у него были тогда женщины! Которых бы он, которые бы его, с которыми бы ему! А дом! Какой бы у него был дом, разве он спал бы на реанимационной

кровати, разве он раздевался бы за больничной ширмочкой и разве бы разве! Но аГусев сидел и, кажется, был счастлив. И счастье его не отходило от него! Ни на минуту. И оно гладило его по голове. Оно стояло немножко правее от него, а он сидел немножко левее от него, и получалось так, что он сам был в лучах счастья, а его счастье было в тени его. И это была картинка на память. И Н.-В. увидел, как Вера смотрит на аГусева, и он увидел, что она чего-то увидела, чего-то такое, что он сам не видел. И он стал смотреть, он всматривался — и он не видел. Он видел только, что аГусев сидит и довольно бессмысленно улыбается. Но не на это же она так смотрела! Не это же привлекало ее взгляд. А почему, правда, люди смотрят и видят совсем разное. Или у них глаза разные, или одни и те же предметы такими бывают разными, что на них только и остается, что по-разному смотреть.

А потом пришли девушки аГусева, и первая девушка пришла — первой, а вторая — второй. И первая девушка, которую впустил аГусев, он ее впустил и сразу захотел выгнать. Это была как раз такая девушка, которую всегда можно впустить, а потом — всегда выгнать. И он ее выгнал как-то незаметно, даже незаметно для нее самой. И после этой девушки пришла вторая, и она так долго заходила в комнату, это было не одно мгновение, это мгновение было равно ее приходу; она входила, входила и, ни на секунду не останавливаясь, она все никак не могла войти. И как только она их всех увидела, как только рассмотрела всех — только тогда она окончательно вошла. И в ней ничего такого не было. Особенного. Значит, аГусев в ней тоже что-то такое видел. И тоже что-то свое. Особенное. И как только она села, Вера с Н.-В. встали, и аГусев почти тут же вслед за ними встал. И началось такое быстрое перемещение, как будто ни у кого не было своего места. Как будто у каждого теперь было свое новое место, и это свое новое место каждый из них теперь искал. И не находил. И менялись местами. Вере было почему-то неудобно сидеть на кровати, и аГусеву с Н.-В. тоже было неудобно вдвоем сидеть на кровати. И вот тогда она — одним движением, как скатерть на стол, накинула на пол какой-то пледик. И вдруг все вместе сели на пол. Не сговариваясь. Вот это было место! Что это было за место! Под ночным, почти уже, темным потолком, прямо почти под кроватью и под столом, где было еще темнее. И как будто они вместе

были как дети — вместе, а не как взрослые, отдельно, и даже неважно, как их сейчас звали вместе, потому что, как у всех детей, вместе у них не было имени.

А напиток-то все не кончался, он все тянулся, он даже был длинее вечера, потому что вечер уже кончался. Приближалась ночь. А летом ночи короткие, как звезды, они только сверкнут, как снежинки зимой, и растают, как весной. И напиток кончился внезапно, когда девушка аГусева встала и сказала: "Наверное, мне уже пора". Но как только она это сказала, Н.-В. с Верой вдруг встали и ушли, а она с ним — остались. И Вера с Н.-В. поднимались по лестнице, а не на лифте. И тихо целовались, почти совсем не слышно, так нежно, не как на лестничной площадке, а как на полянке при весеннем ветерке. И они не так скоро дошли до квартиры Н.-В. И только у двери Н.-В. вспомнил про избитого, пьяного Тютюню. Но когда они вошли, никакого пьяного, никакого избитого, вообще никакого Тютюни не было. Ни в коридоре — нигде. Он протрезвел, вымылся и чистый уехал; он еще выпил и совсем пьяный и совсем грязный насовсем уехал. Все равно. Его не было. И Н.-В. закрыл дверь. Все-таки Тютюня был неприличный, но чуткий. Нет, он был неприличный, нечуткий, но человек. Нет, он был неприличный, нечуткий, нечеловек, но профессионал. Уехал он как профессионал. И Н.-В. с Верой еще тише стали обниматься, почти не трогая друг друга, почти издалека. Но совершенно самозабвенно. И у него были горячие руки, а у нее холодные, и у него были сухие губы, а у нее мокрые, и у них были закрыты глаза, и ничего не было видно, кроме темноты в темноте.

И когда Н.-В. открыл глаза, он увидел, что у Веры глаза закрыты, и тут он увидел, что она спит. И он стал смотреть, как она спит. И он смотрел на нее при свете фонаря за окном. И спящая, она была похожа на себя, потому что есть люди, у которых наяву одно лицо, а во сне другое, а есть даже такие, которые наяву женщины, а во сне — мужчины. то есть женщины с усами. И пока Вера спала, Н.-В. думал о ней, а она о нем — нет; потому что во сне люди почему-то не думают, а действуют без раздумий.

И проснулся он от того, что стал падать во сне, причем, падал он не с неба на землю, а, наоборот, с земли на небо, и даже не сам падал, а как будто он сначала стоял на земле, а потом почувствовал, что земля в буквальном

смысле уходит у него из под ног и он остается на месте, а земля со всеми домами, людьми, деревьями падает вниз, а он падает в небо, и вот он уже видит ее внизу в виде маленького шарика, и можно умереть от горя, если опять каким-то чудесным образом не попасть на нее, и он проснулся даже не от падения, а от этого горя, и, увидев, что Вера спит, он увидел прямо в комнате, прямо посреди комнаты — своего отца, и он никогда раньше не говорил ему "папочка", и вдруг он, как маленький, сказал ему: "Папочка, я остался один в небе без земли, какое горе". И Свя сказал ему: "Не бойся, я с тобой". И после этого Н.-В. уже хотел поговорить со Свя как взрослый со взрослым, но почему-то он продолжал говорить с ним как ребенок со взрослым. И он сказал ему: "Папочка, зачем же ты меня бросил?", и Свя сказал: "А я не бросил тебя, я умер". И почему Н.-В. не испугался и не удивился этому, как будто он был маленький мальчик и еще не боялся смерти. Он только боялся, что Свя куда-нибудь денется, и скорее хотел спросить его об одной вещи, о Вере, о том было ли между ними что-нибудь такое на самом деле, потому что он так и не мог поверить в это на самом деле. И он сказал ему: "Папочка, зачем же ты у меня отнимаешь мою девочку, ведь это моя девочка, это я ее люблю".

— "Нет, — сказал Свя, — это я ее полюбил, как никого не любил в жизни. Но совсем не знал, как мне любить ее в жизни. И я умер. А теперь я знаю, как мне ее любить, потому что, когда любишь, неважно, живой ты или мертвый, и мне, мертвому, ее легче любить сейчас, чем тогда — живому. А тебе я уступил ее — живому, а сам я буду любить ее мертвый. А потом Свя вдруг сказал: "Только ты ведь ее не любишь, живой". И Н.-В. из последних сил сказал: "Люблю".

И, выходя из комнаты, Свя сказал: "Так не любят". И Н.-В. последовал за ним в коридор и сказал ему: "Поразному любят". Но Свя, которому он это сказал, уже не было ни в коридоре, ни на кухне, ни в другой комнате — нигде. И он вернулся и лег в постель, и Вера даже не пошевелинулась, потому что она крепко спала и видела во сне интересный сон, который был как кино: в этом кино из времен Екатерины Великой совсем не было взрослых, Екатерину играла пятилетняя девочка, а графа Орлова — трехлетний мальчик, и весь двор состоял из детей, и они так сладко любили друг друга, и царица,

и ее любовники, так разнузданно, так сладострастно и чисто, что взрослым совсем не было места в их царстве, и у взрослых в этом кино видны были только ноги, а больше ничего, даже туловища не было, а головы совсем не было, и дети царствовали и любили друг друга, как дети среди взрослых ног.

А потом кино кончилось и началось то, что никак нельзя назвать кино. Вера лежала у стенки, а Н.-В. с краю, и, когда Вера повернулась на бок к стенке, в этом узеньком пространстве — между собой и стенкой — она увидела Свя. Он тоже лежал на боку. И она по-настоящему оказалась между сыном и отцом. И Свя поцеловал ее, и он совершенно не боялся прикоснуться к ней, но он делал это почти неслышно, чтобы только Вера слышала, а Н.-В. — нет.

А потом они стали шептаться. И с мертвым ей говорить было проще, чем с живым.

— Но там плохо? — спросила Вера.

— Нет.

— Но страшно там?

— Почему? Нет.

— А где хоть это все?

— А прямо здесь.

— Под землей?

— Нет, это как тени.

— Как отражения?

— Да.

— Никак не могу представить, как это, — сказала она.

— Очень просто.

И тут она сказала невероятную вещь:

— И ты хочешь меня по-настоящему?

— Конечно.

— Как человек?

— А как кто же еще?

— Я тебя совсем не боюсь, — и она прижалась к нему.

— Не бойся, я с тобой.

— Но если там не едят, не пьют, то чем же живы?

— Просто одним духом.

— А как же, когда ты хочешь меня?

— Также.

— Но я же чувствую тебя, — сказала, совершенно ощутив его внутри себя.

— Это моя сила и мое желание.

И она сказала: "Понимаю".

А утром Вера проснулась, огляделась и поняла, где она. Нет, страха не было и тоски не было, но была такая жуткая грусть, от того, что земля такая большая, а на ней так мало места, где было бы не грустно. И ей так захотелось, чтобы Н.-В. тут же исчез и вместо него появилась ее маленькая дочка. А дочка любила утром спросить что-нибудь страшное. "Мамочка, а кто такая мачеха?" — "А это если бы я умерла, то папа женился бы на другой женщине, она бы и была тебе мачехой". — "А если бы она тоже умерла?" Невозможно уже ничего ответить. И после горячей ванны, в которой так приятно полежать после того, как не выспишься, и после кофе, который попьешь после того, как ничего не съешь, Вера с Н.-В. поехали позавтракать. И тут Вера зачем-то обиделась. На один предмет. Это было уже на улице. Когда они вышли и подошли. Это был неодушевленный предмет, это была гадость на колесах, машина Василькисы, в которую Вера сначала села, а потом спросила: "Купил машину?" И Н.-В. как-то туманно ответил: "Взял покататься". — "У одной барышни?" — сказала она. И Н.-В. не нашелся, что ей сказать, и тогда она улыбнулась и сказала совсем непонятную вещь: "Отвези-ка меня на родину". И потом так ловко успела выйти из машины и так это было для него неожиданно, что, пока он разворачивался, чтобы ее догнать, она просто растворилась, как будто ее и не было. И он пришел в такое жуткое отчаяние, что, если бы она каким-то вдруг чудесным образом вернулась, он мог бы сделать все самое невероятное — даже жениться на ней, только чтобы она оказалась сейчас рядом. Но ее не было. Тогда он решил, что она поехала в галерею, и решил вернуться домой и позвонить в галерею через полчаса. Но ее там не было. Тогда от отчаяния он позвонил к ней домой. Но телефон вообще не ответил. Тогда он пришел в какую-то тихую ярость и в этом маразме находился несколько часов, он разговаривал сам с собой вслух, мычал песенку и то садился, то ложился и множество раз поправлял телефонную трубку, потому что ему казалось, что она неправильно лежит. Еще через несколько часов он решил, что ненавидит ее и больше никогда ее не увидит, что ему надо развестись с Снандулией и жениться на Василькисе, что ему надо окончательно бросить Василькису и окончательно переехать к Снандулии, что ему во что бы то ни стало надо сегодня же увидеться с Верой.

Здравствуй, прощание! Я люблю тебя, прощание, я тебя обожаю. Я люблю тебя так нежно, с такой страстью я говорю тебе — здравствуй, как никакому свиданию, ни одному в жизни я не скажу, ни одному, только прощанию я говорю — здравствуй, только одному ему; и белые цветы в рюмке, и красное вино в стакане, и водка в пробке от водки — это все прощание, и потому я говорю — здравствуй.

Все кончается. Все. Но после того, как все кончается, начинается все остальное.

Н.-В. считал дни. Дни, пока они не виделись с Верой. Их было уже три. И шел уже четвертый. Он хотел ее именно получить. И больше не отпускать от себя. И чтобы она по-настоящему была видна, он хотел ее в и д е т ь. Но ее было не видно. Ее даже было не слышно. Он сидел перед телефоном и говорил: "Позвони же". Но она не звонила. И вдруг он подумал, что она никогда больше не позвонит. И он подумал, что если он ее увидит хоть еще раз, — это будет счастье. Но пока было несчастье, пока она не звонила. Зато Василькиса звонила каждый день. И она хотела, чтобы он приехал на дачу и перевез ее с дачи в Москву, потому что на даче скучно, а в Москве, надо полагать, по-настоящему весело. Хотя на даче стояли настоящие деревья под настоящим небом и шел самый настоящий дождь. Но все это казалось Василькисе ненастоящим, потому что она чувствовала, что Н.-В. ее по-настоящему не любит. И ей хотелось быть поближе к нему, а ему подальше от нее. Но он сделал, как она просила: съездил за ней и перевез ее в Москву, и еще получил ключ от дачи, "Ты можешь приезжать сюда в любое время, когда захочешь", — сказала она и показала, как пользоваться горячей водой. И когда Н.-В. уже перестал считать дни, потому что прошло уже девять, а если не считать завтрашний, когда она тоже может не позвонить, то — десять, и сидел он в галерее среди Тютюниных картин, которые плохо продавались, и смотрел на одну Верину картину, которая осталась совсем одна, он даже подошел и потрогал ее рукой, он потрогал фон — и она позвонила. Это было так неожиданно, потому что он слишком долго ждал, и, когда он услышал ее голос, он почти не узнал ее, и, как только он узнал, он подумал, что голос оборвется, и она вместе с голосом пропадет, и он ее больше не услышит. Было

только пять часов. Ни то ни се, ни день ни вечер, странное какое-то время. "Ты приедешь?" — спросил он, "Куда?" — "Сюда".

Сначала она сказала: "Жарко", потом: "Уже поздно", а потом замолчала. И, сам не понимая, как это у него получилось, то есть набравшись наглости, он сказал: "А за город хочешь?" — "На дачу?" — спросила она. И заинтересовалась. И не сказала нет. И она приехала в галерею. И, не считая первого объятия, которое сразу уже было вторым, как только она вошла, больше ничего не было. Василькисиной машине она не удивилась, только сказала: "Все катаешься?"

— А к кому на дачу? — спросила.

— А та самая дача, рядом с которой гараж, где эта самая машина стоит, — сказал Н.-В., все больше наглея.

— А где же сама барышня?

— А в Москве.

Он уже был абсолютно уверен, что она не поедет, поэтому так и отвечал.

— Поедешь? — сказал он.

И тихо она сказала: "Поеду".

И они приехали, и легли, и замерли.

Странная жизнь, ничего невозможно загадывать. Можно только жить сегодняшним днем. А завтра раз-два и переверот, и все наоборот.

Н.-В. смотрел на Верино лицо и любил его. И он даже подумал, что, если бы Василькиса действительно так тихо и незаметно исчезла, а Вера бы здесь осталась, он бы жил рядом с ней, пока бы она его не выгнала. И она смотрела на Н.-В. И если ей было приятно на него смотреть и трогать его, и, спрашивая, слышать, что он отвечает, и если это называется влюбленностью, то так оно и было. А если это не так, то что же это?

А потом она как-то так легла, что его лицо оказалось перевернутым. И в перевернутом лице не видно было взгляда.

То есть глаза были, а взгляда не было, потому что если глаза внизу, то они, оказывается, не смотрят. Они видят, но не смотрят. И это перевернутое лицо заканчивалось подбородком, который был вместо носа, да и был сейчас носом, который не дышит, а нижняя губа была верхней, а верхняя — нижней. И получалось, что это было лицо совсем другого мужчины, который сейчас ей страшно нравился, потому что это был другой Н.-В., хотя, конечно, это был сам Н.-В. А потом она открыла окно, и на

мокрой ветке сидела сухая птичка, и она дрожала, и она каждую секунду могла улететь, и Вера стала шептать ей: "Посиди, посиди еще". И она осталась сидеть, и тогда Вера шепнула ей: "Спой", и, моргнув, она улетела. Потому что сразу все попросить нельзя.

И еще у белого ствола березы на выгоревшей траве сидела какая-то черная толстенная глыба величиной с кролика.

— Посмотри, кто это может быть? — сказала Вера.

Может, камень, нет, кажется это что-то живое, но не шевелится, может, кролик, откуда здесь кролик? Он бы убежал, и не птица, и не еж, тогда кто это?

И Н.-В. поцеловал Веру в затылок и сказал, что хотел бы, чтобы у нее был стриженный затылок, такой ежик, чтобы этот ежик щекотал губы.

— Как у мальчика? — спросила.

— Как у девочки.

И они не вышли посмотреть, кто же это там сидит. Забыли.

И еще лето отличается от зимы тем, что можно выйти и прямо на земле что-нибудь сорвать и съесть, и это вкусно, даже не искать, а просто наклониться и сорвать. Беспокойное лето. И зима беспокойная, и осень, и весна беспокойная. И под солнцем спокойно, и под дождем. А где спокойно? За океаном? И за океаном спокойно, и душ не работает, и спичек нет, да и вообще Земля — какое-то беспокойное место, и нет места на Земле, где было бы спокойно, люди беспокойные, а без людей скучно, а с людьми грустно.

Но есть еще и ловушка, в которую можно попасться, когда кажется, что все весело, спокойно и хорошо.

Вера смотрела на Н.-В., Н.-В. смотрел на Веру, и хотя им не принадлежал ни этот дом, ни этот сад, ни эта постель, они принадлежали друг другу, и казалось, что все возможно. И все будет хорошо, весело и спокойно. И Вера ходила голая по дому, и Н.-В. ходил за ней голый. И стены были голые, без картин, только в одном простенке висел календарь с голой девушкой, напоминающий о зиме: январь, и она стоит голая на лыжах среди блестящего снега, и она улыбается. Но она была ненастоящая, она была голая модель, которую специально раздели специально для других. А Вера с Н.-В. были настоящие и по-настоящему голые, потому что Н.-В. раздел Веру специально для себя. И если бы это было приятно, они бы пошли голые в лес, но это было непри-

лично, и они оделись и все равно пошли в лес, за которым была полянка, на которой стояла коза. Потому что эта коза стояла всегда, это была вечная коза в кубе. "Почему в кубе?" Это невозможно объяснить, но она была именно в кубе, а не в пирамиде, и углы этого куба были затемнены, а стенки освещены, и этот куб был из чего-то, что напоминает воздух, но только он был более плотным, как ветер, может, оттого, что внутри него была коза.

И еще на той поляне стояла береза, которая была пушистая, как елка, и еще они сидели на поляне, и это был кайф, который не надо было ловить, который сам шел. И они вернулись ровно в девять, а ровно через час стало темнеть, а еще ровно через час стало совсем темно. Ночь, улица, фонарь, аптека, а где аптека? Аптека-то где?

Хорошо, что сегодня — сегодня, хорошо, что сегодня — не завтра, хорошо, что вчера уже было, но жалко, потому что вчера было хорошо.

И на этой даче они чувствовали себя совершенно свободно, и в каком шкафчике чай, и где у Василькисы вино — все было известно. И после душа Вера нарочно надела халат Василькисы, а Н.-В. нарочно это не заметил. И все это было потому, что желание сейчас было больше обиды. И желание было так остро, что было наплевать на доски, стены, барахло. И мысль о том, что эта дача любовницы Н.-В., была убита сейчас желанием, потому что какая же Василькиса любовница, если ее здесь нет. А Н.-В. вел себя так, как будто он сам здесь в первый раз. Он даже спрашивал у Веры: "А где полотенце?" — и она показывала: "Вон там". И они обнимались так нежно, и Н.-В. сказал Вере: "Больше не расстанемся?" — и она сказала: "Нет".

И они совсем не говорили о том, кто кого больше любит, а кто меньше, кто кого больше обидел, а кто меньше, кто хуже, а кто лучше; они говорили про кошек, птичек и мышей. Что вот если вообще какая-то кошка съест вообще какую-то мышку, то это ничего. А если кот по имени Семен съест мышку по имени Снежинка, то это плохо.

И еще Н.-В. сказал Вере, что он любит за ней наблюдать, и она сказала, что она видела, как он за ней наблюдает, но он сказал, что он больше всего любит за ней наблюдать, когда она не видит.

И еще Вера сказала, что ей приснился пруд, но в этом пруду отражались не деревья, которые росли вокруг пруда, а целый город, которого на самом деле не было.

И просвечивало дно, и на дне был песок, и на дне тоже никакого города не было, тогда откуда он взялся, этот город, который отражался в пруду?

А Н.-В. сказал: "Ты так долго не звонила. Почему?"

И Вера сказала: "Не могла".

И еще приснился сон про девочку. Там во снѣ было объявление: продается девочка-урод с заячьей губой и гвоздем в переносице. И они пошли по этому адресу, чтобы купить девочку из жалости. Но в доме была только домработница, а хозяев не было. И они увидели эту девочку, которая совсем не напоминала девочку. Это было существо примерно трехметрового роста и совершенно высохшее, действительно с заячьей губой и забитым в переносицу гвоздем, и это существо покорно сидело, как сирота.

Все хорошо издалека: собаки, когда они так грустно воют, и люди вдалеке, такие маленькие, милые, совсем невредные, такие полезные и незащитные, как кустики на двух ножках, даже когда дети кричат вдалеке, это бывает также мелодично, и напоминают поэмы, но никогда стихи. А дождь приятен вблизи, когда он стучит прямо по крыше, даже по зонту, даже по голове, но неприятно, что он мокрый.

И еще Вера с Н.-В. вспомнили о еде. И на первое был компот, а на второе плов, который иногда подается в московских ресторанах, но лишь отдаленно напоминает плов, пожалуй, только тем, что состоит из риса и мяса (кусочки мяса затерялись в горке с рисом). И все, и больше ничем. Но ведь когда ешь этот плов, то можно вспомнить настоящий плов, и есть это воспоминание, наслаждаясь им. То же самое шашлык. То же самое харчо. Они ели воспоминание. Французам этого не понять. Устриц можно забыть и тут же вспомнить, когда их опять подадут. Когда их заказываешь — ты ешь то же самое, что ты помнишь. Как просто, как примитивно, никакого воображения. Воспоминание тождественно действительности.

Они ели нечто, что могло бы быть бараниной, и доставали нечто, что могло бы быть запеченным чесноком, и все это с нечто красным, что могло бы быть тертой морковкой, посыпанное нечто желтым, что могло бы быть зеленым. Они ели в воображении воспоминание. Им было не скучно. Но ужасно хотелось есть.

А потом Вера сказала, что быть миллионером — это особый талант. Что вот если ты настоящий художник,

то за настоящей картиной опять, опять и опять, все время опять, так и будет идти настоящая картина, но деньги за это не будут идти, то же самое у настоящих миллионеров, даже если они не хотят, то миллионы будут идти к ним опять, опять и опять, и они никогда не останутся без ног, как Рембо, который из поэта хотел превратиться в миллионера, но умер без ног, то есть он умер с ногами, с одной ногой, но оттого, что сначала умерли ноги, на которых он бегал за миллионом, а потом уже умер он сам без стихов в голове. Бедный Рембо.

— Но теперь ты не бедная, — сказал Н.-В.

Но на самом деле Вера была бедная, потому что у нее теперь не было своих же собственных картин, которые она уже продала.

— А может, я сама бы хотела их купить, но у меня денег на них нет. Я так бедна, чтобы их купить, я настолько бедна, что могу их только продать.

— Как ты можешь это говорить?

— Как говорю.

Еще: в карманах бывают деньги, в одежде, которую почему-то сейчас не носишь, иногда на полке, а больше нигде не бывает денег, нет, они еще бывают иногда у других людей, твои собственные деньги, которые им просто нужнее, чем тебе. И если они еще бывают, то у мамы, но это самое последнее их пристанище, потому что после мамы их уже не бывает нигде. Они не летают в воздухе, в воде они тонут на память о будущем свидании, в лесу из-за денег убивают. Вот и все. Зато Ньютон был начальником монетного двора. И он сделал открытие: что вот если яблоко падает на землю, и луна падает на землю, и яблоку и луне одинаково хочется упасть, но все-таки яблоко падает, а луна нет, потому что луна больше яблока, а яблоко меньше луны, но страсть падения, или — как он говорит — ускорение, одинакова и для яблока, и для луны. И если бы яблоко было как луна, и если бы луна была как яблоко, то луна бы упала, как яблоко, а яблоко бы висело, как луна. Вот и все, и больше ничего об этом. Обо всем.

А утром Н.-В. отвез Веру в Москву. И они очень тихо простились — до завтра. И завтра они должны были встретиться уже навсегда, и уже больше не расставаться никогда. Так они решили сегодня, даже уже вчера.

И Вера шла домой и думала, как она увидится с дон Жаном и скажет ему, что им больше не надо видаться.

И что она сначала скажет, а что потом. И что он на это ей скажет. И когда она вошла, то сказала: "Я была в галерее".

И дон Жан как-то спокойно сказал: "Хорошо".

— Ты не звонил туда? — спросила.

И он сказал: "Нет".

"А что, были звонки?"

И она сказала: "Нет".

И тогда она сказала: "Кажется, нам надо расстаться". И посмотрела ему прямо в лицо. И вдруг увидела, что он почему-то улыбнулся. Но так быстро. А потом быстро отвернулся. И она подошла с той стороны, с другой стороны, чтобы оттуда посмотреть ему в лицо. И только она посмотрела, он опять отвернулся, и ей показалось, что у него в глазах слезы, а может, это обман зрения, а может, все, все, что вокруг на земле, — это тоже только обман зрения, и на самом деле все не зеленое, желтое и голубое, а какое-то бледно-белесое и бесцветное.

— Я позвоню, — сказала Вера и пошла к двери. И он не повернулся.

И она шла по улице, и она почему-то думала, кто же это все-таки сидел там под березой, такой черный. И вдруг она догадалась, что это был крот. И эта догадка ее жутко развеселила, и ей стало жалко, что она не вышла и не посмотрела тогда на этого крота, и она подумала, что она никогда в жизни не видела крота, и вот один раз могла бы увидеть, но так и не увидела, "А если это был кролик, то можно было и не выходить", — почти равнодушно подумала она. Но, конечно, это был крот. И она совсем не думала о дочке, о маме, о доне Жане, но зато с такой отчетливой ясностью представляла, как бы она погладила этого крота, если бы вышла, если бы это на самом деле был крот.

Н.-В. ехал к Василькисе и был почти счастлив. Ему казалось, что объяснение будет простым и легким. И коротким. Он только вернет ключи от дачи и машины. И пока он ехал к Василькисе, он даже думал не о разговоре с ней, а о Снандулии, с которой говорить будет намного сложнее, потому что он ее все-таки любит. И когда Василькиса открыла дверь, и он ее увидел, он даже удивился, что ему вообще даже нечего ей сказать. Вообще это надо сразу говорить. А он стоял и молчал. И только когда он прошел в комнату и сел, он встал и сказал:

"Похоже, что все".

— Ты ей обо всем сказал? — Василькиса решила, что наконец он объяснился со Снандулией, и улыбка счастья появилась на ее лице.

— Нет, — сказал Н.-В. — то есть я не это хотел сказать. Конечно, надо объясняться над улице под облаком, показать на облако и сказать: "Я больше тебя не люблю", — и раствориться в воздухе. А что можно сказать в комнате? Куда деваться после слов?

Все-таки удалось не слишком греметь ключами, когда он положил их на столик.

— Вот, — сказал он, — а я уезжаю.

— Куда? — не поняла Василькиса.

— Я пришел проститься.

И тогда ей непременно захотелось знать — кто эта о н а, с которой он.

Н.-В. этого не ожидал, такой настойчивости. А потом пошли слезы. Если бы это спросила Снандулия, он бы сказал. Но Василькисе он не мог сказать, потому что, кажется, никогда, ничуть, ни вообще хоть сколько-нибудь, хотя бы каплю — не любил ее. И она спрашивала, а он не отвечал. И она умолкла, а он был неумолим.

— Но хотя бы можешь выполнить мою последнюю просьбу, — сказала она.

— Ну, говори.

— Можешь сейчас отвезти меня на дачу?

И Н.-В. сказал: "Хорошо". И в машине Василькиса была как-то неестественно оживлена. То она говорила, что никогда и не верила ему, и вдруг сразу же начинала говорить, что не верит ему сейчас, что она знает, что он ее любит, что на него нашел туман, что они не должны вот так расстаться, что она готова его ждать всегда, что она бы ему все простила, что она все может понять, что она его любит. И он молчал. И тогда она начинала говорить о том, что она знала, что он ее обманывает. "У тебя их сотни", — сказала она. Это даже его рассмешило, и он сказал: "Тысячи". И она сказала, что это ей все равно, потому что она его любит.

Они приехали, и Василькиса очень по-деловому сказала, что он может поставить машину в гараж, и: "Пожалуйста, катись отсюда". И это сочетание "пожалуйста" и "катись" почему-то тронуло его.

— Я же тебя не хотел обидеть, — сказал Н.-В.

— Хоть чаю на дорогу выпей, — сказала Василькиса.

И они вошли в дом.

Н.-В. сел на диванчик и стал наблюдать, как она ходит, как наклоняется, как поворачивает голову, и понял, что ему просто не нравится то, как она это делает. И это невероятно! Но это может или нравиться, или не нравиться. Это можно терпеть. Но потом терпение может кончиться. А можно и всю жизнь терпеть. Ведь терпят же люди друг друга. Живут и терпят. Терпят и живут. Он даже не боялся, что она может как-то случайно догадаться о вчерашнем Верином присутствии здесь. "Все равно", — подумал он. Но она не догадалась. Ей все еще казалось, что все еще не конец. И в конце концов он даже остался на ночь.

— Куда ты поедешь на ночь глядя, — сказала она.

И в конце концов он даже лег с ней спать.

— Пусть это будет в последний раз, — сказала Василькиса.

И это было. Это даже было в последний раз два раза подряд. И уже глубокой ночью Василькиса почувствовала, что кто-то ходит по дому. И чтобы не будить Н.-В., она тихо встала и вышла посмотреть, кто там, и в коридоре она увидела своего ученика, который утонул прошлым летом.

— Кого ты здесь ищешь? — сказала она и почему-то не испугалась.

— Тебя, — сказал он.

И этот мальчик, еще совсем подросток, обнял ее с такой страстью, так сильно он к ней прижался, он так безумно стал ее целовать, что она совсем не сопротивлялась его ласкам, она только сказала: "Ты же утонул!" Но больше ничего он ей не дал сказать. Он целовался, почти не разжимая своих губ, просто приставляя их к ее губам, он надавливал своими губами на ее губы, так вот он странно целовался.

— Я тебя буду любить, — сказал он, — я умею.

И он неумело, как умел, любил ее. И он был немножко ниже ее, и он обнимал ее за шею, и он попадал, только когда повисал у нее на шее, а она поддерживала его за ноги, как будто он был девочкой, а она мужчиной. И обоим это очень нравилось. И она боялась только одного: что Н.-В. может проснуться и выйти на шум. Но этого не произошло.

— Я завтра приду, — сказал мальчик уже под утро, — прийти?

И она сказала: "Приходи".

А утром Василькиса крепко спала, и Н.-В. проснулся

первый, и незаметно уехал, чтобы Василькиса не заметила его и не удержала. Он уехал один. Она осталась одна.

Н.-В. позвонил Снандулии, но телефон не ответил. Это было очень раннее утро. Так рано она никуда не могла уйти. И он поехал к ней. И он стал звонить в дверь. Но и дверь ему никто не открыл. Тогда он вспомнил, что у него же есть ключ. За этот последний год он им вообще ни разу не воспользовался. Всегда получалось так, что он приходил к Снандулии и она всегда была. То есть он сначала звонил по телефону, договаривался, а потом приходил. И он подумал, что вот, если бы не этот разговор, он и сейчас бы не поехал без телефонного звонка. Н.-В. вошел в квартиру, и никого в квартире не было. Соседская комната была открыта. Она была абсолютно пустая. И комната Снандулии была открыта. И когда он вошел в нее, то сразу понял, что она не только что ушла, а что ушла еще вчера. Это сразу чувствуется, если человек только что ушел — вещи в комнате как бы все еще находятся в некотором движении и волнении. Но никакого движения, никакого волнения в комнате не было. Все в полном порядке, не было даже легкого беспорядка. Но где же Снандулия? В холодильнике Н.-В. нашел яйца, сыр, суп и почему-то полбутылки водки.

И уже допивая ее, когда время близилось к супу, про который он сразу решил, что он вчерашний, Н.-В. подумал, что это не он бросил Снандулию, а она его бросила. И не он перед ней виноват, а она перед ним. Ведь это она, когда все еще было возможно, не хотела, чтобы они все время жили вместе, и он жил то у нее, то у отца. "Она никогда до конца меня не любила", — подумал он. И еще он подумал, что очень любит эту комнату, и что почти ничего не изменилось в обстановке за десять лет, с тех пор как он впервые сюда пришел с очень красивой девушкой, про которую он сразу подумал, что она будет его женой. И так все и было. И теперь Снандулии не было. И еще он подумал, что все, что он хотел сказать ей о Вере, вот в эту минуту он бы не сказал ей. Но и говорить было некому — ее не было.

И ему стало просто интересно, до какого момента можно верить обману. Потому что, как это ни странно, такие противоположные вещи, как "вера" и "обман", постоянно находятся в сочетании друг с другом, потому что обманываешь только тогда, когда тебе верят. То есть в самом обмане уже заключена вера.

И чем сильнее может быть вера, тем страшнее может быть обман. А обман без веры — это просто вранье. И Н.-В. подумал, что он не обманывал Снандулию. Она ни о чем не спрашивала, и он ничего не говорил. И он вспомнил, как она его один раз обманула. У нее был роман, и он стал допытываться с кем. "Ты его не знаешь", — сказала она. "Все равно скажи", — настаивал он. И она сказала. Оказалось, что он его знал. Не близко, но встречал. И он уже успел поверить, и тут она сказала: "Я тебя обманула, ничего не было". И тогда он поверил в то, что она обманула. Это было первый раз в жизни, и он понял, что это такое — поверить обману. То есть это когда обманываешь, а потом обманываешь, что обманываешь.

Н.-В. съел суп и захотел спать. Это был хороший суп, там было много овощей и грибов, и грибы росли почти вдоль тропинки, даже не надо было никуда удаляться в лес, чтобы найти их. И на тенистой полянке сидели три волчонка с такими умными глазами, какие бывают чаще у животных, чем у людей, даже чаще бывают у собак. И Н.-В. лег между волчатами, которые были одновременно теплыми и мягкими, и пахли они как маленькие дети, так, как взрослые потом уже никогда не пахнут.

И он почувствовал, что он на земле один. Совсем. А люди, которые ходят, даже толпы народу, — это совсем не люди. И не потому, что они слишком плохие для него, низкие, или слишком хорошие, а потому, что их просто нет. Но как же нет, когда их видно и слышно? А так, по-настоящему нет, и все; то есть по-ненастоящему есть, а по-настоящему нет; они видны только как электричество, которое видно, только когда горит свет, а так его не видно. А по-настоящему есть только он, Н.-В. И то, на чем он стоит, и то, под чем он стоит, и то, что может висеть, стоять, летать, — это все есть, а все, что может думать, — этого нет. Только он один может думать, и все это он придумал. И все, что он не успел додумать, — это уродливо, поэтому есть некрасивые растения, животные, люди (как обман зрения). И среди этих волчат вдруг страшным показался ему один вопрос, на который он не знал ответа, что вот если все — все вокруг — придумал он сам, то кто же его тогда придумал?

И вот, что после этого было. У него страшно заболел живот, это была не острая боль, а такие схватки — то схватит, то отпустит, и он стал вспоминать, что где-то он про это слышал, но никак не мог вспомнить, и тут он

потерял все силы и почувствовал, что у него внутри, по его кишкам, в какой-то розовой жидкости что-то движется, и его стало мутить. И тогда он встал на четвереньки, потому что это оказалась самая удобная, безболезненная поза, и тогда он почувствовал, что он рождает, хотя этого быть не могло, но это было, то есть, бешено устремляясь к прямой кишке, по его кишкам движется существо и в поисках выхода устремляется к прямой кишке в поисках света, и ему страшно захотелось увидеть это существо, и, когда оно выскочило из него, оно полетело в бездну, потому что оказалось, что, стоя на четвереньках, он стоит над бездной, и все его выгнутое туловище и голова — над бездной, только руки и ноги опираются на что-то твердое. И, родив, он не увидел, кого родил. Но как будто из него вышел тот плод, который никак не мог выйти из Василькисы.

А правда, что живешь временно, а умираешь навсегда? Или живешь навсегда, а умираешь временно? А правда, что нету правды ни во "временно", ни в "навсегда", есть правда только между "временно" и "навсегда".

А правда, когда спишь и видишь сон, то думаешь, что это на самом деле, но, когда сон слишком страшный, ты можешь проснуться, а правда, когда живешь на самом деле и жизнь слишком страшная, то ты можешь заснуть, но уже проснуться не можешь.

И то, что происходит в какой-то миг и запоминается на всю жизнь, — это совсем не то, что происходит в течение жизни и забывается, как один миг.

И Н.-В. включил футбол. Это был такой странный футбол, когда все торчали на одной половине у датчан, но датчане иногда убегали со своей половины и бегали забивать голы немцам. И датчане забивали два, а немцы ни одного. И датчане выиграли, а немцы проиграли. И датчане были счастливы, а немцы несчастны. И когда кончился футбол, то Снандулии тоже не было.

И он ушел от Снандулии в эту ночь, и она так и не узнала, что он с ней хотел расстаться в этот день.

Странно, но жизнь иногда проходит мимо, стороной, а иногда, наоборот — в жизни бывает так много жизни, что с ней не справляешься и бежишь от нее в другую сторону, туда, где кажется, что ее поменьше.

Но Н.-В. бежал туда, где ее побольше, в сторону галереи, туда действительно можно было добежать, даже не надо было ехать. Он так и думал, что Вера там будет. И так и было — она там была. Но он не думал, что там будет

кто-то еще. Там еще был покупатель. Последний покупатель — последней картины. И когда Н.-В. пришел, он уже ее купил. И как раз Н.-В. успел к тому моменту, когда этот покупатель уже позвал Веру посмотреть его дом, который он успел купить, "как раз недалеко отсюда". О н, его звали Александр, хорошо разбирался в живописи и хорошо говорил по-русски, он был хороший покупатель, а Вера хорошая художница, а Н.-В. хороший антрепренер. Все втроем они были хорошие. И плохих среди них не было. И они втроем пошли смотреть дом Александра, который любил Россию от всей души, хотя и не родился в России, но он любил русский язык от всей души, и душой он был русский, а телом иностранец. Тело его было не то чтобы очень красивым, но очень большим, а наверху — маленькая головка с очень большим ртом, а внизу — маленькая борода.

И дом, к которому они пошли, был маленький, в маленьком московском дворике, а квартира большая. И как только Вера первая вошла в квартиру, она увидела перед собой улицу. Очаровательную, московскую, с фасадом двух-трех-этажных домов, только как будто она сама стала великаншей, а дома эти были для лилипутов: то есть стены этого коридора были так искусно оформлены, что представляли собой фасады домов. И освещение в этом коридоре — на этой улице — было таким, как будто была ночь. Горел фонарь. А вот и аптека, вот она, оказывается, где. И потом они прошли в комнату. Это был невероятный переход, когда ты сразу вдруг уменьшаешься раз в десять — потому что за коридором, в этой комнате была такая мебель, как будто предназначенная для великана. Один стул, один стол и гигантский бассейн, который, если к нему подставить лесенку, оказывался всего-навсего умывальником. И на стул надо было взбираться по лесенке, и на стол, который скорее напоминал сцену. И Александр объяснил — это была его мечта. Его прихоть, что ли. И он свою мечту осуществил — здесь в Москве, в городе, который Вера обожала, как сон, как утренний туман. Она его, правда, любила, как мечту, и не потому, что она здесь родилась, она его любила еще больше в мечте, вот если бы снести все некрасивые дома и вместо них посадить лес. Она как раз жила в некрасивом доме, и, когда она сказала о своей мечте Н.-В., он сказал ей: "Ну и где ты будешь жить? В лесу?" И она сказала: "Хотя бы и в лесу". И в этой квартире Александр просто осуществил свою простую

мечту: все было в натуральную величину. Конечно, для этого потребовались деньги, но что значат деньги по сравнению с мечтой? Он себе позволил мечту и позволил себе ее материализовать, вот и все, и больше ничего. Он показал Вере, где будет висеть ее картина — между лилипутами и великанами, между коридором и комнатой, между домами и стулом. И они поцеловались — Вера с Н.-В., как только Александр отвернулся, то есть как только они поцеловались, он отвернулся.

Это было на улице рядом с аптекой, но не под фонарем, а на улице не было ни души, такая вот эта была пустынная улица, они стояли у стены, и ее голова была на уровне второго этажа, и она страшно боялась раздавить каблуком автомобиль. А потом они влезли в подворотню, и там было темно, и они уместались только сидя, и они обнимались, сидя на корточках, и это было не очень удобно, но очень приятно. И, прикрыв дверь, и спустившись по лестнице, они пошли по улице, тоже почти пустынной, хотя кое-какие люди попадались, ведь это был разгар лета и было тепло, но теперь дома над головой были большими, чтобы люди могли уместаться в этих домах: стоя, сидя и лежа; и, сначала стоя на стоянке, а потом сидя в такси и уже лежа дома у Н.-В., когда Н.-В. обнимал Веру, не слишком веря тому, что все это происходит на самом деле, потому что это было слишком прекрасно, она сказала ему, что простилась навсегда с доном Жаном. И Н.-В. даже не подумал сказать ей о Василькисе, потому что это было уже все равно, он только сказал: "Теперь мы навсегда?" И она ничего не сказала.

А утром шел дождь, было пасмурно и тихо. И когда Н.-В. проснулся, Вера уже была одета. "Почему?" — сказал он, и она поняла, что он говорит об одежде.

— Я ухожу, — сказала она.

— Почему?

И она сказала: "Навсегда".

Это было так неожиданно, что сначала это до него даже не дошло, и, пока до него доходило, он смотрел на нее, как будто разглядывал ее, и он даже заметил, как она поправила прядь волос. И вдруг до него дошло. И все было бесполезно. Спрашивать "почему?", умолять, кричать, абсолютно. Он накрылся с головой одеялом, там было совсем темно, абсолютно. И темнота располагалась даже комками, такими клубами, и, когда он высунулся из-под одеяла, он подумал, что ее уже нет. И было не-

вероятно, что все еще она стояла в комнате, на том же самом месте, и она сказала:

— А знаешь, кто тогда сидел в саду под березой?

Он не сразу понял, о чем она спрашивает, но машинально сказал:

”Кто?”

И она сказала: ”Крот”.

И он вспомнил почти сразу ту черную глыбку, на которую они не вышли посмотреть, и кивнул, и улыбнулся. И опять натянул на себя одеяло, и теперь в каждом углу сидело по кроту, они были очень хорошенькие, эти кро-ты, они были сделаны из темноты и тепла под одеялом. И неизвестно, сколько прошло времени, только известно, что и в комнате уже было темно, как под одеялом, и мебель была сделана из темноты и на темном стуле сидел аГусев, тоже сделанный из темноты. ”А дверь была не заперта” — ответил он на вопрос, ”откуда он?” И как будто он рассказал о смерти Свя.

Как будто там в лесу стояла машина, совершенно обглоданная, как будто она была съедобная, и ее так чисто объели муравьи, но, конечно, она была несъедобная, и ее обсосали люди, и остался один скелет.

Жигули-катафалк. И как будто было раннее утро, и шел редкий дождик, и как будто было лето, и дождь замер в воздухе, и все замерло, как будто застыло. И сквозь этот дождь просвечивало солнце, и оно тоже застыло. И не было ветра. И как будто и ветерка не было. В лес въехал автомобиль, и тоже без звука, как будто он вплыл в лес. Из автомобиля вышел как будто Свя... Он с легкостью взвалил на себя доски и понес их в чащу. И чаща была все гуще и гуще, а тишина все тише и тише. И Свя шел, а лес стоял. И небо опускалось все ниже и ниже, а солнце поднималось все выше и выше. И дальше. И чем дальше Свя углублялся в лес, тем ему становилось все лучше и лучше. Его посещали мысли, и одна была проще другой, а другая еще проще. Он шел целый день, а к вечеру устал. И место, где он устал, было тем самым местом, где можно отдохнуть. И когда Свя набрался сил, он развязал доски, и стал в эти доски вколачивать гвозди, и так ловко он их вколачивал, что доски через какое-то время приняли совершенную форму, и как будто бы это был гроб, только без боковой стенки. И потом Свя... взял лопату и выкопал яму. И яма была уже в сумерках похожа на могилу, и стало темнеть. И до темноты он успел еще выкопать подземную дорожку, которая вела прямо к

могиле. Он закопал сверху гроб и по подземной дорожке полез в него. И пока он полз, он как будто был еще живой, и когда он изнутри заколотил стенку гроба, он как будто был еще живой, а когда он лег и устроился удобно, он как будто умер...

Содержание

Повесть

План первого лица.
И второго
9

Романы

Равновесие света
дневных и ночных
звезд
67

Шепот шума
207

Валерия Спартаковна Нарбикова

**Избранное
или
Шепот шума**

**Редактор-составитель
Александр Глезер**

**Художественный редактор
Юрий Архангельский**

**Технический редактор
Светлана Басинова**

**Л.Р. № 030469 от 30.12.92 г.
Подписано в печать 15.01.94 Формат 84х108/32
Офсетная печать. Усл.п.л. 17,64.
Тираж 30 000. Заказ №4326.**

**Издательство "Третья волна"
Москва, Каретный ряд, 3**

**Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме
«Красный пролетарий» РГИИЦ «Республика»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.**

Вслед за этой книгой в серии
"Библиотека новой русской
прозы"
в течение года выйдут
книги Сергея Юрьенена,
Евгения Попова,
Александра Кабакова.

Проект Александра Глезера

На протяжении многих советских десятилетий в русской литературе безраздельно царствовал соцреализм.

Лживая, как сам коммунистический режим, рожденная по повелению свыше псевдолитература социалистического реализма производила на свет унылые, безликие, фальшиво-оптимистические произведения.

Все талантливое, что в те сравнительно близкие по времени, но бесконечно далекие по сути, годы издавалось, продолжало традиции великой русской литературы критического реализма. Однако неизбежным было и рождение какой-то иной литературы — авангардистской или пост модернистской, но иной.

Такой и стала появившаяся еще во второй половине семидесятых проза, которую окрестили «другой». Естественно, в то время эта проза не могла пробиться к читателю по политическим мотивам.

Но и много позже, уже в эпоху перестройки и гласности, «другая литература» лишь в редчайших случаях попадала на страницы толстых журналов и лишь двое-трое авторов представителей этой литературы сумели опубликоваться, кстати сказать, только в новых, рожденных во время горбачевской оттепели издательствах.

Старые издательства и журналы, во главе которых к этому времени встали наконец-то интеллигентные и доброжелательные люди, не принимали новую прозу эстетически. То же самое имело место и в русском

Зарубежье — и там журналы и издательства, за исключением «Стрельца» и «Третьей волны», публиковать новую прозу отказывались.

А между тем на Западе, в Европе и США, на французском, английском, немецком и других языках выходили книги Венедикта Ерофеева, Виктора Ерофеева, Евгения Попова, Сергея Юрьенена, Юрия Мамлеева, Владимира Сорокина и других авторов новой волны, которые, как правило, высоко оценивались западными критиками.

«Библиотека новой русской прозы», которая выйдет в свет в ближайшие пять лет, включает в себя двадцать четыре книги, каждая из которых явится собранием избранных произведений того или иного писателя — представителя новой русской прозы.